Йоханн Гутенберг
и начало книгопечатания в Европе

Издательство «Книга»

Н. В. Варбанец

Йоханн Гутенберг
и начало книгопечатания в Европе

Опыт нового прочтения материала

Москва «Книга»
1980

ББК 76.11
В 18

Автору удалось пролить свет на многие загадки начала книгопечатания в Европе. Глубокий научный анализ и страстность в поисках истины позволили автору встать рядом с героем книги, проникнуть в скрытые пружины поступков его врагов и судей. Прослежена судьба типографий, шрифтов, изданий Гутенберга и его «конкурентов».

Второй герой книги — предреволюционное религиозное просвещение, фантастический мир Средневековья.

Монография Н. В. Варбанец — новое слово в истории книги. Представляет большую ценность для книговедов, историков. Увлекательна для библиофилов, для всех культурных людей, интересующихся историей книги.

В $\frac{61001\text{-}071}{002(01)\text{-}80}$ БЗ-96-11-80 4503000000

Оглавление

От автора

Тема этой книги для науки отнюдь не является новой. Существует почти необозримая литература за рубежом и ряд отечественных работ. Документальные материалы неоднократно публиковались и истолковывались, основные из них переведены на современные нам языки, в том числе на русский. Связываемые с Гутенбергом издания обследованы до каждого в них знака и полностью или частично воспроизведены. Казалось бы, все возможное в изучении вопроса уже сделано и возвращаться к нему до очередного юбилея незачем. И что нового может сказать советский исследователь, что не сказано учеными Запада, теми, кому доступно разглядывать напечатанные Гутенбергом тома, пройти по тем местам, где он ступал, мимо тех зданий, на которые смотрели его глаза? Казалось бы, но не так.

Изобретение книгопечатания принадлежит к тем явлениям прошлого, которые с нарастанием исторической дистанции обретают все более разносторонний смысл. Книгопечатание поныне остается одним из самых действенных факторов мировой культуры, что в известной мере делает изобретателя современником и соотечественником каждого, кто к ней причастен. Этого одного было бы довольно для неослабевающей актуальности гутенберговской темы в мировой науке: историческое сознание не неподвижно, каждое поколение стремится заново установить свое отношение к объектам и результатам предшествующего изучения в свете научных достижений, веяний, идей своей эпохи. В на-

ши дни изобретение Гутенберга, дождавшееся, наконец, оценки как технический (а не только как культурно-исторический) феномен, оказалось одним из первых в памятной истории человечества воплощений основных принципов современной нам техники.

Нас отделяет от Гутенберга исторически не столь большой срок — всего 10—11 средней продолжительности человеческих жизней. Но тогда было еще Средневековье — эпоха для нас почти столь же баснословная, как гомеровская Троя или затонувшая Атлантида, ибо эти немногие столетия ознаменованы особенно крутыми переломами — сменами социально-экономических формаций, основ мировоззрения, промышленным переворотом XIX в., научно-технической революцией второй половины двадцатого. Наследие Средневековья из современной мировой культуры и национальных традиций невычитаемо, но ныне оно — лишь дребезги разрушенной системы, в самом деле подобные островкам поглощенного океаном материка или вкрапленным в современные города средневековым и античным строениям, не раз претворенным нуждами последующих времен и изменившимся своим окружением. Чем более действенным остается, чем более современным нам представляется любое из достижений той эпохи, тем труднее вообразить, что возникло оно не вопреки, а благодаря «фантастическому миру Средневековья», из специфических для него форм сознания, из внутренних его сцеплений и противостояний. Впечатление соприсутствия и сопричастности, создаваемое единством места, элементами подлинной обстановки, многослойной традицией, само таит опасность спроецировать в прошлое современные понятия, образ действия и отношений по принципу, что «люди всегда были людьми» (и забывая, что всегда они были разного качества и масштаба). В гутенберговской проблематике она тем более велика, что начало европейского книгопечатания и фигуру его изобрета-

теля окружает множество загадок и неизвестностей, и исследование в этой области представляет все трудности (и всю заманчивость) научного детектива. Если не в криминальных романах, детектив — жанр ответственный, ибо целью имеет восстановление незафиксированных, но подлинных обстоятельств, исходя из совокупности известных фактов и условий места и времени. Более всякого другого он требует от исследователя независимой ни от каких авторитетов и предвзятых идей позиции, бдительного внимания ко всякому, на первый взгляд даже незначащему звену, страстного беспристрастия ко всему, кроме поисков истины. В историческом детективе сверх того приходится считаться с особенностями того века, в который судьба поместила исследуемый объект, и не в последнюю очередь — с теми условиями, в каких складывались основы его изучения.

Западное, в частности, немецкое гутенберговедение, накопив большой и в целом драгоценный материал, оказалось в плену у своей перенасыщенности традицией, как прямой — через иллюзию соприсутствия и сопричастности, так и собственно научной. Первая — и это почти на всем протяжении исследования вопроса — определяет отнюдь не бесстрастное и уже в силу этого осовремененное отношение к перипетиям и персонажам начавшейся в 1430-х гг. и все еще не отзвучавшей драмы. Вторая создала своего рода модель подхода к связанной с началом книгопечатания проблематике, которая — при всей разноречивости гипотез и точек зрения почти по каждой позиции — так или иначе модернизируется, но в основе не меняется. Поскольку загадки начала книгопечатания, несмотря на перестановки отдельных звеньев схемы, на тонкость наблюдений и деталей, не находят разрешения, можно убедиться, что детектив с какого-то момента пошел по ложному пути, и искать иных. Вместо этого некоторые исследователи последних

30 лет болеют неприязнью к первопричине своих изысканий — к самому изобретателю. Он раздражает этих ученых своей корявой судьбой, как раздражала бы мыслящего блоками архитектора обязанность сохранять полуразваленную готическую громаду, стоящую поперек придуманной им планировки. Не без досады оставляя за Гутенбергом честь изобретения, они превращают его в подсудного и подсудимого, но из традиции не выходят. Большинство же касавшихся гутенберговской темы советских, сторонних этой традиции авторов задачи пересмотреть комплекс доступных первоисточников и сопоставить их с выводами хотя бы основных исследований и анализов до сих пор не ставили, полагаясь на авторитет западных работ. Такая потребность и у автора этой книги возникала лишь постепенно, сперва вызванная взаимоотрицанием основополагающих исследовательских новинок, затем — их предвзятостью. И чем более я вчитывалась в литературу вопроса, тем настойчивей было впечатление, что лежащая в ее основе схема, порой сознательно, чаще — по цепной реакции, создавалась и модифицировалась как бы в обход сути дела, словно, ища разгадки Гутенберга, старались ее не найти. Так, шаг за шагом, сперва по контуру этого умолчания, за ширмами разноречивых трактовок изобретателя, за сетованиями на недостаточность материала, путем сопоставления его с условиями, в каких протекала жизнь и деятельность Гутенберга, стали отбираться те без натяжек связуемые факты, которые представляются наиболее реальными этапами этой жизни и этой деятельности. И только через осмысление их в свете марксистской исторической мысли и достижений советской науки (для данной темы особая роль принадлежит работам Ф. Энгельса, а из советских трудов — книгам М. М. Смирина и Б. Ф. Поршнева) смогла возникнуть та новая цепь гипотез, которая в какой-то мере позволила подойти к прочтению жизненного почерка Гутенберга с при-

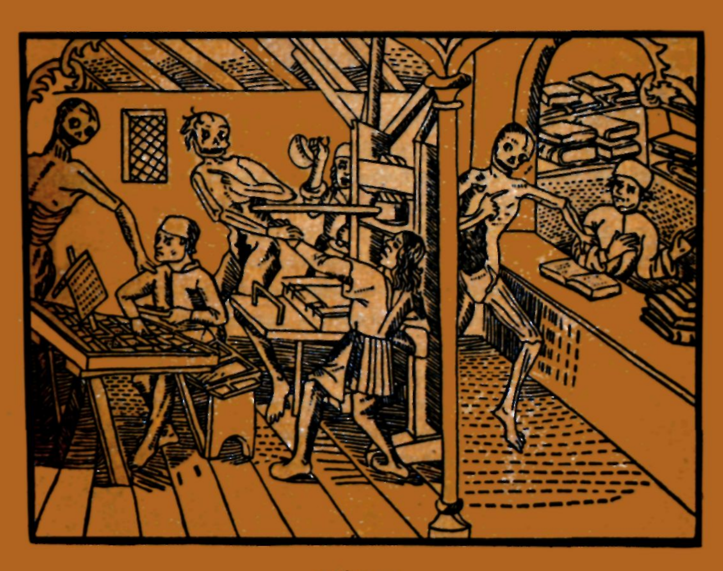
сущими ему особенностями того века, в каком он жил, а вместе с тем — к закономерностям возникновения книгопечатания в Европе. На однозначное решение ни всех, ни большинства частных гутенберговедческих проблем эта работа, разумеется, не претендует. И, сколько бы она ни шла вразрез с позициями и выводами конкретных ученых, она остается данью уважения их большому труду, на сумме которого зиждется. По практической неисчерпаемости литературы я исходила от послевоенных исследований, обращаясь к более ранним лишь в случае их основополагающего значения, отсутствия или недостаточности новых работ по тому или иному аспекту темы, избегала частных полемик и список литературы ограничила работами сводного и обзорного типа. Малочисленность и фрагментарность доступных мне памятников гутенберговской печати в меру возможного компенсировались за счет воспроизведений. И еще один — косвенный — первоисточник: собственный опыт работы с собранием инкунабулов Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, давший сумму общих наблюдений, в ряде случаев определявших мою позицию и аргументацию. И еще оговорка: по особенностям эпохи мне пришлось касаться вопросов религиозной идеологии, но лишь в той степени, в какой это было нужно в связи с ролью книги в Средние века, т. е. в самых схематических чертах.

Таким образом сложилась эта книга. Но не в последнюю очередь своим возникновением она обязана живым научным контактам. Строгой школе, некогда пройденной в совместной работе с блестящим исследователем ранней печати В. С. Люблинским, многолетнему общению с ним, успевшим в предсмертный год своей жизни высказать свои соображения о моей работе, с Т. Н. Копреевой, в постоянном обмене мыслей с которой она строилась, с советскими учеными, обращавшимися к собранию инкунабулов ГПБ, —

М. М. Гухман, Ц. Г. Нессельштраусс, П. А. Конаковым, А. Н. Немиловым. Встречам с А. А. Сидоровым и П. Н. Берковым, давшим повод моему обращению к гутенберговской проблематике. Памяти отошедших, доброй воле живых приношу свою благодарность.

Ноябрь 1978

Введение



Несколько слов к истории, проблематике и терминологии вопроса

Оценка начала книгопечатания как качественного — революционного — сдвига в истории мировой культуры становится ощутимой, если представить, что еще немногим более 500 лет назад книги издавались путем переписывания от руки, и большинство людей не помышляло, что можно делать их другим способом. Это не значит, что книга была примитивной; усложненность письма, обилие условных сокращений требуют от нас для чтения даже простого учебника того времени учиться читать почти заново; чтобы опознать текст, часто нужны научные разыскания, ибо непременного ныне элемента книги — титульного листа не было. И редко встречаются списки, в которых указано — всегда не в начале, а в конце, в так называемом колофоне, — где и когда (и редчайше — кем) они сделаны. И место и время обычно узнаются по особенностям письма, по характеру материала, на котором книга написана, и т. д., т. е. приблизительно. И это не значит, что в ходу были только короткие или только немногие тексты. Книжный мир предпечатной поры неожиданно разнообразен и часто представлен объемными томами убористого почерка. Но: на переписывание такого тома требовались месяцы работы. И соответственно: цена большинства этих томов, и не самых роскошных, порой превышала стоимость добротного крестьянского двора. А уже известный в Европе примерно с 1370-х гг. — сперва, видимо, для игральных карт и вместе с модой на них пришедший через арабов с Востока — способ лубочной (ксилографической) печати был удобен и дешев только для картинок и небольших книжечек. Так что малоимущие собирать библиотеку могли в основном путем

собственноручного переписывания желательных книг, Да и богатые библиотеки редко насчитывали более немногих сотен томов. В этих условиях появление книгопечатания и вызванный им книжный «бум» были подлинным переворотом, сама природа которого составляет предмет научного спора. Уточним: подразумевается начало типографской печати и именно европейское ее изобретение. Хотя известно, что опыты печати, близкие к типографии, в XI в. глиняными, в XIII столетии — деревянными иероглифами делались в Китае, с 1403 г. бронзовыми печатались книги в Корее, а позднее — и в других восточноазиатских государствах. Но опыты эти остались эпизодическими и отступили перед издревле там принятым способом печати — лубочным. И можно считать доказанным, что европейцам XV в. о них известно не было. Даже изустные сведения от достигавших дальневосточного края путешественников и миссионеров маловероятны: в отличие от других вторично открытых в Европе «китайских секретов» здесь не только способ производства, но и результаты его — из-за добавочного к языку знакового барьера — доступны не были. О приоритете Пекина заговорили много спустя, и то в связи с ксилографией. Но главное, что, вместо дальневосточного прозябания, европейское осуществление идеи типографии — благодаря совершенству технического решения всей совокупности типографского процесса и по особенностям европейского социально-экономического развития — за немногие десятилетия стало основой книжного дела для западных, в XVI в. для всех европейских, а затем и для внеевропейских стран. Поэтому книгопечатание как явление мирового значения приходится начинать с имени и изобретения Гутенберга и возводить, следуя юбилейной, хотя оспариваемой традиции, к 1440 г.

История и проблематика почти каждого связанного с изучением прошлого вопроса слагается из нескольких пе-

риодов. Первый в широком смысле современен изучаемому явлению, т. е. включает и его сегодняшний день и его непосредственное завтра, когда явление уже отошло, но еще кипят вызванные им страсти, сводятся счеты, утверждаются и разрушаются пьедесталы. Этот клубок горячей злободневности оставляет будущей науке первоисточники — творческие памятники, официальные акты, личные записи, повествования свидетелей или участников событий. Затем обычно наступает период легендарный, когда потомки награждают избранных ими героев причесанным по моде своих дней монументальным бытием. И лишь потом начинаются розыски и сопоставление первоисточников, т. е. собственно научный подход к предмету, хотя с поправками на общий уровень науки, на классовые и идеологические позиции изучателей, на меру их добросовестности и прочие ограничительные факторы. Библиография гутенберговской темы после юбилея 1940 г. насчитывала свыше 3 тыс. названий и непрестанно умножается. Большинству трудов принадлежит та или иная заслуга — от отдельных замечаний до основополагающих анализов. И все же эта огромная литература поныне совмещает оба последних этапа — легендарный и научный. Причина этого отчасти кроется в самих первоисточниках. Книгопечатание было изобретено в ремесленный период, когда регистрации изобретений, изобретательского права, технической информации не было. В практике была монополия использования изобретенных орудий, пока изобретатель мог сохранить на них собственность. Для истории, как правило, ничего, кроме изредка архивных материалов. Но книгопечатание являлось событием не для ремесленной практики, а в первую очередь для книжного мира, и посему сразу было воспринято как достославное деяние. И по современным откликам видно, что славу этого деяния у Гутенберга стали оспаривать почти сразу. «Претенденты» были разные, формирующая для ис-

тории вопроса роль принадлежала спору между Майнцем и Страсбургом, в майнцской традиции — кандидатурам основателей преуспевшей в XV—XVI вв. фирмы Шефферов — Йоханну Фусту и Петеру Шефферу, в страсбургской — родоначальника фирмы Шоттов, первого известного там печатника Йоханна Ментелина, а с конца XVI в. — притязаниям Голландии. Таким образом, юбилей книгопечатания 1640 г., впервые международный, оказался перед несколькими легендами, каждая из которых имела своих глашатаев, плюс перед известиями о печати в Китае, т. е. перед необходимостью выяснять, где, когда, кто изобрел книгопечатание и что именно (какую технику) вкладывать в это понятие.

Началось с персоналий. Однако — вопреки тому, что основной Майнцский акт в пользу Гутенберга был введен и науку еще перед этим юбилеем (пересказан X. Залмутом в Commentarium super Pancirollum de rebus deperditis et recens inventis), официальное признание в Германии ему не давалось: так на лейпцигских юбилейных торжествах 1740 г. в речи профессора Готтшеда он фигурирует лишь как слуга изобретателей — Фуста и Шеффера. Оно было достигнуто только после книги геттингенского профессора Д. Келера «Высокозаслуженное и подлинными актами подтвержденное спасение чести Йоханна Гутенберга» (1741 г.) благодаря публикации уже известного по работе Залмута документа, сводке ранних известий об изобретении и генеалогическому древу, демонстрирующему родство изобретателя с майнцским родом фон Зоргенлох, а в 1761 г. подкреплено выборочной публикацией Д. Шепфлина из более ранних, чем майнцские, страсбургских актов, в том числе ключевых для истории изобретения (они в революционных событиях 1790-х гг. и при обстреле Страсбурга во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. погибли). Последние исключали Ментелина и голландскую легенду. Тем не

менее она и в науке вплоть до 1940-х гг. гальванизировалась, а в голландской вненаучной среде держится прочно, хотя именно голландский ученый XIX в. А. ван дер Линде, взявшийся с целью доказать ее истинность за анализ всей совокупности материала, установил объективную несостоятельность и голландской и всех прочих, кроме гутенберговской, традиций (за что лишился голландского гражданства). Но и ныне, когда Гутенберг в качестве изобретателя европейского книгопечатания признан и доказан, комплекс первичных легенд продолжает прямо или косвенно довлеть в гутенберговедении, более всего в немецком.

Дело не в том, что наука располагает всего 34 актовыми свидетельствами о Гутенберге. Возможна в этом доля вины первых разыскателей и неправильного адреса розысков (в европейских архивах еще могут всплыть материалы о нем). Недокументированные пробелы — почти правило для биографий той эпохи. И главные документы, говорящие об изобретении и печатной деятельности, хотя фрагментарно или в выписках, все же дошли. Отсутствие личных изъявлений — писем, записей, вообще автографов (есть один документ с его гербовой печатью) — тоже не исключительно. Равно как отсутствие современного портрета, хотя по совпадению черт допустимо считать, что две из первых гравюр — в парижском издании 1584 г. (A. Thevet. Vrais pourtraicts des hommes illustres; см. ил. на шмуцтитуле к гл. IX), где он представлен в старости и, как тогда практиковалось, переодетым по «новой» моде (старшей по времени, чем гравюра), и в базельском издании 1578 г. (H. Pantaleon. Lebensbeschreibungen berьhmter Deutscher), где то же лицо, но в профиль и моложе (см. ил. на переплете книги), восходят к подлинным портретам изобретателя. В целом документальные данные в отличие от повествовательных однозначны, источник легендарности не в них. Сложнее третья группа первоисточников —

гутенберговские издания. Их не быть не могло: изобретательство ремесленного периода было, как правило, эмпирическим, любое изобретение становилось известным лишь после того, как изобретатель давал образцы его практического применения. Естественно, что книгопечатание, появившееся в мире рукописной книги и сосуществовавшее с нею долее, чем до конца века, следовало книгописным образцам, других не было. Инкунабулы типографского искусства — так обозначаются издания, вышедшие до 1501 г., — лишь постепенно и отнюдь не единовременно отрывались от книгописного канона и вырабатывали собственный. Однако колофон, именующий делателя, место и год выхода или часть этих данных, не во всех, но в большом проценте инкунабулов имеется. И вот издания с колофоном Гутенберга до сих пор не обнаружено. И мало надежды, что обнаружится, ибо фонды старых собраний в основном прочесаны. Первый поныне известный полный печатный колофон относится к 1457 г. и называет имена Фуста и Шеффера. Гутенберговские издания приходилось искать среди безвыходной печатной продукции по косвенным признакам, из коих важнейшая роль принадлежит шрифту. Ибо для колыбельного периода книгопечатания, особенно в начале, характерно стремление каждого типографа создавать собственные, индивидуализированные шрифты. Это издавна позволяло знатокам печати XV в. путем сравнения безвыходных изданий или фрагментов с изданиями фирмированными определять типографию, из которой они вышли, а к концу XIX в. стало основой для шрифтологического метода — системы объективных признаков для различения шрифтов XV в. и этапов «биографии» каждого из них. Так, но по отсутствию колофонов в сопоставлении с другими, тоже косвенными данными — надписями на книгах, ранними известиями и т. п., была выявлена, а затем детально изучена группа изданий (частью фрагментарных),

которые соотносятся с Гутенбергом. Эта реконструкция является цепью гипотез и потому зависит не только от шрифтологического чутья и инкунабуловедческого опыта каждого исследователя, но от готовности следовать за своим героем, а не тащить его в заданном направлении.

Пафос розысков — и архивных и книжных — для сторонников каждой версии в значительной мере определялся стремлением подтвердить своего кандидата. Объективные данные вынуждали признать Гутенберга. Но для этого нужна была еще и его социальная монументализация, ибо «конкуренты» его на звание изобретателя обладали бюргерской солидностью. Потому такое значение придавалось его происхождению — в XVIII в. рыцарскому, в XIX в. патрицианскому. Национально настроенный, светского образа жизни Майнцский патриций, вложивший свое состояние в изобретение и книжное дело с либерально-просветительскими целями, не забывая своего сословия и своих интересов (большинство актов касается денежных дел), далекий от бурь своей эпохи, — такой была гутенберговская легенда XIX в. Вместе с тем складывалась и схема подхода к гутенберговской проблематике: в толковании документов и известий — майнцский провинциализм, повышенный интерес к сословному и деловому (денежному) аспектам, в отношении изданий — исключительное и до времени плодотворное внимание к шрифтам. Оно и привело к тому расколу в гутенберговедении, который наступил к началу нашего века, когда обнаружились гутенберговские по шрифту издания, по содержанию в принятую легенду не вмещавшиеся. Тогда и разгорелся спор вокруг «образа Гутенберга» (Gutenbergbild). Гутенберг, конечно, как всякий великий человек, безликим не был, но спор шел не о нем, о легенде. Крайние позиции представляли с одной стороны О. Хупп и П. Швенке, с другой Г. Цедлер. Первые и иже с ними отстаивали образ традиционный минус просветительство:

Хупп сам был типографом-художником и в изобретателе соглашался видеть только изысканного типографа-художника. Он признавал за Гутенбергом лишь те из первых шрифтов, которые считал совершенными, объявляя другие противоречащими гутенберговской «художественной индивидуальности». В Цедлере нарастал разрушитель принятой легенды: он видел в Гутенберге прежде всего техника и приписывал ему лишь несовершенные (объективно или на вкус своего времени) шрифты и издания, в том числе демократические. Кроме того, он исходил из истинности всех притязаний и пытался восстановить техническую эволюцию изобретения от голландского (в его версии вполне фантастичного) к Гутенбергу и далее. Его реконструкция являлась как бы ответом на слова Ф. Меринга (в работе «Об историческом материализме») о том, что «долгий и ожесточенный спор о действительном изобретателе книгопечатания никогда не будет разрешен, так как повсюду, где экономическое развитие выдвигало ту или иную задачу, делались более или менее успешные попытки к ее разрешению, и если по известным данным историческое исследование вправе утверждать, что Гутенберг сделал в этом направлении последний решительный шаг с наибольшей смелостью и ясностью и благодаря этому с наибольшим успехом, что таким образом новое искусство распространилось на весь мир из Майнца, то это лишь значит, что он лучше всех сумел подвести итоги накопленному опыту и всем неудачным или полуудачным попыткам своих предшественников. И это нисколько не умаляет его заслуги; его заслуга остается бессмертной, его изобретение остается дивным произведением человеческого творчества, но не новое неведомое растение он посадил в земную почву, а лишь удачно сорвал медленно созревший плод».

Впервые поставленный Ф. Мерингом вопрос о технических предпосылках, о технической предыстории изобрете-

ния Гутенберга нашел свое разрешение (не столь примирительное) лишь после второй мировой войны благодаря ряду наблюдений и открытий (в работах В. Шольдерера, Х. Леманн-Хаупта, Ф.-А. Шмидт-Кюнземюллера, Х. Розенфельда). Существен также, но как источник заблуждений, упор на задачи, поставленные экономическим развитием, без упоминания социального фактора, который для книгопечатания — производства, в основном, особенно в начальный период, существовавшего за счет обслуживания и выражения надстройки общества, первостепенен. Таким образом, поднятый здесь — тоже впервые — вопрос об общественных явлениях, вызвавших изыскание книгопечатания, получил ложное направление, ставшее затем общим местом для гутенберговедческих работ, начиная с отнюдь не марксистских. Так в монографии долголетнего директора Гутенберг-музеума в Майнце А. Руппеля экономическому развитию и якобы связанной с ним потребности в знании приписана вовсе детерминистическая роль, так что «книгопечатание должно было быть изобретено; если не через (durch) Гутенберга, то через кого-нибудь другого». Как попытку нажиться на потребности в книге рассматривает изобретение Гутенберга большинство позднейших работ, в том числе монография проф. Х. Люльфинга, вышедшая в ГДР к 500-летию смерти изобретателя. Книга эта, в основном посвященная переходу от книгописной традиции к печатной, необычна по богатству культурно-исторического фона, но Гутенберг в ней рисуется лишь как звено в процессе, как суммарное детище ренессансной, якобы уже капиталистической, но еще иерархически и церковно связанной бюргерской культуры. Титанам Возрождения в такой концепции места нет. И это идет не только от общей сейчас на Западе буржуазно-апологетической трактовки Возрождения не как преддверия, а как результата капиталистического развития, но и от мутаций «образа Гутен-

берга», в котором после второй мировой войны доминирует вульгарный социологизм. Материал для него дала традиционная легенда. Почему этот Майнцский патриций взялся изобретать книгопечатание? Национально-просветительские цели в смысле светского знания изданиями не подтвердились. В качестве патриция он должен был быть реакционным. Вывод: за изобретение он взялся в погоне за деньгами. «Предпринимательской солидности» противоречат документы: средств на дело у него почти всегда не хватало, затем последовало банкротство, что по схеме, приравнивающей удачливое предпринимательство к прогрессивности, признак реакционности. Отсюда — девальвация этическая, в 1951 г. с этих позиций проведенная на документальном материале в книге Р. Блюма: после нее в «образе Гутенберга» преобладают черты деклассированного «рыцаря наживы», в лучшем случае — безответственной «художественной натуры», а попытки его реабилитации начинаются с доказательств неполноты банкротства.

В отношении шрифтов и изданий этот вариант легенды, предполагая беспринципность печатной практики, в принципе снял поводы для раздрания связуемой с изобретателем продукции на взаимопротивоположные «образа». Верность пуризму Хуппа — Швенке, несмотря на появление в 1948 г. работ» К. Вемера, специально предпринятой для отмежевания Гутенберга от изданий «ярмарочной литературы», до последнего времени сохраняли лишь некоторые из сторонников художнического «образа Гутенберга». «Гомерический спор» о гутенберговских шрифтах в вышедшем в 1972 г. в ФРГ сборнике о современном состоянии гутенберговедения рассматривается уже как преодоленный этап. Но, сняв противостояние, основ для синтеза чистоганная легенда по своему существу дать не могла. И большинство исследователей пошло по линии комбинирования — шрифтов, изданий, дат, имен, ранних известий, в основном — с

креном к частичному возрождению легенды фуст-шефферовской, что при экономическом подходе к началу книгопечатания логично: она подпирается быстрым и длительным преуспеянием фирмы. Являясь лишь негативной репликой гутенберговской легенды XIX в., современный «образ Гутенберга» столь же тщательно изолирует изобретателя от исторической обстановки и проблематики его времени. Эту позицию в 1957 г. в статье о Gutenbergbild наших дней сформулировал К. Вемер. У него патрицианский консерватизм Гутенберга доведен до непонимания даже переворотного значения своего изобретения для книжного дела. Трудно представить, чтобы такое ползучее бескругозорье могло быть свойством одного из гениев всечеловеческого масштаба: чем крупнее личность, тем острее она фокусирует напряжения и противоречия своей эпохи. Все в целом подобно попыткам подойти к реконструкции готического собора с мерками современного блочного строительства.

Надо оговорить: большинство причастных к гутенберговской теме внегерманских книговедов в «образ Гутенберга» немецкой науки, как правило, не играет. Здесь преобладают частные исследования, обычно ценные, или краткие работы обзорного типа. Основные вопросы современного гутенберговедения и проблемы начала европейского книгопечатания — каким путем Майнцский патриций Иоханн Гутенберг пришел к изобретению не чего-либо, а революционизирующего способа делать именно книги, чем диктовался его печатный репертуар, играли ли при этом роль, какую и какие именно общественные факторы — и другие, не менее существенные, остаются неотвеченными, а марксистская методология, кроме кратких оценок и замечаний в трудах и письмах Маркса и Энгельса и приведенного выше абзаца Ф. Меринга, в западной литературе предмета не представленной.

О становлении советского, а вместе с тем — вообще отечественного гутенберговедения можно говорить лишь начиная с 500-летия книгопечатания. Дооктябрьская русская литература об изобретении и изобретателе или содержащая сведения о том и другом, начиная с вышедшего в 1720 г. перевода сочинения Полидора Вергилия Урбинского «Об изобретателях вещей», оставалась эпизодической, преследовала популяризаторские цели и научной традиции не создала. На первых порах и советская книговедческая наука отводила этой теме лишь главы в общих трудах по истории книги (иногда с креном в вульгарный социологизм; например, Щелкунов М. П. «История, развитие и искусство книгопечатания». М., 1926). Причиной этому было отсутствие в СССР гутенберговских документов и сколько-нибудь значимой подборки гутенберговской печати, а также мнение, будто тема это собственно немецкая. Юбилей 1940 г. ознаменовался факсимиле неизвестного ранее гутенберговского издания (обнаруженного Б. И. Зданевичем в Киеве), докладом старейшего московского инкунабуловеда Н. П. Киселева о фрагментах ранней печати в собрании МГУ (опубликован в его работе «Неизвестные фрагменты древнейших памятников печати Германии и Голландии» в 1961 г.), рядом статей. В послевоенные годы гутенберговская тема сильней зазвучала в советской науке. Здесь особая роль принадлежит небольшой книжечке ленинградского историка и инкунабуловеда В. С. Люблинского «На заре книгопечатания», открывшей пути для научно нового осмысления вопроса. Дальнейшее развитие оно получило в его же последних статьях, связанных с 500-летием смерти изобретателя. Та же дата, отмеченная АН СССР сборником «500 лет после Гутенберга», положила начало переводам на русский язык актовых материалов, а в 1969 г., в первой для СССР диссертации на гутенберговскую тему Э. В. Зилинг был сделан и первый шаг к по-

ниманию позиции Гутенберга в социальной борьбе его эпохи. При всем различии авторских индивидуальностей, опыта и задач, комплекс советских работ объединяет не только общность марксистско-ленинской исторической методологии и уважения к изобретателю: благодаря такому сочетанию каждая из них в том или ином прорывает гутенберговедческую схему, хотя не порывает с нею. Но совокупность этих прорывов, ставя изобретение и изобретателя в точку скрещения иных, чем принято, закономерностей, требует переосмысления как объективных данных гутенберговедения, так и той легенды, в плену которой оно оказалось.

* *
*

Глава I

«Фантастический мир Средневековья»

Книга и социальная борьба феодальной эпохи

Для века, в котором началось европейское книгопечатание, найден красивый и точный образ: осень Средневековья. Это значит, что плоды средневекового развития, как в базисе, так и в надстройке, уже несли зародыши того перелома, который наступит в XVI столетии и через полтораста примерно лет сквозь социальные бури приведет к половинчатой, через триста — к окончательной смене средневекового строя буржуазным. Из них книгопечатание будет — так отмечал К. Маркс — необходимой предпосылкой буржуазного развития, а открытия Колумба и португальцев в конце века — мощным толчком к катастрофе первоначального накопления, коим обусловлен капитализм. В XV в. средневековый мир еще стоит на своих трех китах — феодализм, борьба за Империю, церковь.

Средние века — почти 12 столетий истории, ставшие синонимом варварства, безграмотности, бесправия, насилия и т. д. Само название дано им пренебрежительно. Как известно, начинались они своего рода историческим парадоксом: огромная, несметно богатая, высокоцивилизованная, оснащенная первоклассным войском, бюрократическим и полицейским аппаратом, государственным культом и пр. античная Римская империя рухнула, и не в схватке с какой-либо равной силой, а под разрозненным напором варварских племен, нищих, стихийных, враждующих. Точнее, рухнула западная — латинская — часть Империи, стала ареной расселения новых народов, из которых в XI в. в основном сложились контуры современных нам наций. Восточной — греческой — ее части, разрушавшейся постепенно, суждено было еще почти 10 веков представлять идею всемирного

господства, пока последний ее оплот — «второй Рим», Византию — не взяли турки в 1453 г. В среде итальянских гуманистов, стремившихся возродить Римскую империю как итальянское национальное наследство, и появилось в начале XVI в. обозначение medii aevi — «средние» между древним и возобновляемым ими Римом, «варварские» века. Буржуазное самоутверждение в борьбе с уже мешавшей ему феодальной надстройкой — в Просвещении XVII—XVIII вв. с позиций Разума, с французской буржуазной революции — вдохновляемое античной государственной моделью, сперва республиканской, затем имперской, застолбило эту оценку за всем периодом между падением Рима и Новым временем. Но у истории новых народов не было иного начала. Национальные историографии в стремлении отодвинуть в глубь веков истоки Нового времени (т. е. буржуазно-национальной государственности и культуры) своей страны, немало сделали для развеяния мифа о сплошной средневековой тьме, однако в основном — с позитивистских, внедиалектических позиций и с тенденцией перекладывать варварство, мрак, насилие и т. д. на сопротивление централизации внутри (феодализм), на межгосударственную силу средневекового строя (церковь), на соперников своей нации по престижу или территориям. И, хотя медиевистика давно стоит перед необходимостью признать, что Средневековье — не перевалочный этап между античностью и Новым временем, а самоценная и — при всех отличиях в развитии стран и народов — целостная культура, традиция раскладывать ее на пережитки первой и начатки второго, остальное считая за помехи, держится.

Потому и книжно-исторические и гутенберговедческие работы в качестве общих предпосылок книгопечатания называют элементы Возрождения — рост городов, торговли, развитие ремесла, науки и пр., выводя из этого расширение кругозора, обмирщение культуры, потребность в зна-

нии, а значит — в большем количестве книг, которую будто не могло удовлетворить книгописание. Но: книгописание к этому времени выросло в книгописное производство. Книги давно уже переписывались не только в монастырских и придворных скрипториях, при соборах, школах, университетах и иных корпорациях или в личном порядке. С XII в. умножаются скриптории городские, обычно устраиваемые писцом, школьным учителем и т. п., работавшие, как правило, по заказам, иногда — на продажу. «Обмирщение» культуры составом печати XV в. не подтверждается: около половины ее прямо относится к религиозной сфере, около трети остального — косвенно. И в целом она, при всем разнообразии содержания и авторского состава, своею множественностью обязана не обновлению репертуара, а повторяемости и развитию традиционного контингента письменности. Уровень знаний, ремесла, кругозора и пр. в период изобретения в основном не превышал античного. Почему же в античной Римской империи с ее миллионными городами, вполне «мирской» культурой, развитым издательским делом и книжной торговлей во всех ее пределах механизации книжного производства не произошло? Начало книгопечатанию было положено не в Италии, переживавшей в ту пору расцвет своих городов и своего Возрождения, а в Германии, где города не первенствовали, и для которой рядом историков если не вообще, то в первой половине XV в. Возрождение отрицается. Почему именно здесь «потребность в знании» сказалась наиболее настоятельно? И по техническому уровню Германия не имела преимуществ перед своими соседями ни в обработке металлов, ни в умении переносить краску с деревянной формы на ткань или бумагу, ни в прочих ремеслах, приводимых обычно в перечне технических предпосылок изобретения Гутенберга. Все они в то время были общеевропейским достоянием. Не лучше, когда к этому добавляется «капиталистический» харак-

тер вообще городской культуры и «общий» в погоне за наживой процесс рационализации, а выгода изобретать книгопечатание иллюстрируется товарностью книгописного производства. Отставим обычную в буржуазной науке подстановку всякого товарного производства под капитализм. Страсть к наживе спецификой Германии XV в. не была. Рационализации, если не в мелочах, противостояла цеховая организация ремесла. Зависимость книгописания от рынка была незначительной (обычно оно определялось заказчиком книги), о товарности его можно говорить лишь условно: на продажу, кроме особых случаев, единовременно изготовлялись одна-две копии одного текста, книжная торговля в основном была вторичной, держанными списками. Лубочные оттиски тоже могли делаться по мере надобности. В том и был качественный скачок типографии, что она предполагала единовременный тираж и могла иметь место лишь в расчете на анонимный покупательский спрос. Выгода неизбежного (и значительного) удешевления печатной книги по сравнению с рукописной для начала безусловной не была: типографская печать (об изобретении не говоря) требовала несравнимо больших затрат — на оборудование, на овладение умением, на материал и производство тиража. Поскольку эта схема за основной социальный стимул к изобретению принимает потребность в знании не весьма многочисленного слоя состоятельных горожан, выходит, что изобретать было незачем: для них книгописания было достаточно. Другими словами, экономическим развитием как таковым ни появление книгопечатания в XV в., ни тот факт, что технизация книжного дела рывком опередила все области материального производства, не объяснить. Хотя, конечно, без вообще развитых товарно-денежных отношений и, в частности, без книжной торговли, если не изобретения, то распространения книгопечатания быть не могло. Искусственность этой схемы вызвала реакцию — отри-

цание социальных предпосылок книгопечатания и потребности в книге вообще: изобретение Гутенберга рассматривается как чисто техническое явление, подсказанное прожектерским веянием века, т. е. как случайность. Но: книгопечатание было не только изобретено. Утвердившись в 1450-х гг. в Майнце, оно еще при жизни Гутенберга перешло в ряд других немецких городов и перешагнуло через Альпы в Италию, с 1470-х гг. появилось во Франции, Англии, Нидерландах, Венгрии, Польше, чтобы к 1480-м гг. стать для большей части Западной Европы основой книжного дела и, охватив еще до конца столетия около 290 городов, к началу XVI в. свести значение освященного тысячелетиями рукописного производства книги до почти только библиофильской и потайной книжности. В отличие от восточноазиатских типографских опытов и от раннего русского книгопечатания, которые как правительственные мероприятия могли принудительно внедрять свою продукцию, распространение типографий на Западе Европы шло в основном путем частной инициативы. Более того: типографии вслед за скрипториями оставались вне ремесленных корпораций — не знали цеховых ограничений, но не имели и той опоры, какую своим членам давал цех, существование каждой типографии зависело от сбыта ее изданий. До конца 1500 г. в Европе насчитывается более 1100 типографских предприятий, среди них печатни, прекратившиеся после одного-двух изданий, и многолетние фирмы, выпустившие сотни названий, т. е. в целом, хотя не для всех, этот род производства экономически себя оправдывал: издания находили покупателей. Тиражи колыбельного периода в среднем исчисляются примерно 4—5 сотнями с колебаниями от менее ста до тысячи, изредка более. До 1.I.1501 г. известно около 40 тысяч изданий (а некоторый процент до нас не дошел), что дает примерно 16—17 миллионов экземпляров. Цифра внушительная, если учесть не-

сравнимо меньшую, чем сейчас, населенность Европы (город в 5—6 тысяч считался большим, только единичные центры насчитывали 3—4 сотни тысяч жителей) и отнюдь не поголовную грамотность, а также то, что этот печатный массив внедрялся в сложившийся книжный обиход, в котором обращалось значительное (и продолжавшее умножаться) количество рукописных и лубочных изданий. Такое распространение книгопечатания к случайности свести нельзя. И неслучайно выдвинувший эту концепцию автор (Ф.-А. Шмидт-Кюнземюллер) объясняет отсутствие механизации книжного производства в Древнем Риме рабским трудом (в античных скрипториях переписчиками были рабы) — как неблагоприятным для технического прогресса, но все же социальным строем. Наиболее общую формулу социальных предпосылок типографского производства книги — тоже на вопрос, почему оно не было изобретено в античности, — дал В. С. Люблинский (в работе «На заре книгопечатания»): типографская печать отвечает не вообще потребности в книге, а единовременной потребности во многих экземплярах одного и того же вполне тождественного текста. Как средневековая специфика перечислены неизвестные античности университеты, необходимость церкви поднять уровень своих служителей, потребность в аутентичности текста — как Библии, так и античной классической литературы, т. е. нужды общеобразовательные, официальные, научные, — без углубления в формировавшие их особенности европейского Средневековья, которые с чрезмерной даже логичностью подводили к тиражной книжности.

Подход к проблеме предпосылок книгопечатания через вопрос, почему его не было в античности, на первый взгляд странен (никто не спрашивает, почему не тогда, а в Средние века появились, например, часы или компас), но оправдан. Дело в данном случае не в том, что народы Европы

в течение всего Средневековья продолжали жить как бы под вывеской «Римская империя», пристраивались к ней, дрались за нее и т. д., а в том, как это положение сказалось на западной книжной культуре. Здесь латинский алфавит в период раннего Средневековья вытеснил из книжности все виды национального письма, латинский — чуждый новым народам — язык более тысячелетия после разрушения Западной империи оставался условием образованности и познания, ученой и литературной известности и т. п., и ареал его по сравнению с античным даже расширился, т. е. сохранился свойственный античным империям принцип двуязычья культуры каждого из народов. С той разницей, что латынь перестала быть языком завоевателей: не было уже народа, который на ней говорил. Если бы не этот феномен, античная книжная письменность — и латинская и греческая — была бы известна нам немногим более древнеегипетской. И латинская до Нового времени дошла почти только в средневековых списках. И от древнегреческой после турецкого завоевания Восточной империи и Балкан в мировой культуре осталось в основном то, что тогда же (и тоже как римское наследство) нашло прибежище у западных гуманистов, ибо там процесс шел обратный: по мере сокращения византийского владычества сжимался ареал эллинизации — международного применения греческого языка и письма, которые в итоге стали достоянием только самих греков и не очень многих ученых. Общность латинской культуры новых народов могла строиться лишь на том, что они застали, — на той обойме книжных источников образованности (учебная система, начальная грамматика — Элия Доната, комплекс классической литературы), которая сложилась в позднеантичной школе, т. е. когда латынь еще была родным языком массы людей. Поскольку та же обойма входит в основной костяк печатного репертуара XV в., когда родной язык у всех был иной,

условия для книгопечатания в Древнем Риме на первый взгляд благоприятней. Правда, античная форма книги (свиток) и ее материалы (папирус, кожа) технизации книжного дела не способствовали, но не это имело решающее значение: возможности перенять производство бумаги и книга-кодекс к концу античности в Империи были. Так что рецепция позднеантичной латинской культуры на Западе, хотя и была необходимой предпосылкой книгопечатания (подготовила ему международный книжный рынок), но не сама по себе, а лишь благодаря той особой роли, какую книга играла в Средние века. Ибо европейская средневековая культура — культура в основе своей книжная. Потому что через книгу тогда находили оформление основы человеческого и социального бытия.

Кардинальным отличием культуры Средневековья от античности и от любой другой эпохи является его идеологическая надстройка — господство универсальной религиозной идеи, точнее — религиозной утопии, в которую была облечена его социальная и духовная жизнь. Наиболее активные в те времена из мировых религий — христианство, мусульманство — и ныне наряду с другими имеют в мире служителей и последователей. Но современное общественное сознание, отвлекшись даже от его различий в разных социальных строях, определяется иными принципами (не всегда плюсовыми: расизма, например, «тьма Средневековья» не знала). Иначе в Средние века, когда религии были не просто той или иной верой, а определяющими идеологическими системами. Поэтому для Средних веков систему религиозного сознания приходится учитывать не только как факт, а как действенный социальный фактор. Мировые войны еще с предфеодального периода шли под знаком разных религий (так с VII в. завоевание Восточной и окраин Западной империи под знаменем мусульманства и отвоевательное движение — под христианским). А главное:

в пределах каждой религиозной системы разнозначные классовые позиции, противостояния разных народов, различные направления познания и т. п. свое обоснование черпали, как правило, не извне, а в ней самой, не в отрицании ее, а ради утверждения. Иными словами: и общественная мысль и научная, а значит — и идеологическая борьба и общественные движения принимали форму мысли и борьбы религиозной. Тем и фантастичен средневековый мир. И тем же создается своего рода замкнутость в себе культуры Средневековья, включая и тот период, который обозначается как Возрождение: даже такие ее явления, которые объективно предвещали перелом к Новому времени, исторически — по стимулам и целям — вырастали, как правило, из религиозного строительства. Это и связывает ее в единство. Поскольку универсальные, т. е. полагающие дать «истинный» путь к богу (как бы смысл жизни) для всего человечества религии неизбежно зиждятся на книгах, причем непременно на «богодухновенных» (и представляющих более или менее философское осмысление отношений мироzданья, человека, общества), религиозно-идеологические системы в отношении к книге и книжности нейтральными не были. Поэтому и путь, приведший к книгопечатанию в XV в., приходится искать в особенностях христианской утопии и в ее взаимодействии с развитием европейской социально-экономической структуры ко времени Гутенберга.

Здесь не место касаться ни сути христианской религии, ни истории церкви как таковых, необходимо напомнить лишь некоторые вехи. Возникшее на почве иудаизма, христианство опиралось на древнееврейский свод мифов, преданий, законов и пророчеств — Ветхий завет (как бы договор бога с человеком), ставший таким образом частью христианского «Священного писания». Иерусалим был свят как место страданий Христа и первый центр «церкви Христовой». Возникла она в период оккупации Палестины рим-

лянами, по Римской империи, включавшей тогда и эллинский мир и эллинизированный Восток, несли свою проповедь ученики и последователи Христа, в Риме основывали церковь и были казнены апостолы Петр и Павел. И т. д. Так события, образы, идеи иудейской древности сочетались с наследием романо-греческим и на века вперед дали форму историческому сознанию христианизированных народов. Средневековое мышление воспринимало явления одновременно и как никогда не повторяющиеся и как вечно сущие: Троянская война, царь Давид, император Траян и т. п., а главное — христологическая драма были давно — и присутствовали сегодня. По Ветхому завету «народом божьим» был еврейский, по христианскому Новому завету «народ божий» — церковь, мыслившаяся как совокупность всех уверовавших в Христа и исполняющих его учение людей. И Ветхий завет и Новый стоят на мессианской идее, по сути противоположной. Ветхий завет исходит из мессианства национального, Новый — из общечеловеческого: Христос — «светоч мира», «сын божий», посланный возвестить путь к «вечному спасению», быть освободительной жертвой для всех. Успех его учительства в Иудее был вызван народным ожиданием избавителя — царя иудейского, предназначенного создать очищенный от социальных зол и свободный от чужеземного ига «новый Израиль». Далее произошла подстановка: «новым Израилем», «истинным», именовали себя верующие во Христа и в его воскресение, неуверовавших же из евреев — «ложными» иудеями; для христиан религиозная идея заместила этническую. С точки зрения иудаизма христианство было ересью, гонения на Иисуса и первые преследования христиан исходили от еврейского священства. Однако римские власти уже к середине I в. перехватили инициативу. Не зря и для расправы с Иисусом и в качестве символа христианства было избрано орудие казни восставших рабов — крест. Энгельс — в работе «К ис-

тории первоначального христианства» — говорит о нем как о революционной религии рабов, угнетенных, бедноты. Для классической античности раб был говорящим орудием, варвар — потенциальным рабом, «свободная» нищета — презренным стадом. Человек определялся имущественным цензом, родом, местом в римской государственной системе, а к этому времени — произволом императоров, в качестве олицетворения римского государства прижизненно обожествляемых, их клик и военщины. И в восстаниях рабов доминировало стремление стать рабовладельцами. Христианство стало идеологией антирабовладельческой революции не только потому, что противопоставило всему этому внесоциальную — по отношению к богу — ценность и ответственность каждого человеческого я, повиновение богу вопреки властям, господам и священству, отрицательность к «миру» — к богатству, к власти, если «не от бога», к внешнему почету и пр. Выдвинув идеал равенства в «церкви Христовой», где «нет ни эллина, ни иудея, ... варвара, скифа, раба, свободного», оно звало «труждающихся и обремененных», провозглашало, что «...незначущее мира и униженное и ничего не значущее избрал бог упразднить значущее», «немудрое мира, чтобы посрамить мудрых» и бедных мира «... быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его». На это, на «блаженны нищие» и подобные речения опирался культ нищеты, который пронизывает Средневековье.

Наступление «царства божьего» сперва ожидалось, словно оно «при дверях», затем связывалось со вторым пришествием Христа. Отсюда призывы к немедленному покаянию (для богатых оно начиналось с раздачи имущества бедным), т. е. к нравственному, а по сути — к социальному обновлению и к постоянной готовности, поскольку «о дне же том и часе никто не знает». Христианство неразрывно с ожиданием конца мира, но в этом новозаветные

книги допускают разные толкования. По одному предполагалось быстрое нагнетание бедствий — появление Антихриста, гонения последнего императора на церковь, войны, моры, конец мира, всеобщее воскресение мертвых и второе пришествие Христа для суда «о добре и о зле» по их прижизненным делам и помышлениям. Так «царство божие» совпадало с уготованным для праведных «царствием небесным». Другое связывало со вторым пришествием наступление временного (оно исчислялось разно, от одного поколения до тысячи — хилиас — лет) «царства божьего», царства мира, взаимного милосердия, равенства, благоденствия и пр. на земле (и лишь затем ждало Антихриста, конца мира и «Страшного суда» для конечной справедливости — добрым дать радостную «жизнь вечную», злым и равнодушным — «плач и скрежет зубовный»). В последнем случае общины верующих (церкви) представлялись не только как избранные к «вечному спасению», а как строительство земного «царства божьего». Но и начало его без возмездия богатым и сильным, утесняющим бедных и малых, мздоимцам, лицемерам и т. п. не мыслилось. Второе пришествие Христа, как в чисто эсхатологическом, так особенно в хилиастическом комплексе было и мечтой и ужасом всего Средневековья. И потому не прекращались попытки приготовить к нему «народ божий». К идее устройства этого «народа» в источниках можно найти немногое: тенденция первохристианской церкви к добровольной общности имущества, разделяемого по нуждам каждого (или служение им «Христу» — неимущим, немощным, странникам), смена социальных градаций иерархией духовной, главным звеном которой были избранные Христом апостолы, все ради жизни «в духе» и не без противоречий. Эта сторона в них наименее выражена, иначе быть не могло: и Иисус учил, и апостолы и евангелисты проповедовали и писали не только под угрозой собственной гибели — она была программ-

н о й , — но истребления своих последователей. И все-таки даже в известных апостольских посланиях, наряду с призывами к терпению, послушанию и пр. (которые сами говорят о социальной взрывчатости христианских общин), встречаются слова, обнажающие смысл движения (так у ап. Павла к ефесянам: «...наша брань не против крови и плоти, а против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего»). Тот факт, что уже в I в. к христианству, тогда тайному и гонимому, стали обращаться люди из знати, понятен как выход из того рабского состояния, в какое скатывалось римское общество с установлением Империи. Было ли христианство в первые свои века стимулом действенного, а не только мученического противостояния власти, неясно. Периодические преследования показывают, что Империя видела в нем угрозу. И его утверждение в 313 г. в качестве государственной религии без сильнейшего «давления снизу» вряд ли имело бы место. Эта акция была маневром византино-римского правящего класса — стать «властью от бога», перехватив идеологию низового брожения, претворить христианскую утопию в обоснование покорности угнетаемых. И все же впервые в истории римского мира раб становился субъектом имперской идеологии и тем признавался — пусть перед богом — равнозначным господину. Это и составляет коренное отличие культуры Средних веков от античной, рабовладельческой: ее идеологические основы пронизывали общество снизу доверху, сколько их ни приспосабливали к себе властные и имущие, они оставались иллюзией, т. е. возвышающей формой самосознания, а значит — силой народных масс. Как ни противоречили основам христианской утопии поступки людей, сколь ни неумолимо прокладывали сквозь нее свой путь социально-экономические законы, этикетом она в течение всего периода не была, оставалась точкой отсчета в любой социально-этической ситуации. И потому в многопле-

менном, асинхронном, подвижном средневековом мире никакие корпорации, идеи, тексты не были и не оставались однозначными, их значение зависело от момента, места и от того, в чьих руках они были, вплоть до личностей, никогда история не была столь наглядно и детально диалектичной.

Этим компромиссом начиналось превращение христианства в идеологическую систему. В самом компромиссе уже были разные цели: христианские деятели видели в нем начало «божьего царства», средство «связать Сатану», обуздать не только угнетенные массы, но и правящий класс, который искал одного — превратить церковь из независимого объединения христианских общин в приводной ремень своей власти. Произошло утверждение церкви по воле Восточного императора, с попутной ликвидацией двуглавия Империи: в 330 г. единой ее столицей стала переименованная в Константинополь Византия. Император сохранял власть верховного понтифика — церковное главенство, в силу коего мог предписывать в делах веры. Менялось понятие церкви: начался отрыв духовной иерархии от остальных верующих (они затем и стали обозначаться как «миряне»), процесс ее превращения в официальный институт — церковь, с монополией на владение религиозной истиной, на богослужение (посредничество между богом и паствой), на проповедь. Неподчинение этой церкви могло считаться преступлением против государства, ослушание власти — ересью. В такой форме, закрепившейся в основном для греческой части Империи и в сфере ее воздействия, церковь становилась частью имперского механизма (общеобязательной верой христианство стало не сразу). Главенство императора над церковью предполагало подчинение ему всех христианизированных народов. Это было в интересах византино-римской рабовладельческой верхушки, но тем, кто верил, что с утверждением церкви наступает царство мира, оно

рисовалось как вселенская христианизированная держава — обновленная pax Romana: появляются пророчества, превращающие последнего императора из гонителя церкви в победительного миротворца. Ими и в сознании народных масс начиналось сращение христианской утопии с идеей «Священной Римской империи». Оформление церкви в универсальную Римскую не могло обойтись без утверждения ее основ — всеобщих (кафолических), правильных (ортодоксальных, православных), т. е. единственно ведущих к «вечному спасению» догматов и первоисточников веры. Разнотолкования христианской утопии, борьба направлений шли изначально, и этот момент должен был оформить раскол. Безотносительно к сути догматических разногласий после него различные противостояния Империи принимают, как правило, форму ересей, отвергающих те или иные формулы или практику официальной веры. Вмешательство императоров, расправы с непокорными иерархами только подливали масло в огонь. Но и кроме того: область веры иррациональна, прямого соответствия между той или иной вероисповедной формулой и определенной социальной позицией ни для того времени проводить нельзя, ни в дальнейшем, каждая из концепций церкви в разных условиях могла стать и орудием угнетателей и оружием против угнетения. Так принятие большинством германских варваров отвергнутого церковными соборами арианства (т. е. своей, независимой церкви) было формой национального противостояния Империи. У императоров тоже были колебания в пользу арианства, оно более, чем принятое церковью Credo *, отвечало интересам их власти. Потому попытка ввести арианство в качестве имперского исповедания успеха не имела, само соглашение церкви с «мирской» властью вызвало, плюс к догматическим, взрыв социальных ересей,

* «Верую» — первое слово «Символа веры».

в основном дуалистических (почитавших это союзом с дьяволом) и хилиастических (не признавших утверждение церкви за начало «царства мира» и ожидавших его). Компромисс все более оборачивался капитуляцией, что и в пределах ортодоксии вызвало с одной стороны бегство в пустынничество, столпничество, с другой — осторожную отстройку римских пап, которые — как «преемники св. Петра» — неуклонно добивались все большей независимости: Западная церковь оставалась хранительницей идеи восстановления Западной — собственно Римской — империи, но в качестве церковной. В те века, когда византийский гнет наслаивался на бесчеловечность имперских законов, которым церковные земли не подчинялись (социальные различия в них сменялись — или подменялись — духовно-иерархическими, церковь имела право укрывать беглых и т. п.), идея церковновластия в Империи была популярна. Иначе в еще доклассовом сознании варваров, для коего их короли были вождями народа. Так на сломе античности сложились те концепции устройства «христианского человечества», которые с переменной социальной нагрузкой действовали в течение Средневековья — идея теократической империи, идея цезарианской церкви, христианский общинный утопизм, смыкавшийся то с первой, то со второй в варварском ее варианте — народной церкви во главе с народным королем по образу библейского царя-пастуха Давида.

И тогда же определилась та роль, какая принадлежала книге в Средние века. По самой сути учения одним из главных подвигов любви к богу превыше всего и к ближнему, как к самому себе (основной принцип христианской морали), было апостольство — христианская проповедь. Это сразу породило письменность, содержащую основы христианского предания и учения, наставления апостолов к общинам верующих, пророчества и т. п. Христианство распространялось с удивительной быстротой, и потребность в

этой письменности нарастала. Есть мнение, что вместе с нею утвердилась нынешняя форма книги — кодекс, по образцу тех тетрадей дешевого папируса, которые были книгой бедняков (в противовес свитку богатых и принятому в иудаизме). Тем не менее от первых христианских веков ее сохранилось ничтожно мало. Отчасти это связано с гонениями на христиан и особенно — с утверждением церкви: на первых церковных соборах из десятков Евангелий было признано 4 (большинство остальных утрачено), часть апостольских посланий, отрывок их же «Деяний» и «Откровение» ап. Иоанна (Апокалипсис) — пророчество об Антихристе, конце мира, «Страшном суде», вместе составившие Новый завет, который вкупе с Ветхим заветом и представляет основной первоисточник христианской религии — Библию. Независимо от принципов отбора, для христианской книжности он сам по себе был новым этапом: тогда и возникло понятие текстов канонических (утвержденных как «правильные») и понятие книг апокрифических, ложно (еретически) освещающих религиозные истины и факты. Списки таких книг известны уже от первого церковного столетия. Так в начале идеологического строительства сразу был заложен принцип духовной цензуры. И писания ересиархов в основном известны по цитатам у их опровергателей. Иначе в отношении языческой книжной письменности, латинской и греческой: крайние — тогда наиболее демократические — тенденции к полному разрыву с языческим наследием у «отцов церкви» — Августина, Иеронима, Василия Великого и др. поддержки не нашли. Спасая для христианского будущего свою великую культуру, они ссылались на провидения дохристианских мыслителей и поэтов (Платона, Сенеки, Вергилия), на надобность владеть оружием противника — в споре с защищавшими язычество неоплатониками, неопифагорейцами и пр. В тот же период наряду с еврейским были признаны священными универсаль-

ные языки Империи — греческий и латинский (по преданию на этих трех языках была надпись на кресте Иисуса). Так греки и латиняне сопричислялись к «богоизбранным» народам. В IV в. был сделан — Иеронимом — перевод Библии на латинский разговорный язык (Vulgata). Греческий перевод Ветхого завета легенда относила к III в. до н. э., 4 канонических Евангелия изначально известны по-гречески. Таким образом, библейский свод был доступен всем народам Империи и стал для «христианского человечества» наивысшим объектом и источником познания. При этом он отнюдь не оставался неизменным. Наивно думать, что был «подлинный» текст Библии, затем «испорченный». И Ветхий завет не был единым (Вульгата включает не вошедшие в иудейский канон версии), так же и новозаветные книги в христианских общинах: работа Иеронима началась с попытки унифицировать латинский перевод более ранний. Но и его версия и греческая в процессе обращения впитывали дополнения из апокрифов, других изводов, редакционные подстановки, несущие разные социальные, гносеологические и т. п. тенденции, текст оставался живым. Поскольку в сознании народных масс и тогда и до конца Средневековья христианская идеология, а тем самым — ее первоисточники были их духовной собственностью, и это вполне понимали власть имущие как рабовладельческого, так затем и феодального мира, вокруг каждой социально-значимой библейской формулы, за каждое истолкование шла непрестанная борьба, и вся выросшая на Библии теологическая и пропагандистская литература проникнута ею. Такого при античном способе внеэкономического принуждения, державшегося голой силой, быть не могло: античная идеология, античная образованность были игрушкой рабовладельцев, посему античность в книгопечатании не нуждалась. Не было его и в Византии, хотя она еще несколько веков после христианизации не знала постигших Запад

тотальных катастроф и культурного перепада: здесь процесс феодализации шел как эволюция рабовладельческой структуры, с сохранением античного имперского механизма, включая власть императора над церковью: «раб божий» было равнозначно рабу императора, о том, чтобы читали рабы его рабов (в том числе варвары, которые в сознании греков оставались рабами), заботились лишь немногие просветители.

Иначе на Западе. Вторжения варваров в римско-византийские пределы, кроме объективных факторов так называемого великого переселения народов, движимы были еще и ненавистью к Империи-поработительнице и стремлением освободить от римского рабства своих соплеменников, что само делало их элементом антирабовладельческой революции (хотя пленных они в рабство продавали), но также стремлением стать «римлянами»: это для них означало славу, власть, величье. Однако этого для идеи наследования Империи без варварской рецепции христианства было бы недостаточно. Христианизация варваров обычно рисуется как крещение короля и знати ради утверждения своей власти с последующим крещением народа, если не насильственным, то вслед за вожаками. Т. е. берется за основу та схема, по которой короли и знать выставляли себя героями исторического процесса. Но на этапе перехода от общинно-родового строя к феодальному короли и знать более зависели от своего народа, составлявшего их воинство, чем от них народ. Посему официальное крещение могло произойти лишь при условии, что среди народа христиан была немалая часть, т. е. при двоеверии (оно и у крещеных сохранялось). Социальные основы как проповеди, так и восприятия христианства для варварских народов были иными, чем в Империи. Застававшим их на стадии разложения общинно-родовых отношений христианским проповедникам аналогии с ветхозаветным Израилем напрашивались сами

собой, а вместе с тем и иллюзия создать из них «новый Израиль», христианский «народ божий», часть, если не ударную силу тех «бедных мира», коим предназначалось быть «наследниками царствия». Восприимчивость к христианству варваров, переживавших разрушение общинно-родовой этики, определялась, с одной стороны, христианской общинной идеей, как бы освящавшей их понятия о справедливости, с другой — самоутверждением этих народов перед лицом великолепного и презрительного византино-римского рабовладельческого мира. Все это имело и примитивное преломление — богоизбранность как племенная, наследование как право грабежа и т. п., т. е. не исключало и язычников. Первая волна варваров и вышла на историческую арену во всеоружии богоизбранного народа — со своим вероисповеданием (арианство), со своим переводом Библии (и с попыткой создать койне — общегерманский язык на основе разных наречий, как впоследствии Кирилл и Мефодий для языков славянских), со своим особым письмом (аналогично два века спустя — с переводом «Пятикнижия» Библии, со своим койне, тоже как «народ божий», но после Христа удостоенный своего пророка, ворвутся в Империю арабы). И перевод и письмо, в IV в. созданные епископом готов Ульфилой, призваны были оградить «народ божий» от нечестивого греко-латинского мира именно в сакральном плане: варвары, швыряемые из Восточной империи в Западную, на греческом и латыни изъяснялись, обучаться в римских школах запрещалось только воинам (но переход к ортодоксии среди своих принимался как измена). Это было уже осознанной формой антиимперской революции. С позиций византино-римской церкви не столько арианство готов, сколько эта заявка была ересью. Перевод неведомыми путями сохранился в одном, пурпурном (королевском) списке; о том, что были другие, известно лишь по палимпсестам. Так уже в конце античности на-

чалась традиция видеть в переводе Библии на «варварские», особенно — на германские языки признак ереси (после утраты Византией Запада в отношении славянского перевода Кирилла и Мефодия в IX в. этого не было). Тем не менее первичная проповедь христианства варварам была возможна только на их языке. А это значило проповедь Евангелия (т. е. книги). Поэтому переводы его и части Ветхого завета должны были быть изначально (для языков романских не обязательно: они в ранний период от латыни отличались не более, чем славянские языки от церковнославянского). И вторично — на стадии осознания богоизбранности, зачатка государственной идеи: есть известие, что в IX в. был перевод англосаксонский — короля Альфреда (от него осталась Псалтырь); фрагменты евангельских богослужебных чтений на германских наречиях известны от VII в.

По формулировке Б. Ф. Поршнева (в работе «Феодализм и народные массы») «... каждое из средневековых европейских королевств — это несостоявшаяся «всехристианская», «римская», универсальная держава, принужденная ограничиться более скромными пределами... Универсалистская тенденция возрождалась с неменьшим упорством, чем тенденция сепаратистская, только рост народной борьбы преодолевал обе эти феодальные тенденции и ... заставлял феодальное государство приспосабливаться к своему противнику и ... развиваться в феодальную монархию (как наивысшую форму феодально-классового аппарата принуждения. — *Н. В.*), в национальное государство». Первые рейды варваров по Империи более напоминают поиски своей «земли обетованной», римского уклада они не меняли, жили рядом по своему закону. Идея наследования Империи проступает в остготском королевстве Теодориха, искавшего поддержки и у римлян. Для остготов она в VI в. кончилась катастрофой — 20-летним истреблением народа (как

еретического) и опустошением Италии византийскими войсками. Осуществить ее впервые удалось королю франков Карлу, в 800 г. коронованному императором Запада, что и было принято как возрождение Западной Римской империи. Франкские короли изначально (с V в.) связали свою идею наследования римлянам с ортодоксальным исповеданием и с поддержкой римских пап. Всерьез приняв свою роль восстановителя Западной империи, Карл не только продолжил неудавшееся в 9 г. римское наступление на северо-восточные германские племена (саксов), в основном еще языческие: он возрождал римскую школу, вводил письмо римских канцелярий, организовывал переписывание римских классиков и церковных писателей, предписывал, чтобы каждый прихожанин и прихожанка знали «Отче наш» и «Верую» по латыни; начальное обучение — латинской грамоте, церковному пению и пр. в монастырских и приходских школах с принудительностью предусматривалось его рескриптами. С этого времени двуязычье, ранее стихийное, становится как бы законом западной культуры. Карл декретировал латинское обучение не только с просветительными целями: он ломал сопротивление — как ариан (из-за «Символа веры»), так и саксов (стремление сохранить руническую грамоту или хотя бы избежать латинской). Но в X в. императоры саксонской династии приняли ту же систему: в ближайшие после Карла два столетия завершался переход варварских языков на латинское письмо, чем они как бы приравнивались латыни. (С переходом на латинское письмо певцов-поэтов и певцов-сказителей отошел и большой слой народной традиции: устаревал язык, забывались руны.) На этом этапе идея наследования Империи снимала в западной письменности знаковые барьеры и закрепляла ту обойму античного наследия, которая была основой латинского образования и после XV в. И далее всякий взлет имперской идеи сопровождался на

Западе тенденцией к латинскому всеобучу в сочетании с интересом к собственной древности: в ней искали обоснования богоизбранности своего народа на наследование Империи, вследствие чего и народноязычные традиции утверждались в латинском письме. Греческой грамоты для своего языка ни один из новых народов не принял: это было письмо живой поработительной державы. Мертвая латынь избавляла побежденных от унижения принимать язык победителей, то был язык «священный» и ничей, и потому стал языком всех.

При саксонских императорах началось отщепление от Империи западных франков (Франция) и определился тот конгломерат из Германии и Италии, который с некоторыми колебаниями в границах под названием «Священной Римской империи» существовал почти до конца Средневековья. Тогда же произошло присоединение к Империи чешской части Великоморавского княжества (в 955 г. вместе с Оттоном I отстоявшей себя от венгров). Т. е. сложилась в основных чертах та политическая схема, которая в разных комбинациях разыгрывалась на поверхности феодальной Европы: в пределах Империи — борьба князей за корону (с укреплением своих позиций путем браков, частных завоеваний и пр.), извне — попытки избежавших этого объединения королей, прежде всего французских, завладеть ею (с попутным строительством своих контримперий как базы для присоединения «римской»). И еще — византийский мираж — соединить обе империи под своей властью. Но не просто, а в качестве «всехристианской» державы, за которой стоял другой мираж — хилиастическое царство, началом коего короли, веруя или спекулятивно, жаждали прославиться: пропаганда вселенских притязаний — Карла Великого в VIII—IX вв., Генриха IV немецкого в XI в., Людовика VII французского, Фридриха I Штауфена в XII в. и далее — актуализировала апок-

риф о последнем императоре-миротворце, суля освобождение Иерусалима с низложением короны на Голгофе, перековкой мечей на орала и пр. Особая роль в этой схеме была у папы Римского. Италия государством не была, распалась на множество владений. В темные века духовный примат у Рима оспаривали Арль, Милан. Но папы до середины VII в. платили византийскому императору налог за свою инвестицию — утверждение в сане и во власти над церковью некоего региона (границы его неясны, ибо «Константинов дар» — акт, на котором зиждилась принадлежность папству Рима и номинальное владычество папы над Италией, подложен — создан или переработан, видимо, франкским низшим клиром в VIII в.; подлинность его противники папства оспаривали с XII в.). И папа представлял Рим. Любой завоеватель без коронации римским папой был только королем, не римским императором. Папа был беззащитен, его можно было избить, убить, поставить свою марионетку. Но без идейного обоснования это подрывало авторитет императорской власти. Папские отлучения от церкви и интердикты (запрет богослужения) были серьезным оружием. И папу «назначить» было нельзя, его выбирал римский клир. Рядом была византийская модель — идеал властителей, мечтавших так же подчинить церковь. Но даже Карл был признан лишь «светским мечом» веры, а далее оставшиеся вне Империи короли сами стремились присягать папе. Власть папского престола держалась не силой, а той идеей, которую он представлял: папа был символом церкви наднациональной и как бы надклассовой, ее независимости от «мирской» власти. Хотя в ранний период короли, как правило, самовластно инвестировали духовенство своих владений, и их высший клир это положение будто «устраивало», оно неминуемо должно было измениться в сторону того двоевластия, которое для западных стран создавалось подчинением церкви папе. В борьбе за примат

цезарианский принцип (см. выше, с. 43) победить не мог: при становлении феодального строя на фоне пережитков рабовладельческого главенство короля над церковью возвращало общество к рабству, а потому встречало сопротивление не только подчиняемых таким образом иноплеменной власти других народов, но и собственного. Ибо новые народы школы рабства не проходили. Борьба за королевское самовластье потому везде полна преступлений, что оно было вопреки закону и если удавалось, то редко не извергам. Как известно, суть занявшего начало Средневековья процесса феодализации — в смене крестьянского землевладения держанием земли от феодала с вытекающей из этого зависимостью. Сколь ни мало идиллична феодальная система, она была не бесправием, а цепью взаимных обязательств (прикрепление крестьянина к земле значило не только, что он не мог уйти, но и что феодал не вправе был его согнать; и т. п.), при всех нарушениях как таковая сознавалась и тогда отвечала взаимной потребности. Уже Карла заботила тяга крестьян вступать в зависимость: это уменьшало число воинов. Но и феодал от них зависел: они его кормили, снаряжали, могли и поджечь. В раннем Средневековье, пока не улеглось движение народов (последними варварами были венгры в X в. и норманны), чувство племенной общности частью заслоняло суть процесса, и народное сопротивление феодализации обычно выступало в соединении с борьбой групп знати за преобладание или против иноплеменников, в областях, где тот или иной император насаждал свое духовенство, на раннем этапе принимая иногда форму возврата к язычеству (так у саксов в середине IX в., у чехов в начале X в.). Но язычество было обречено: в происходившем у новых народов классообразовании оно не давало идейной основы для народного сопротивления своему господствующему классу, которое и было формирующей силой всей внешней истории Средне-

вековья. Это сопротивление шло как строительство «царства божьего», и не с национальной, а с универсальной идеей.

Латинское двуязычие могло захватить весь Запад только потому, что античная книжная письменность и античная школа оставались там живы в самые темные — VI—VIII — столетия. Мост перекинули монастырское книгописание, начавшееся, видимо, как раз в VI в., когда монахи взяли на себя рабский труд переписчиков (что потом сделало его почетным), и монастырские школы. Известны крупные центры, известно, что в VII—XI вв. проповеднический и латинский книгописный взрыв исходил из Ирландии и Англии, т. е. из дальних окраин варварского мира, и оттуда двигался во Францию, Германию, Италию. Это было возможно лишь при условии, если латиноязычие было одним из элементов народной жизни. Социальному смыслу этого явления мало уделялось внимания. Монастырь на Западе сперва был соединением группы аскетов и общины женатых и детных людей, жил своим трудом, от возделывания земли до врачевания, книгописания, школы. И таких монастырей было много больше, чем прославилось. Не такому ли общежительству обязана своим происхождением возникшая как раз в темные века соседская община, до XVI в. служившая основой правовой самозащиты крестьян от феодального произвола? По идее церковные земли должны были быть островками «божьей империи», что в темные века принималось всерьез. В нараставшем еще в X в. стремлении крестьян вступать в зависимость отмечена тенденция закладываться именно за церковных владетелей. Вступление в монастырскую общину предполагало отказ от своего имения, начиная с земельного. В Швабии в IX в. оно шло как движение Братства общей жизни. Это значит, что был житийный устав, школа, т. е. начатки латинской (а тем и своей) грамоты, разъяснение слов богослужения и т. д., для способных — и более. Объективно это ус-

коряло феодализацию церкви, при смене условий превращалось в просто зависимость. Но этим закладывались основы крестьянской книжности и главное — основы крестьянского самосознания, самоотождествление крестьянства с теми «бедными мира», которым — вместе с прочими неимущими — надлежит «наследовать царство», идея святости крестьянского состояния (на основании той версии Вульгаты, где в предисловии Иеронима вместо sancta simplicitas — «святая простота» — фигурирует sancta rusticitas, буквально — «святая деревенщина»), обусловленной христианским образом жизни и защитой церкви, что выступит на поверхность уже в следующем тысячелетии. Взлет авторитета, активизация теократической утопии Римской церкви со второй половины XI в. говорит, что в сознании народных масс — в процессе классообразования, взаимных завоеваний и пр. — чувство племенного единства заслонила идея межнационального церковновластия: для Запада как бы возродилась позднеантичная ситуация, когда оно представлялось спасением от социального угнетения. Показательно, что вознесенная папой Григорием VII — это был единственный в истории случай, когда крестьянский утопист достиг папского престола, — идея подчинения «мирских» властителей папству (а вместе с тем — идея «концерта народов») и его борьба с представлявшим цезарианский принцип императором Генрихом IV за инвеституру и за безбрачие духовенства (через семью оно от светской власти зависело), а также принцип «воинствующей церкви» встретили отклик, даже революционный, именно в крестьянской, в городской плебейской, частью — в рыцарской среде. И поднятый им лозунг освобождения «святой земли» — как начала «царства божьего» — первым подхватило и в первый крестовый поход в 1095 г., опережая феодальное воинство, пошло — безоружным подвигом завоевывать свое царство — крестьянство при участии немногих

рыцарей. (И разрыв — в 1054 г. — между церковью Западной и Восточной тогда был неизбежен: подчинение церкви папе угрожало Византии отпадением подвластных ей народов.) Потому они и были перехвачены феодальной верхушкой и ее слугами, чтобы в течение XII—XIII вв. утратить свою двузначность: с этого периода борьба за примат — между теократией и цезарианством — все более становится политической борьбой внутри правящего класса — за господство, но уже как единый аппарат принуждения против народных масс. Однако с оглядкой. Ибо в те века народ был силой особенно грозной: при всех контрастах Средневековья того зияющего разрыва в вооружении между аппаратом принуждения и народом, какой был положен развитием техники, не было. Потому и спор об инвеституре — он особенно остро и длительно (1076—1122 гг.) проходил в Империи — должен был кончиться вничью, оставив утверждение в сане за папой, в земельных владениях за светской властью, без этого был недостижим их союз. В отличие от раннего Средневековья, когда господствующий класс в идеологическом плане шел на поводу у народной стихии, теперь он все круче забирает идеологический диктат в свои руки, с XIII в. переходя к террору. Какие бы ни были одеяния этой перестройки — теократическое или вновь поднятое на щит в XII и XIII вв. германскими императорами Фридрихом I и Фридрихом II Штауфенами цезарианское, а в других странах — колебания властителей между стремлением изъять церковь своих владений из подчинения папе и обратным, и методы ее были едины (Фридрих II, над догматами смеявшийся, еретиков преследовал) и смысл — достичь покорности вовсе не феодалов (оба миродержавные Фридриха самовластье князей в Германии укрепляли), а народных масс. И рвавшиеся подчинить церковь императоры и короли проповедников церковного безземелья сжигали в полном согласии с нею (так на казни

Арнольда Брешианского в 1155 г. Фридрих I на время своей коронации примирился с папой). Если в течение двух веков доминировала теократическая линия, то потому, что она хотя стесняла светских властителей, но «устраивала». Оставив даже перипетии крестовых походов на Ближний Восток и борьбу королей за Империю (которая с XII в. связывалась с завоеванием Иерусалима, в некоторых источниках встречается тождество — Иерусалим тот же Рим), она и давала узаконенный выход социальному напряжению и «отвлекала огонь» на себя. Поэтому созданная — якобы ради папской власти — система оставалась действенной в период упадка папства в XIV—XV вв. и существенно определяла обстановку начала книгопечатания.

Менее всего — абстрактно про- или регрессивные философские позиции (спор номиналистов и реалистов) XII в., как это часто рисуется. И тогда аббат Клерво — знаменитый святой Бернард Абеляра преследовал (и добился для него в 1140 г. запрещения учить устно и письменно) не за номинализм: тому же в 1148 г. подвергся и схоласт реалистической школы Жильбер де Ла Порре, епископ Пуатье, по доносу двух клириков своей епархии осужденный на Реймсском синоде (из многих его сочинений осталось всего одно). Далее немецкое и французское духовенство в основном держалось номинализма, а революционной ересью — виклифианство, гуситство — обернулся реализм. Важнее запрет познания (и что Бернарда Данте прославил в своем «Рае»). Система сложится на рубеже следующего столетия. Организация науки — папские утверждения и привилегии университетам, начиная с Оксфордского и Парижского. Как правило, это были возникшие ранее высшие школы. Утверждения их имели в виду церковно-научное единомыслие — подготовку кадров ученого клира (для насаждения науки церковно одобренной), международную духовную цензуру (ей особо подлежали богосло-

вие и философия). Теперь не спорадические синоды по частным доносам, а постоянные корпорации ученых имели полномочия изыскивать и осуждать еретические отклонения ученой мысли. И радели: в 1277 г. в Париже и Оксфорде среди прочих были осуждены тезисы Фомы Аквинского; только после его канонизации (1323 г.) осуждение было снято ректором Парижского университета, в отношении остальных действовало — и печаталось — в XV в. С XIV в. цензура университетов, начиная с Парижского и Оксфордского, установится на книгописание: учреждается должность либрария (стационария), ответственного перед университетской корпорацией, основной функцией которого было держание и выдача за плату для переписывания «образцов» (exemplaria) всех нужных текстов и проверка результатов переписки; единовременная потребность в одном тексте удовлетворялась путем выдачи разным лицам отдельных частей (пеций) оригинала. Раздел оригинала по частям практиковался в любом скриптории при переписывании несколькими писцами с одного списка, проверка — обычно. Новость была в официальных полномочиях и в утвержденном оригинале, а главная цель — борьба с зыбкостью текстов — интерполяциями и пр., часто служившими способом неканонического просветительства. Переписывание книг богослужебных, библейских в принципе оставалось в руках скрипториев монастырских, кафедральных и т. п. (из этой книжности светские скриптории изготовляли часовники для мирян, которые были одной из немногих постоянных статей книгописания на продажу). Цензура университетов коснется и книжного рынка. Либрарии, изначально имевшие привилегию вторичной книжной торговли, в XIV в. получат ее на переписывание книг для продажи. И разрешение (привилегия) на книжную торговлю предполагало либо — так в Кёльне — университетский цензурный досмотр (в 1479 г. папское повеле-

ние распространило его на книгу печатную), либо иного полномочного органа, что сказалось — в Париже с XIV в. — на ее организации: для привилегированных стационариев и приезжих отводились лавки при церквях, на ярмарках, непривилегированная — не проходившим цензуру книжным товаром — торговля была ограничена ценой, т. е. предполагала мелкую продукцию и допускалась с лотков под открытым небом. Еще звено системы: международные противоеретические крестовые походы — Альбигойские 1209—29; против штедингов (Фрисландия) 1232—34; богемские — 1420—31 (провалившиеся); оба первые попутно решали проблемы феодального и крестьянского безземелья, коему основанная крестоносцами после взятия Византии Латинская империя (1204—61) выхода не дала: Лангедок стал доменом французских королей, на область штедингов претендовали графы Фландрские. Определяющим фоном системы, действовавшим в течение всего Средневековья, была учрежденная в 1215 г. при папе Иннокентии III инквизиция — церковный сыск и судилище, прославленные поощрением взаимослежки, провокаций, доносов, пытками при дознании, коему были подвержены все сословия, включая духовное; церковный суд смертных приговоров не выносил, предоставляя это светской власти, поэтому имущество осужденных делили церковь с королем (и доносчик). Плюс устрожение церковного обряда, из коего все более вытесняется участие прихожан. И эта струя — наставлениями по свершению мессы, исповеди, сборниками проповедей на все дни церковного года (даже с названием «Проповеди „Спи спокойно"») и т. п. усилится — и займет большое место в печати — в XV в. Только ли ради «повышения уровня» клира? И ревизия книжности — пересмотр, перетолкование, унификация книжных основ идеологии и образования, которая тоже скажется в библиографии инкунабулов: авторов раннего Средневековья в ней немного, за бортом

остались иные крупные имена. И дело не в устарении: для книги на «вечном» языке, рассчитанной на вневременное и вненациональное бытование, понятия устарелости не было, был лишь критерий «истинности». Отголоски многих вытесненных тогда с книжной арены сочинений и раннего и того времени остались лишь в осуждениях, опровержениях, в характерных начиная с XIII в. компилятивных энциклопедических сводах — «Суммах», «Зерцалах» и т. д., снимавших надобность обращаться к источникам. В XIII в. создается свод канонических житий, утверждается Парижским университетом версия латинского библейского текста, притолковываются к церковному образу мироздания натурфилософские сочинения Аристотеля (в противовес арабскому — «еретическому» — толкованию Аверроэса, которое в XII в. вызвало запрещение самих сочинений) и становятся основой католической науки. Вместе с тем — «критика действием»: в инквизиционных процессах само наличие у обвиняемых иных сочинений служило уликой, и книги сжигались, часто вместе с людьми. И т. д. Все вместе представляет некоторую аналогию первых церковных столетий, а за ним стояла в какой-то мере сходная ситуация: Римская церковь, реформируясь в универсальную власть, отрабатывала ее идейные обоснования, фанатики церковнодержавия — их в XII—XIII вв. во всех слоях было немало — видели в ней единственное для человечества спасение (и рвались облагодетельствовать им все народы, сопротивление принимая за одержимость дьяволом). И, как тогда, церковь отметала нарушителей своей концепции и своего строительства. Разница в том, что теперь и то и другое оспаривалось не иерархами. И не в несогласности нескольких философских умов или знатных и богатых особ, не в самих по себе отклонениях отдельных монахов и священников было дело, их просто было обречь на молчание, на костер, на пожизненное заточение. Главное, что концепция

церкви оспаривалась религиозной инициативой из народных недр.

Несколько уточнений. Гнезда народного еретизма обнаруживались и ранее, но локально. И далее он слился с борьбой за инвеституру, чаще на стороне папства (так патарены в Ломбардии, братство в Шварцвальде), с первым крестовым походом. С XII в. еретизм становится постоянным элементом европейского бытия. Новизны эти ереси не несли, все они восходят к направлениям раннего христианства — дуалистическим, гностическим, мистико-пантеистическим и др., являя, как правило, сплав этих течений, различаемый лишь по доминирующему признаку (и то нетвердо, ибо идейные платформы часто известны лишь из обвинительных заключений и допросов, порой подводивших разные направления под одну шапку), эклектизмом они подобны церковной доктрине. Общей для ересей была идея возврата к начальному христианству: по мере империализации церкви оно вновь становится знаменем сопротивления порабощению, социальному и духовному. В качестве религиозной оболочки социальных движений и рассматривает средневековые ереси Ф. Энгельс (в работе «Крестьянская война в Германии»). Внешне поводов оспаривать «истинность» Римской церкви именно с XII в. не было. Как и прежде, духовенство сохраняло имущественные права (монашество их лишалось), а церковная десятина взималась; духовное поприще могло быть видом карьеры, церковные должности давно превратились в бенефиции, покупались, раздавались в награду (хотя клир, кроме низшего, был выборным); вместо босых апостолов «церковь Христову» представляли все более надменные и пышные прелаты, чудотворцев среди них не было. И т. д. Что налог за подавление духовных сановников (аннаты) после инвеститурного компромисса взимает папская Курия, а не короли, народу было равно. Важнее, что связываемое с завое-

ванием (в 1099 г.) под эгидой церкви Иерусалима, а отчасти с дальнейшей крестовопоходной эпопеей социальное чудо — «царство мира» не наступало. Главным обвинением ей — теперь не в порядке борьбы за примат, а в низовом еретизме — становится ее «мирская» власть (а потому — принятие «Константинова дара»), т. е. сама основа теократизма. И алчность. Церковнодержавие строилось фанатиками, но не без политики: вступив для строительства своей Империи в игру с феодальными властителями, Римская иерархия и объективно и в глазах масс все более становилась международным органом правящих феодальных верхов. Ее собственная шахматная партия — учреждение «царства божьего» сверху материальным и духовным бременем ложилась на народы Европы. Нагнетание ее мистических привилегий — в XII—XIII вв. добавятся монополия духовного чина на причастие «под обоими видами», хлебом и вином (в латинской церкви миряне причащаются одним хлебом), Иннокентий III объявит папу наместником Христа и т. п. — отсекало церковную иерархию от остальных верующих, превращая их из членов церкви в ее стадо, и требовало от них слепой веры. Средневековое человечество жило в категориях фантастических, но в*и*дением обладало ясным. Часть его происходивший под видом реформы церкви тоталитарный идеологический переворот фанатизировал, но в развитии своем все резче разоблачал несоответствие практики притязаниям: Римская церковь представала как мощная держава, возглавлялась «наместником божьим», а «божьего порядка» не наводила, поддерживала несправедливость «сильных», «богатство неправедное».

Известно, что обострение противоречий феодального мира было связано с процессом вытеснения натурально-хозяйственных отношений товарно-денежными, признаком и стимулятором которого было возраставшее с XI в. значение городов. Торговля, деньги, ростовщичество в Европе

были и ранее, но верхушечно. Отныне торговля и деньги будут посредниками между ремеслом и сельским хозяйством, между ремеслами и т. д., т. е. затронут основы экономической жизни. С XII в. деньги становятся условием власти, военной силы и пр., в прямой пропорции к притязаниям, а власть — еще и средством выжимать деньги. Притязания и у властителей и у церкви были мировые, источники денег в феодальном мире ограничены. В погоне за ними и властители и церковь торговали, чем могли: должностями, привилегиями, королевствами и коронами (немецкие князья в период 1254—73 гг. продавали императорство разным королям и принцам), церковь — реликвиями, с XIV в. индульгенциями; правители изобретают все новые налоги, конфликтуют с церковью за налогообложение духовенства. Сама идеологическая борьба становится доходным делом: инквизиция пополняет и ту и другую казну, осуждая денежных людей (самой крупной такой акцией была расправа, в 1307—14 гг. проведенная французским королем Филиппом IV над монашески-рыцарским орденом Тамплиеров), с неосужденных берет оплату судебного разбирательства. Спекуляции на идеологемах — ради имущества, карьеры, из зависти, мести и п р . — проникают все слои. Аппарат власти, светской и духовной, от сановников до писцов, взимает поборы в свою пользу; в борьбе с аппетитами последних папская Курия в XIV в. вводит (а в XV в. много раз издает) таксы платы за изготовление грамот. Но меры всех властей против взяточничества при собственной их денежной беспринципности были тщетны. В городах, где деньги были основой существования, а богатство — условием влияния как граждан, так самих городов, — не лучше. Спекуляция на потребности в деньгах — высокопроцентное ростовщичество вызвало в 1179 г. папскую буллу, запрещавшую его под страхом лишения причастия и христианского погребения (тогда синонимом ростовщика

стало иудей). И это положение не отменяется, хотя развитием денежного оборота модифицируется: в XIII в. зарождается банковское дело — сперва как побочные операции купеческих домов. Втягиваются в него и различные корпорации, в том числе духовные, у которых деньги, им по образу жизни мало нужные, скапливались благодаря пожертвованиям: международными банкирами были Тамплиеры, в XV в. некоторые монастыри выполняли роль ссудных касс, практикуя (при условии выплаты процентов) ссуды бессрочные. Частный люд помельче всяко обходит запрет: краткосрочные ссуды приравниваются к покупке денег (такой оборот есть в одном из гутенберговских актов); самый обычный способ — сделка, в которой ростовщик выступает как участник предприятия (что в жизни Гутенберга тоже было). Но и торговая прибыль, поскольку она, за вычетом затрат труда, доставки, риска, является спекуляцией на разнице цены и стоимости, с позиций того времени праведной не была: чем богаче становились лавки, дома, одежды бюргеров, тем «греховнее». Вторжение денег меняло и собственно феодальные отношения. Нужда в них толкала феодалов заменять барщинные повинности крестьян оброком, все чаще денежным (что вело к обезличению, отчуждению их зависимости), продавать крестьянам свободу за выкуп. И она же по мере втягивания феодалов в торговлю сельскими продуктами вела к утяжелению повинностей, возобновлению барщины и пр. Деньги ускоряли для феодалов эмансипацию от той связи со своим крестьянством, какая была в раннем Средневековье: крестьянин все более становится для них просто источником дохода, у знати появляется презрение к крестьянству, возмущавшее в последнем сознание святости крестьянского состояния. В XIV в. воскресают рабовладельческие идеи. Деньги как абстрактное мерило цены труда обнажали для крестьян неправомерность его присвоения, го-

рода в своем развитии — несправедливость закрепощения: горожанин повинностей не нес, мог отказаться от гражданства в одном городе и приобрести в другом; крепостного, кроме выкупа, от повинностей освобождало лишь вступление в монашество, бегство в город, временно — крестовый поход или паломничество к каким-либо «святым местам». Деньги и в крестьянский мир вносили расслоение. Деньги рушили равновесие и внутри феодальной иерархии, начиная с низшего ее звена — рыцарства, в коем был значительный слой с карликовыми уделами, по уровню жизни мало отличный от среднего крестьянина. Этому слою вассальные повинности были бременем и рыцарское снаряжение не по средствам. Для этих рыцарей воинская служба все чаще заменяется денежным налогом, который идет на оплату наемников. И им же, если не разбойничать во главе своих крестьян или не в монастырь, иного пути, чем наемничество, почти не было. Так и для феодального класса нарастает отчуждение вассально-сюзеренных отношений в денежные, он перестраивается применительно к бедности и богатству. Процесс товаризации — медленный, асинхронный, но всеобщий и — как явление базисное — неодолимый. Накладываясь на христианскую утопическую схему, он в глазах масс означал растление «христианского человечества», приближение Антихриста и второго пришествия Христа. А поскольку «обмирщенное» духовенство своей обязанности — готовить к нему «народ божий» — не выполняло, это становится делом самого народа, он строит церковь свою, в чем и была суть еретического движения более чем 4 столетий высокого и увядающего Средневековья.

Все было, конечно, не столь просто. К Средним векам понятие «массы» применимо лишь с оговорками. И людей было мало. И по условиям жизни, по условиям труда каждый человек был отдельным, даже в городе. Всех видов

зависимость была личной. И сознание: каждый в своих пределах должен был сам за себя отвечать перед богом. Массовые движения, увлечения жестокостью в завоевательских и классовых расправах были, механистичности не получалось. Церковно-идеологическая система работала в зависимости от места, времени, людей. Конечно, ее террористический принцип, в чьих бы интересах — папства или королевских — он ни проводился, людей не страстно убежденных деморализовывал. Оставить обвинение в ереси без рассмотрения равнялось соучастию, а доносы бедных и «простых» друг на друга и особенно — на богатых и ученых периодически поощрялись. Но были и барьеры: отчасти — государственная, а главное — феодальная раздробленность католического мира, конфликты между властителями и папами, случаи двухкоролевья и двоепапства, княжеские оппозиции. Короли и князья порой брали еретизм на вооружение. Фридрих II Штауфен, спекулируя на популярном идеале церкви бедной, прямо вел пропаганду против Римской иерархии. В странах с наиболее тогда выраженными монархическими тенденциями (Франция, Англия) инквизиция могла действовать более методично, в децентрализованной Италии и в Германии спорадически. Духовенство и монашество ни по социальному составу, ни по социальной ориентации, ни по воззрениям на пути церковного строительства не были едины, включая иерархов, из коих некоторые к духовной инициативе снизу, даже еретической, пока она не денонсировалась, были терпимы (в частности, в Империи). И т. д. Тем более это относится к цензуре: разрешенное в одном государстве (княжестве, епископстве, городе) запрещалось в другом, иногда вопреки папе. Книготорговые привилегии были статьей дохода. Цензурный досмотр в отношении авторов канонизированных, античных, вообще «одобренных» мог производиться по перечню (от таких перечней пошли, видимо, кни-

готорговые объявления). Чтение этих авторов само по себе не возбранялось, что с XII в. породило новую волну специфически средневекового явления — псевдоэпиграфов. Первая имела место в инвеститурном споре, но с другими целями: имена церковных авторитетов были нужны как опора своей позиции. Теперь они служили для alibi. Под именем признанного теолога и философа XIII в. Альберта Великого ходили — и в XV в. издавались — тексты, включенные затем в «Индекс запрещенных книг». Сатира некоего немца XIV в. Конрада на Парижский университет сохранилась — и вошла в печатные издания XV в. — под именем весьма чтимого и читаемого позднеримского философа Боэция (в данном случае вряд ли без участия либрария). Под именем Аквината был известен — и печатался — комментарий к тому же Боэцию доминиканца Фомы из Уэллса, в 1384 г. обвинявшегося в еретической проповеди. Это — образцы из книжности ученой, уже — из университетской. Изучение средневековой анонимики и псевдоэпиграфики, всего множества псевдо-Альбертовых, псевдо-Августиновых, псевдо-Бернардовых и т. п. произведений в свете идеологической обстановки той эпохи дало бы и более яркие примеры. Сам принцип хлынувшего с XIV в. из Италии нового направления учености — изучать древние litterae humanae — человеческие писания, а не «священное», тоже был своего рода alibi: родились критика текстов, розыски древнейших списков и пр. из стремления вернуть «подлинность» тексту Библии. Университеты как филиальные организации церкви своим подчинением папе были, включая студенчество, из местной юрисдикции изъяты. Это создавало касту, ревнивую к своим прерогативам, что покрывало и буйство, распутство школяров, и ученое презрение к «неучам». Но то же давало некоторую независимость: одобренное тем или иным университетом сочинение или учительство до поры от обвинения в ереси ограж-

далось. Такие конфликты с церковью, как в 1381 г. у Оксфордского университета из-за В и к л и ф а, — случай чрезвычайный. Но осужденный аверроизм, например, в итальянских университетах процветал (и Аристотель с комментариями Аверроэса в XV в. в Италии издавался); проникновение его за Альпами беспокоило лишь университеты другого направления (и в сфере их цензуры не допускалось); и т. п.

Важнее, что Средневековье — эпоха бродяжья. Наиболее оседлым в ней было среднее бюргерство, и то подмастерью перед испытанием на мастера полагались годы странствий. Подмастерья, пилигримы всех сословий, мелкие торговцы вразнос по деревням или ярмаркам, воины к местам сбора или возвращавшиеся, крестьяне на заработки или просто беглые, калеки, прокаженные, нищие всех сортов, монахи из монастыря в монастырь или самовольные, школяры из университета в университет в поисках лучшего знания и т. п., все порой на грани мошенничества и разбоя, и тем более идеологически трудно контролируемое. С бродягами из духовного звания церковь борется уже в VII в., ославляя их как обирал, обжирал (каковые тоже были). Ваганты стали синонимом носителей латинской поэзии XII—XIII вв., в основном ученой, хотя обычно кабацкой. В отношении школяров регуляризирующие меры — иммат- рикуляция, организация их при всех университетах по нациям с ректорами для каждой — в XIII—XIV вв. были приняты. Упоминаемые в церковных постановлениях среди clerici vagantes священники без прихода, неполномочные проповедники и пр. подлежали церковной администрации или инквизиции. Сперва среди них, затем особо упоминается другая категория интеллигенции, тоже межсоциальная — из рыцарей, крестьян, горожан, низшего клира, обычно бродячая, часто владевшая чтением, нередко письмом — певцы и жонглеры. Как профессия они были от церкви от-

лучены. О внушаемой ими тревоге в конце XII и в XIII в. говорят отмены отлучения для тех, которые служат при сеньорах для прославления их рода и деяний или поют жития **святых**, — тоже попытка регуляризации, вплоть до тематики (другая форма узаконения певцов — городские цехи мейстерзанга с XIV в. в Германии). Однако среди этих текучих масс контролю поддавалось слово публичное, произнесенное, за словом письменным здесь, в отличие от ученой среды, уследить было много трудней. Слово письменное низших слоев тогдашней общественной лестницы и поныне остается вопросом. Не только потому, что из книги прошлого (даже более, чем из других предметов материальной культуры) собираются и привлекают изучение памятники искусства, т. е. предметы обихода высших классов, памятники рядовые если не исчезают бесследно как малоценные, то веками остаются без внимания. Важнее, что проблемы такой в зарубежной истории книги, как правило, не ставится. Буржуазная наука и здесь грешит буржуазным апологетизмом: с высокого Средневековья граница чтения проводится на уровне среднезажиточного горожанина, ниже этой черты, кроме, опустившихся клириков, всё — даже для XV в. — представляется если не безграмотным, то бескнижным. В первую очередь, конечно, крестьянство. Вопрос, шла ли народная традиция снизу или подражала верхам, для Средних веков праздный: кроме сословных обрядностей, разрыва в песнях, плясках, играх и пр. между знатью и крестьянством не было, обе стороны приспосабливали к себе искони общее, а вместе с ним и заимствованное достояние, это был равноценный обмен. Народная культура той эпохи определялась не фольклором, а теми источниками — своими, иноязычными, которые, так или иначе претворив, народ брал на свое идейное вооружение. «Забитость» средневекового крестьянина вряд ли не миф. Не потому, что его не били, били тогда всех. Но класс, сос-

тавлявший основу феодального строя, был в целом полон сознания своего права и силы поправить его по-своему, это слышится даже в ответах Жанны д'Арк на ее процессе. Постоянный приток из крестьянства в духовный чин предполагает элементы книжности в крестьянской среде. И особенно — распространение народного еретизма, подспудное, как наземный лесной пожар: затоптанный в одном месте, он вспыхивал в другом, а порой через столетия — снова в том же, что могло быть лишь при условии, если жил он не только из уст в уста, но в письменной, книжной традиции, которая от инквизиторов ускользала.

В силу всеевропейской однотипности социальных противоречий еретизм обретал столь же межнациональный размах, как официальная вера. Это не значит, что он был единым: разные направления и секты не менее страстно отрицали друг друга, чем церковь. Но все «христианское человечество» мыслило себя перед лицом «незримой церкви», «небесного Иерусалима» — бога (троичность его не все ереси признавали), чинов ангельских, апостолов, мучеников и пр., смысл земного пути был в том, чтобы в итоге к ней приложиться, надежда молитв, бдений, всей школы самоэкзальтации — в том, чтобы вступить с нею в общение, ключ — в страданиях Христовых (каждое богослужение по идее — приобщение к ним). И источник был один — Новый завет с апокрифами (Ветхий завет толковался как его «префигурация» — символические прообразы; сопоставительные толкования — экзегезы — были и ортодоксальные и еретические; некоторые ереси принимали не все ветхозаветные книги). Поэтому и в ересях спор шел об основах церкви всеобщей, единственно «истинной», т. е. либо о более или менее радикальной «реформации» Римской церкви, либо ей противополагалась церковь другая (а ее — за искажение учения и гонения «истинных» христиан обзывали «сатанинской синагогой»). И то и другое обязывало про-

поведовать всем народам. Посему почти все направления еретизма латиноязычие в той или иной мере сохраняли. Но «народ божий» — «бедные мира» — говорил на разных языках, которые этим освящались (и тому был символ: апостолы по сошествии на них «святого духа» заговорили «всеми языками»). Уже поэтому «Священное писание» должно было быть на каждом языке (и был пример: Иероним перевел Библию на язык народный). Большинство переводов Библии с этого периода своим происхождением обязаны явному или скрытому еретизму. Библия же — в обход собственно церковной традиции — провозглашалась единственно истинным источником «пути к спасению» (чем учительность тех или иных христианских сочинений не исключалась). Поэтому почти каждое из направлений еретизма своих последователей грамоте — хотя бы чтению — обучало. С высокого Средневековья и начинается борьба церкви с чтением Библии мирянами: запрещение переводов декретировано в 1229 г. В реалии христианского предания и в популярные его образы облекались философские идеи. Споры вокруг Христа и богоматери по сути шли о мере единения божеского начала с человеческим: для дуализма Христос был богом, воплощение и страдания его — мнимы (чисто дуалистическая струя, признававшая вообще материальный мир творением дьявола, в христианстве вилась лишь побочно; ее отрицательная реплика — черномагические культы с мессами Сатане и пр. — в массовую «ересь ведовства» вылилась в XV в.); мистицизм исходил из их реальности, т. е. из двойной — божеской и человеческой — природы Иисуса; были течения, признававшие в нем лишь человека — сына плотника Иосифа, но как бы усыновленца божьего. Тем самым менялось и значение Марии — от просто страждущей за сына женщины до вечной девы, избранной быть орудием божественного воплощения, а посмертно — «царицей небесной» (последнее связано с гностиче-

ским культом «премудрости божьей Софии»; заземление того же культа — в рыцарском служении даме). Спорили о том, таинства ли причастие, рукоположение в священство, крещение и пр. или символические действа. И т. д. А по сути борьба шла за то, чтобы снять рубеж между церковью и остальными верующими, с чем связывалась и идея общественного переустройства. В ересях была своя иерархия — духовной призванности, первым шагом к ней обычно были аскеза и раздача имущества. В ересях были приняты «добрые дела», от милосердных — ухаживать за немощными, поддерживать дух умирающих, погребать мертвых, накормить голодного и п р . — до учительствовать и мученической смертью «прославить господа» (мученики — «капли крови» Христовой). Спасение «добрыми делами» проповедовала и церковь, но чересчур своекорыстно.

Основные направления ересей сложились в XII в., каждое, как правило, объединяло социально разнородные течения. Какое социальное строительство создало популярность альбигойской — катарской — церкви, из-за разгрома, учиненного в 1209—29 гг. в Лангедоке французским крестоносным воинством (здесь своя церковь была еще формой патриотического противостояния Галлии заложенному в темные века франкскому господству), и по усердию инквизиции остается скрытым, хотя катарская ересь широко разошлась по Европе. Но философский вопрос о природе Христа на принципах церкви «бедных мира» не отражался, в народном еретизме мистические основы легко замещали дуализм. Христианство в целом мистично, собственно мистическая линия в нем выделяется скорее формально, ее сила была в том, что реальное воплощение и страдание Христа теснее связывало человека с богом, чем мнимое. Такова была и церковная позиция. Уже поэтому не всякий мистицизм был антицерковным, но по сути — безусловно. И духовно, ибо, исходя из познания бога через самоот-

решенную любовь к нему, допускал, что «по благодати» призвание на подвиг веры может снизойти на любого человека, с основами ее знакомого (по образу ап. Павла). И житийно, ибо ставил условием «вечного спасения» постоянную обращенность к богу, и добрые (божьи) дела для каждого. И познавательно, так как мыслил, что высшее знание путем озарения может быть дано и неученым людям. В логическом своем завершении он был отрицанием всей средневековой функционально-иерархической системы — церковной, феодальной, научной. В религиозных структурах — христианстве, исламе и иных, мистико-познавательная — интуитивная — струя (по выражению ак. Н. И. Конрада — сокращенный путь познания) порой на века опережает рациональную. Можно вспомнить предварение в XIV в. идеи машинного мышления Раймундом Люллем (ради проповеди христианства в Марокко, где он заработал «мученический венец»), идеи опытного познания — Роджером Бэконом. И гелиоцентризм: Коперник доказывал издавнюю для высших мистиков истину, известную ему из трудов мистика XV в., математика — и кардинала — Николая Кузанского. Но ранее солнце было на знамени чешского народного вождя Яна Жижки. Не из-за того ли (а не только потому, что в религиозных структурах по мере сращения священства с властью оно претендует владеть «окончательной» истиной и всякое новое знание принимает как посягательство на божеские свои полномочия) гелиоцентризм так долго оставался жупелом? Подвиг Жанны д'Арк нес отрицание феодальных функций. Основой ересей был мистицизм житийный, социально-этический: ожидание второго пришествия Христа обязывало его к действенности. На одной из громких инициатив виден принцип — обнищание «Христа ради» в миру и проповедничество без духовного звания: в. 1179 г. лионский купец Пьер Вальд, бросив состояние и семью, обратился к апостоль-

ству — к евангельской проповеди. Призыв к обнищанию и к служению бедным обычно исходил от имущих и привилегированных и к ним обращался: это было актом перехода на позиции «бедных мира» (и потому отказы от ранга, состояния, брака, если не келейные, без вступления в монастырь, были подозрительны на ересь). Новой в данном случае была попытка помочь церкви снизу: вальденсы пришли за разрешением проповедовать к папе, когда право проповеди еще было монополией духовенства (монашество, кроме особых поручений, его не имело). Им как неучам проповедь запретили, породив этим упорную евангельскую ересь, точнее — потайную церковь, народную (и международную), со своими школами, с церковными соборами. Рядовые ее члены могли быть оседлы, владеть имуществом, поддерживая им неимущих, выполнять свои обязанности прихожан; возбранялись им большие должности, кровопролитие (Жанну д'Арк обвиняли в вальденстве, так как она сражалась, держа знамя: ей было воспрещено проливать кровь); условием апостольства были нищета, бессемейность, странственность. Ходили они под видом разносчиков, певцов, скоморохов (отсюда церковные постановления об этих профессиях). И известно, что распространяли «книжонки» (libelli). Но и переводы Библии — первый французский и, видимо, тот немецкий, который печатался в XV в., восходят к вальденсам. И еще черта: вальденсы строили не просто церковь «бедных мира» («бедными мира» было и монашество), а в основном «труждающихся и обремененных»; их последователи были в среде мелкого мещанства, мелких рыцарей, но более всего — в крестьянстве.

Особая роль в этом строительстве принадлежала современной Вальду другой фигуре — аббату калабрийского монастыря дель Фьоре Йоахиму (ум. в 1202 г.). Он дал теорию построения «царства мира», которая и была скрытой революционной программой следующих столетий, вклю-

чая XVI в. Сам Иоахим исходил из краткости этого «царства» (начало его вычислив на 1260 г.) и из близкого затем конца света, но с традиционным хилиазмом его идея срослась почти сразу. Используя метод экзегезы, он разделил историю человечества по догмату о троице на три эпохи: ветхозаветную — бога-отца, выражавшего свою волю в материальной форме, эпоху женатых и рабского служения; новозаветную — бога-сына, когда истина открывалась в слове, знаке, символах, таинствах, которая была эпохой священства, церкви воплощенной (ecclesia carnalis) и послушания сыновнего; и на грядущую эпоху «духа святого» — церкви духовной (скрытой в Новом завете, а тем и в Ветхом, откуда название схемы — «Вечное Евангелие»), когда истина и воля божья откроются людям непосредственно, даже через ощущение. Последняя и будет «царством мира», эпохой монашества и свободы («дух святой» и есть «вольный дух», который «веет, где хочет»). Для третьей эпохи Иоахим выстроил социальную утопию — общества-церкви. Низшей ступенью в нем были женатые, трудящиеся на насущные общие нужды, живущие семьями, с некоторым имуществом, распределяемым общиной. Для прочих ступеней мистической иерархии, начиная с учителей, обучающих детей латинской грамоте и «Священному писанию», полагалось безбрачие, безымущественность, общежительство. На высших ступенях, включая наивысшего «отца духовного», были бездомные отшельники, пустынники. Власти вообще не мыслилось, науки тоже, таинства, обеты и пр., а значит церковь как институт отпадали (песнопения — для настроя к мистическому созерцанию — оставались). И надобности во всем этом не было, ибо управлял «дух святой», жизнь всего общества была подчинена познанию бога, восприятию его воли для сообщения ее — пророчествами, чудотворением и пр. — остальным из любви к людям. Преимущество в восприятии «божьей воли» Иоахим отда-

вал свободной от «буквы» душе (idiota dei, принятое Франциском Ассизским, который, конечно, грамотен был, даже на простенькой латыни писал). Отсюда пошла та бесписьменная (но по источникам отнюдь не бескнижная) культура, образцом которой была Жанна д'Арк, а также — множество визионеров, которых как возбудителей крестьянского движения тоже сжигали и ранее и после нее. Иоахим, сам крестьянский сын, и утопию создал по существу крестьянскую. Но в ту эпоху идея праведного строя определялась крестьянским идеалом. Не оспаривая предыдущего церковного развития (в том числе «Константинова дара»), Иоахим современный его этап признавал антихристовым и в ожидаемых гонениях на церковь последнего императора (тоже силы антихристовой) видел очистительную необходимость, но в конце второй эпохи ждал еще пресветлого главу церкви — с освобождением Иерусалима, обращением ко Христу большинства иноверных — иудеев, татар, сарацин. В догматические споры он не вдавался, еретиками для него были дуалисты. Действенность утопии Иоахима была в том, что пришествие третьей эпохи он не отлагал на одноактное свершение, считая, что она как бы прорастет и уже прорастает сквозь эпоху церкви воплощенной, знаменуя ее конец, по идее добровольный (в случае упорства Иоахим допускал насильственный). Теория его была известна прижизненно, осуждена как ересь посмертно. Сочинения его — среди них изобразительное «Древо жизни» — были как бы негласным фоном той мистически-просветительной письменности, которая бурно развивается с XIII в. Под его именем ходили пророчества, новые библейские толкования. Ибо воздействие иоахизма было огромным: дав систему, он вызвал нарастающую волну строительства «церкви духовной», различных ее звеньев, в разных направлениях, в сочетании с иными традициями. Сетка иоахимовой утопии могла бы дать ориентир в том несметном количестве ере-

тических, околоеретических, полу- или почти ортодоксальных общин, братств, движений, коими пронизаны следующие столетия: амальрикане, францисканское, бегино-бегхардовское движение, Братство вольного духа, Братство общей жизни, Друзья божьи, лолларды, гуситы — самые известные примеры. Связь между ними мало прослежена, ибо и тогда была скрытой, смысл был в том, чтобы снизу «реформировать» — смыть или разом разрушить неправедную церковь, которая — с позиций общества-церкви — и была несправедливым социальным строем. Поэтому и революция имела (по определению Ф. Энгельса в работе «Крестьянская война в Германии») «характер реформации как единственно возможного популярного выражения общих стремлений», выход из этой схемы знаменовал конец Средних веков.

В высоком Средневековье до того обнаженного противостояния далеко. Римская церковь еще сохраняла способность разделять (и тем отчасти нейтрализовать) массовое мистическое напряжение. Не всякое религиозное строительство снизу принималось как ересь. Так в основе захвативших XII—XIII вв. внутригородских (коммунальных) революций была более или менее выраженная эгалитарная идея: добиваясь самоуправления, городская община мыслила себя как «справедливую» — христианскую — коммуну. Цеховая организация ремесла и купеческие гильдии, регламентация продукции, иерархия умения (ученик, подмастерье, после испытания мастер), регламентация цен, запрет рекламы, регламентация образа жизни, вплоть до одежд и пр. долженствовали обеспечить равные возможности заработка, взаимопомощь, стимулировать употребление средств на общественные нужды и строились на принципе религиозных братств — со святым патроном, своими статутами, общинными кассами и соответственно — школой: в Германии, например, с XIII в. наряду с приходскими и монас-

тырскими появляются школы городские — с той же программой, но в ведении городского совета. Эти перевороты нередко низвергали власть церковных феодалов, но в ереси они, как правило, не обвинялись. Мутации «справедливых» коммун для больших городов известны. Функцию управления получал патрициат, т. е. в основном родовое местное купечество, державшее в руках внешнюю торговлю и быстро ставшее привилегированной кастой. Правление корпораций — цехов, гильдий — закрепляется за богатейшими семьями. Весь XIV и XV в. с переменными результатами идет борьба за власть между патрициатом и цехами (и их соревнование — облаготворить «коммуну» вкладами в строительство и украшение храмов, ратуш, укреплений, в школы и пр.), восстания городского плебейства — мелких ремесленников, мелких торговцев, подмастерьев, разного наемного люда против засилия тех и других, против налогов, за собственную цеховую организацию и т. д. Но это. задевает лишь местную власть. Возникшую «снизу» погоню за «освобождением гроба господня» церковь разделяет, покрывая всеобщими отпущениями грехов движущие силы крестовопоходной эпопеи, чем немало объясняется множество примкнувших к ней подонков. Но то же давало выход народным поискам «земли обетованной»: почти до самого падения Латинской империи крупных народных восстаний на Западе не было. И строительству если не всеобщего «царства бедных», то островков его. Появившиеся к XII в. в этой связи монашески-рыцарские ордена в Иерусалиме римский престол берет в свое подчинение. Начинались они с нескольких человек, сперва для защиты паломников и ухода за больными, чтобы разрастись в международное движение смертников (смерть в бою за христианское «доброе дело», уже в «Песни о Роланде» открывает рыцарю врата рая). Тяга к такому смертничеству видна по тому, что в XIII в. — уже вне Палестины — для незнатных был

создан особый орден «гладиаторов» — Меченосцев (по «Хронике саксов» 1495 г. купеческий). Социальный смысл у разных орденов был разный (и менялся по ходу времени). Но рыцарская идея древнее, чем рыцарское сословие. Как всякую большую идею, превратить ее в чисто классовую не вышло: рыцари подавляли крестьянские восстания — и ни одно крупное восстание крестьян без участия рыцарей не проходило. В орденских владениях находили прибежище строители «царства божьего» из людей простого звания (у Тамплиеров с житийным уставом). В данном контексте существенно библейское — книжное — самоосмысление этих орденов, у Немецкого простейшее — Маккавеи. Наиболее сложно оно у Тамплиеров — рыцарей храма Соломонова, который обозначал путь на небо. А этим связано с одной стороны со сказанием о св. Граале — особым сюжетом рыцарской поэзии, с другой — с апокрифом об отростке райского «древа познания добра и зла», посаженном в землю при смерти Адама: срубленный для строительства храма, но в него не вместившийся, он послужил для креста Христова и в начале «царства мира» зазеленеет (что смыкается с народным хилиазмом).

Утопия Йоахима была создана, чтобы поднять на ее строительство народные массы. Эту опасность и церковная и светская иерархии, которых она аннулировала, сознавали вполне. И все же Иннокентий III утвердил (тоже как инициативу снизу) 2 небывалых по уставу — нищенствующих и проповеднических — монашеских ордена, францисканский и доминиканский, оба с идеей «церкви духовной» прямо связанные, т. е. ввел в церковную систему звенья, ее отрицающие. Недаром парижское духовенство в 1250-х и 1270-х гг. оспаривало их право на существование, а особенно — на богослужение и исповедь. Правда, разрешая в 1209 г. проповедь Франциску Ассизскому, обнищавшему «Христа ради» из богатого купечества, Иннокентий взял

клятву подчинения папе, Франциск, мечтавший о бездомном, безобетном, безымущественном братстве, только в 1223 г. пошел на монашеский устав, бросался своими руками разрушать орденские дома, вымолил стигматы распятия, рано умер. Доминик свой орден основал (в 1213 г.) под флагом борьбы с еретичеством, тогда — с катарами. Утверждение этих орденов (и их женских параллелей), с одной стороны, давало законный выход массовому рвению к нищете, аскезе, проповедничеству, к милосердным делам, с другой — ставило его под контроль. Обоим орденам местожительство было предписано в городах, где надзор за ними был проще. Сохранялась и подстановка монашества как «избранного народа» вместо «бедных в миру», которая была основной причиной дискредитации монашеского чина (монашеское состояние почиталось): случаи несоответствия поведения обетам давали лишь повод, по существу у монашества оспаривалась его избранность в пользу несущих трудовое тягло «бедных мира». Приток в оба ордена был огромный. Доминиканцы сразу взяли в свои руки учительство в науке (из них были Альберт Великий, Фома Аквинский, Люлль), францисканцы вопреки замыслу основателя тоже в нее включились (оставив имена Оккама, Роджера Бэкона и др). Из этих орденов вербовались миссионеры, из них же обычно назначались инквизиторы. И в каждом из них оставалась йоахистская, полу- или вполне еретическая струя. Оба они к белому — имущему — духовенству были враждебны, считая свой орден призванным заменить его. В XIII в. доминиканец Арнольд, объявив папу Иннокентия IV Антихристом, предлагал Фридриху II союз для уничтожения клира, который обвинял в «ересях» — грабеже бедных, налогах, пошлинах и т. п. (что могло быть перекинуто и на светскую иерархию). Среди францисканцев йоахистскую линию продолжали разных оттенков спиритуалы, из них был Дольчино — главарь крестьянского восста-

ния 1304—07 гг. в Италии. Но спиритуалы часто сужали йоахистскую идею до собственно антицерковной, отождествляя наступление третьей эпохи с покорением церкви тем или иным властителем. Пророчество Дольчино связывало истребление духовенства, начало «царства мира» и пр. со штауфенской — для Италии гиббелинской — ориентацией на разных Фридрихов III из этого дома. Оккам свою антипапскую позицию в 1314—47 гг. опирал на императора Людвига Баварского (тему ангельского папы развивал Роджер Бэкон). Из осужденной в 1210 г. в Париже секты амальрикан, вскорости ожидавших эпохи, когда все станут «духовными», вышло пророчество, приписывавшее ту же миссию — расправу со священством, завоевание Иерусалима и т. д. — французским королям. На такой редакции йоахизма могли играть короли в интересах своего самовластья, но для них она была столь же опасна, как для церкви. Ибо был еще йоахизм народный. Не исключено, что в истоке части «справедливых» городских коммун была идея общества-церкви, для начала воплощенной, и на этом замершая. Чтобы увидеть ее в крестьянском движении, необходимо уточнить некоторые общие места.

Понятие нации у новых народов, частью — пришельцев в местах своего расселения, преимущественно связывалось с языком (отсюда долгая его нечеткость, например, в Англии, где с норманнского завоевания господствующий класс говорил по-французски, народный язык в парламенте был узаконен лишь в 1363 г.). Становление национального патриотизма обычно приписывается большим городам, их торговым связям, коим мешала феодальная раздробленность, феодализм считается силой антипатриотической. Но феодализм — не только феодалы, это и классовый их антагонист — крестьянство. Поэтому схема эта для Средних веков неточна. Городской патриотизм, порой героический, как правило, ограничивался «своей колокольней». В Ита-

лии, где развитие городов достигло наивысшего расцвета, национальный патриотизм (после вспышки его в Ломбардской лиге XII и XIII вв. против обоих штауфенских Фридрихов) в XIV—XV вв. был верхушечным. Попытки антифеодальных лиг между городами (Этьена Марселя во Франции в 1356—58 гг. или Городская война в Германии 1370—80-х гг., в 1381 г. объединившая города всего немецкого Юго-Запада) обычно кончались победой феодальных сил. Не просто потому, что каждый город блюл свои интересы в ущерб общим: город сам был феодалом по отношению к своей сельской округе. И это объединяло большие города с феодалами общим страхом — крестьянского восстания (традиция сказалась даже в плебейском парижском восстании Молотов 1382 г.: опоры в крестьянстве оно не искало). Участие крупных городов в строительстве абсолютной монархии (Франция, Англия) в той же мере диктовалось этим страхом, как и взрывами феодальной анархии (за которыми тоже стояла угроза крестьянского движения). В Германии союз городов с фюрстами в итоге Городской войны был вызван не столько военной победой князей (1388 г.), сколько тем, что в ходе войны выступили общие их враги — союзы крестьянско-рыцарские (пример: Дубинщики). Ибо большие города были богаты, а для крестьян как «бедных мира» богатство и было главной ересью (поэтому выстоял только Швейцарский союз, возглавляемый кантонами крестьянскими, в котором такого разрыва между городами и крестьянством не было: его в борьбе за независимость от Империи объединял не национальный стимул, а антифеодальный). Борясь в XIII—XV вв. со вспышками рыцарского разбоя, ни города, ни князья в различия между любителями легкой наживы и «справедливыми» лесными братьями, грабившими богатых для распределения между бедными, не вдавались. Страшнее было массовое крестьянское движение, почти

неизменно принимавшее форму крестового похода бедных против богатства. Элементы этого видны уже в крестьянском первом крестовом походе 1095 г., на пути своем — в Трире, Кёльне — погромившем отнюдь не только еврейских богачей. Поэтому и альбигойские войны были так истребительны. В становлении национального патриотизма грань проложила середина XIII в.: по мере крушения Латинской империи Западная Европа оказывалась запертой в своих пределах, а вместе с тем — народное рвение к «земле обетованной». Судя по траекториям народных движений, с этого времени для крестьянства «землей обетованной», которую бог обещал ему в наследие как «бедным мира», становится своя страна, его крестовые походы против ереси богатства за свое «царство мира» теперь направлены на ее завоевание. Первый такой крестовый поход — восстание Пастушков в 1256 г. во Франции (прозвание, видимо, имело в виду бой отрока-пастуха Давида с великаном Голиафом, которого равняли дьяволу) — к йоахимову сроку наступления эпохи «духа святого» близок. Разделившийся в разных направлениях поход, видимо, должен был поднять на своем пути общую войну бедных на истребление «антихристовой церкви» — богатых, знати, духовенства. Знак, что он основывался на послании ап. Иакова (коему принадлежат слова о «бедных мира»), дает имя его вождя — монаха Иакова, пришедшего из Венгрии. Второе восстание под тем же названием вспыхнуло в 1320 г. Что французское крестьянское восстание 1358 г. Жакерия тоже было крестовопоходной ересью, основанной на том же послании, можно видеть по взятому восставшими прозвищу — жаки и определению их вождя — bonhomme — добрый человек, обычному для избранных в еретических сектах; королевские лилии на знамени жаков понятны, если вспомнить пророчество, прикреплявшее начало хилиастического царства к французским королям (мыслился ли при этом

реальный король или — как призванный на эту миссию «духом святым» — вождь жаков Гильом Каль, неясно). Конечно, не все участники этих восстаний читали апостольские послания или это пророчество, но должны были быть среди них начетчики, и немало. С перенесением «земли обетованной» на свою страну связаны, видимо, и возвращение во Францию и гибель ордена Тамплиеров: в том, как они были разом схвачены в одну ночь 1307 г. по всей стране, по грубо сшитому обвинению, по поспешности расправ виден страх — Филиппа IV, знати, городских богачей. А чего они боялись, видно по тому, что народ собирал прах на месте казни Тамплиеров: этот союз был им страшнее всякого другого. Связь массового движения флагеллянтов 1260 г. в Италии с йоахимовым сроком «царства мира» отмечается, по сути оно тоже было крестовым походом за свою «землю обетованную», ибо смывало феодальный хаос, но здесь поход по истечении критического года заглох, далее давая вспышки в разных местах Европы. Та же идея в немецком крестьянском движении проявляется в 1283—85 гг. в возникновении самозванных Фридрихов II. Своей посмертной популярностью этот император был обязан не каким-либо своим достоинствам. Для нее нужно было, чтобы он умер. К тому же он оставил по себе шумную хилиастическую самопропаганду, которая после гибели династии (1254 г.) — ожиданиями его «второго пришествия» или воплощения в некоем Фридрихе III — муссировалась штауфенской (антипапской) партией, немецкой и итальянской. Вопрос, были ли эти народные Фридрихи самозванцами в точном смысле, не так прост: императоры были выборными, идея права народа низвергнуть не выполняющего своих обязанностей короля и выбрать любого «доброго христианина» в Германии жила с инвеститурного спора, Фридрихи эти вряд ли не были призваны «духом святым», право взять имя

любого своего предместника было у папы, а крестьянский император мыслился как глава церкви «бедных мира». Главное же было имя: Фридрих и значит «царство мира». Судя по тому, что, наряду с тем Фридрихом, который в 1283—85 гг. выступал как император (и был принят рядом городов, даже во Франкфурте-на-Майне, куда в 1285 г. вызывал на суд императора Рудольфа Хабсбурга), в 1284 г. в Любеке, тогда же в Кольмаре появились другие Фридрихи, это имя служило призывом к завоеванию хилиастического царства. Поэтому с ними расправлялись не как с самозванцами, а сжигали как еретиков (так же было в 1295 г. в Эсслингене, в 1361 г. в Тюрингии). Прозвание первого из них — «деревянный башмак» — не личное, а крестьянский крестовопоходный сигнал, далее — просто башмак; возникновение его, вероятно, связано с первым крестовым походом (как символ пешего «войска Христова», в отличие от конного, рыцарского), снова он всплыл в крестьянских движениях XV в. и в заговоре Башмака. Башмак — знакопись, доступная неграмотным, идея «царства мира» как царства бедных предполагает чтение (и вряд ли этимология немецкого Bauer — крестьянин от латинского pauper — бедный, отмеченная во время крестьянской войны 1525 г., не родилась веками ранее). Роль городов в становлении национального патриотизма была более пассивной. Прежде всего: это были города своей «земли обетованной» (четко у таборитов: Иерусалимом была Прага), их древность, красота, слава становились элементами национальной гордости. И по объективным причинам: города теперь стали главным убежищем от крепостной зависимости, чем отчасти объясняется бурное их развитие с этого периода и скопление в них того внецехового слоя, дешевый труд которого был основой первичной рационализации ремесла и попыток организовать его по мануфактурному типу в отдельных центрах в XIV в., а

также того обострения внутригородской борьбы, каким характерен этот век. И города становились центрами межсоциального осмоса, продолжавшего единство средневековой культуры: при всех различиях сословных прав, одежд, церемоний, при всех социальных противостояниях, проводить в ней социальные разграничения приходится с осторожностью, одни и те же тексты, идеи, образы могли быть достоянием всех сословий, мироощущение в целом диктовалось народной волной, по-разному социально преломляемой, определяющим его фоном становится мистицизм (это в межнациональном плане, свидетельство — готика, с XIII в. ставшая всеевропейским стилем). Положение меняется лишь с распространением Ренессанса в узком смысле — как культа античного знания, классической латыни, подражания античности, по существу урбанистической, который народным стать не мог (а была в нем струя антинародная: неозакрепостительские поползновения с XIV в. обосновывались римским — рабовладельческим — правом).

Смертельный удар ореолу папства и Рима нанесло то же XIV столетие: похищением из Рима папы Бонифация VIII посланными французского короля Филиппа IV в 1307 г. началось так называемое «Авиньонское пленение» пап — французская попытка «третьего Рима». Папы из римского института стали орудием французских королей. Нарушилось равновесие феодальной Европы, Филипп метил на императорскую корону, но ни он, ни его преемники избрания в немецкие короли не добились. Было обратное: когда папа Иоанн XXII отказался утвердить избранного в 1314 г. немецкими князьями Людвига Баварского, рейхстаг заявил, что по своем избрании немецкий король императором становится и без папской санкции, немецкое духовенство «низложило» Иоанна XXII как еретика (это обосновывал крупнейший философ из спиритуалов англичанин Оккам); поход Людвига в Рим и избрание «под-

линного» папы для его коронования сперва имели в Италии успех, сорванный попыткой Баварца обложить налогом римлян. За 23 года его императорства, папского интердикта и пр. в немецком духовенстве укоренилась отграничительная от папства струя. Преемник Людвига с 1447 г. — Карл IV, чешский король, конфликт с папой снял, закрепил «Золотой буллой» статус Германии как федерации равноправных княжеств и имперских городов и порядок императорских выборов назначением семи курфюрстов (с решающей ролью архиепископа Майнцского и чешского короля) и более занимался устроением своего королевства: основал Пражский — первый в Империи — университет, начал создавать свод чешского права и т. д., т. е. выводил Чехию на первое место среди имперских земель, под конец купил императорство для сына своего Вацлава, при котором и началось учительство Яна Гуса, им — как основа собственной церкви — поддержанное. Развивалось оно на фоне сгущавшейся феодальной реакции — похищения Вацлава магнатами, избрания в императоры брата его Сигизмунда в 1410 г. (с временным трехкоролевьем в Империи), папского интердикта и пр. с одной стороны, национального подъема в Чехии — против немецкого засилья — с другой. Преемственность Гуса от поколения, ранее проповедовавшего в Англии народную церковь, подчиненную светской власти, Виклифа (на том этапе тоже поддержанного английским парламентом и королем) известна. Учительство — в обоих случаях требовавшее перевода Библии на народный язык, поначалу социально умеренное. Но социальная ситуация в Англии была раскалена. «Авиньонское пленение» дало новый стимул к возобновлению вековой династической борьбы за соединение Франции и Англии под одной короной, английские короли не менее французских хотели взять папство в свою власть: в 1337 г. началась Столетняя война. Если была при этом цель — отвлечь народное бро-

жение в другое русло, достичь ее не удалось, последовали «рабочие законы» 1349—61 гг. (они воспрещали неимущим покидать работу и приход, запрещали бродяжничество и нищенство, являвшиеся также видом социального протеста и формой бытия народных проповедников: под «дерзкими нищими», видимо, подразумевались бегхарды). А Виклиф проповедовал по сути йоахимову «церковь духовную», был вдохновителем лоллардов — проповедников того же в народном варианте, которые стали организующими звеньями вспыхнувшего в 1381 г. крестьянского крестового похода на Лондон — восстания Уота Тайлера; идеолог восстания — Джон Болл проповедовал царство «труждающихся и обремененных» на мотив «когда Адам пахал, а Ева пряла, где был господин?». В Италии с «Авиньонского пленения» пап национально-патриотическое самоутверждение по отношению к «варварам» приняло форму той тоски по древнеримскому могуществу, которая и была толчком к Ренессансу в узком смысле. Но попытка Риенци объединить города Италии вокруг возрожденной им в 1347—54 гг. на античный лад Римской республики была столь же беспочвенной, как и надежды части гуманистов обрести «собственного» «римского» императора в лице кого-либо из местных тиранов, кондотьеров, иноземных князей и королей, наводнявших Италию, усугубляя здесь рядившийся отныне в античность, но вполне феодальный хаос. Возвращение папы в Рим в 1377 г. не могло восстановить даже видимости равновесия в католическом мире: после его смерти были избраны два папы — в Авиньоне и в Риме, и это продержалось почти 40 лет. Римские папы поневоле ориентировались на Германию. На этом она отчасти выиграла: в 1378 г. был утвержден Кёльнский, а за ним и другие немецкие университеты. Но теперь римские папы в большинстве мыслили себя итальянцами, возродителями римского могущества, видели в Германии римскую провинцию,

источник средств на свою итальянскую и международную политику, на украшение Рима и пр. Церковь Германии как «Римской империи» была прямо подчинена папской Курии, без права собственных синодов, страна принимала на себя произвольную тяжесть ее поборов. И Германия кишела строительством «церкви духовной». То тут, то там горели на кострах его участники и проповедники — из низшего священства, монашества, мирян всех сословий. В Богемии после папских интердиктов гуситство становится открытым общенародным движением. Когда на этом фоне переизбранный за скандальную жизнь римский папа отказался уйти со сцены, и пап в католической церкви стало три, в духовенстве поднялось движение за созыв вселенского церковного собора, чтобы при участии светских властителей противопоставить народной реформации реформацию сверху (в которую разные деятели вкладывали различное содержание). Два огромных международных съезда один за другим состоялись на немецкой земле. Констанцский собор в 1414—17 гг. и Базельский в 1431—49 гг., оба уже при жизни Гутенберга. Первый при участии императора Сигизмунда, кроме того, что низложил всех трех пап и избрал нового, ознаменовался сожжением Яна Гуса — он ехал на Собор в надежде убедить церковь в истинности своего учения — и последовавшего за ним Иеронима Пражского, что подготовило революционный взрыв в Чехии в 1419 г. (тогда чешская корона по смерти Вацлава переходила к Сигизмунду). Перед вторым гуситская проблема стояла иначе: в 1420—31 гг. пять раз феодальные крестоносцы во главе с императором бежали от богемского народного войска, рейды (тоже крестовые походы) таборитов в немецкие земли развязывали крестьянское движение. Это была сила, с которой приходилось считаться: Собор подписал соглашение с правым крылом богемских еретиков — чашниками в расчете углубить наметившийся раскол гу-

ситской революции, противопоставив чашников (в основном зажиточных горожан и чешское дворянство) таборитам (крестьянско-плебейскому крылу движения). Последнее, как известно, удалось: далее война шла между чашниками и таборитами, разгромленными в Чехии в 1437 г. (не в Словакии, тогда венгерской, где восстание разгорелось в 1446—58 гг.). Но Базельский собор заседал 18 лет не по этому поводу: уже в Констанце Собор был объявлен выше папской власти, что должно было ограничить ее произвол, в частности, при поставлении духовных сановников. Базельский собор начался конфликтом с папой Евгением IV, отказавшимся признать верховенство Собора, с мистическим обоснованием коего (и с отрицанием подлинности «Константинова дара») выступал Николай Кузанский, реформационный лагерь поддерживал даже Эней Сильвий Пикколомини (гуманист, будущий папа Пий II), но после разрыва Собора с Евгением IV многие его члены, в том числе Кузанец, в 1438 г. последовали за папой — на Флорентийский собор: теснимый турками византийский император в надежде на помощь Запада искал унии церквей (к 1443 г. она была принята). Базельский собор тем временем левел по составу и реформистским позициям. Главную роль здесь играли доктора канонического права, искавшие в нем оснований для ограничения папской власти, но без единства: споры доходили до драк. Работа Собора была организована по нациям, и немецкое духовенство, вырвавшее у папы значительные для себя уступки, выдвинуло проект, превращавший «Священную Римскую империю» как бы в федерацию «Священных Римских империй» — немецкой нации, французской, английской и др. Для Германии он был патриотическим, так как имел в виду отстроить ее от интересов римской Курии. Для «реформации» Священной Римской империи германской нации был в 1437 г. созван рейхстаг под председательством императора Сигизмунда, на

коем был установлен свой центр в Нюрнберге (ранее им номинально был Рим). Смерть Сигизмунда прервала эту затею. Избранный в императоры в 1440 г. Фридрих III (Хабсбург) в 1446 г. заключил конкордат с папой, сводивший для Германии на нет все достижения Базельского собора, который в 1449 г. завершился избранием нового папы — Николая V, незнатного и небогатого ученого итальянского книжника. На краткий его понтификат пришлось падение Византии. При нем и при Каликсте III немецкие реформаторы еще могли питать базельские иллюзии, с интронизации Пия II (представлявшего римско-державную струю итальянского гуманизма) папство требованием безусловного повиновения переходит в наступление при поддержке императора и согласии феодальных сил, возглавляя их консолидацию против главной угрозы феодальному строю — крестьянской революции. Когда Энгельс в «Крестьянской войне в Германии» говорит о революции буржуазной, он имеет в виду не реформизм городов, основанный на начальном развитии частного предпринимательства, которое и в XVI в. вполне умещалось в рамки феодального уклада и строило на нем свои прибыли. Буржуазной революцией для того периода было освобождение крестьян от господствовавшей формы внеэкономического принуждения — от крепостной зависимости (на Западе она выражалась в прикреплении крестьянина к земле, за которую он нес повинности; личной собственностью феодала, как в России, он не стал, хотя стремление к этому идеалу у части феодального класса в XIV—XVI вв. было), без него не было основной предпосылки буржуазного развития — массового обезземеления, свободной продажи труда. Этого объективного закона в Средние века, когда волны крестьянских восстаний против «антихристовой церкви» — богатых, знати, попов — сотрясали основы феодального строя, никто не чаял. Чаяния принимали форму строительства «церкви ду-

ховной», до поры скрытой, в восстаниях — воинствующей, что наиболее явно у таборитов: каждый «брат» был священником (отсюда взаимное причащение), имущество распределялось общиной. Ян Жижка, видимо, считался «отцом духовным» (поэтому взятое после его смерти прозвание — «сироты»); выдача хилиастов пражскому епископу говорит, что у движения были еще и иные идейные корни (в целом оно одевалось в иудейское восстание против римлян, как в XVII в. английская революция). Чашники строили то же в умеренном варианте: сохраняя священство, требовали уравнения с ним мирян в причастии вином — чашей — и в праве проповеди (а вместе с тем — секуляризации церковных земель). Дело идет об открытой ереси, и видно, что под знаменем гуситства вышли на поверхность не только социально, но и мистически разные течения, многослойная и скрытая традиция. Известно, что в таборитских отрядах сражались венгры, немцы, поляки, даже русские (Иероним Пражский проповедовал в Новгороде, Пскове, Вильне, Могилеве), среди проповедников в Чехии были немецкие (Николай Дрезденский): борьба чешского народа за свою «землю обетованную» была как бы «горящей точкой» межнационального строительства «церкви духовной» (то же в умеренном варианте чашников), что хорошо понимали его противники: «богемская чума» — гуситство в XV в. становится главным их пугалом.

Принцип этого строительства был в том, «чтобы мирской человек стал духовным», основная его форма — мистические братства разных градаций в миру, из коих наиболее скрытой осталась низшая ступень — брачная, т. е. как раз та, которая могла играть организационную роль в народных движениях. Традиция братств как просветительной и житийной организации мирян при монастырях, приходах и т. д. в Западной и Центральной Европе была искони. Новым было их превращение (конечно, не всех) в звенья

антицеркви. Отличительный признак ее — братства (и сестринства) монашествующих и обнищавших в миру, бравшие на себя, кроме мистически-созерцательного самосовершенствования, — условия «церкви духовной», все ту же миссию добрых дел, а значит и проповедничество. Высшие ступени, как правило, держались в тайне, прочие с переменным успехом балансировали на зыбкой границе между ересью и ортодоксией, часто включая священников — законных проповедников, нередко кончавших костром, как и незаконные. Из наиболее известных международных движений этого типа, точнее — разновидностей одного движения (по сути неотличимых от подобных иного названия) — лолларды в конце XIII в., бегинство и Братство общей жизни в XIV в. — возникли в Империи, в Нидерландах. Первое стало вполне еретическим, второе после разгрома (в Голландии вместе с пантеистическим Братством вольного духа, представлявшим, видимо, высшие мистические градации) в последней трети века было узаконено на тех же условиях, как тогда же Братство общей жизни — сохранение имущественных прав, свобода выйти из сообщества, трудовое самообеспечение, запрет нищенства и изустной проповеди. Всякое учительное братство предполагало книгописную деятельность. Бегинство более известно делами милосердия — уходом за больными, обучением грамоте и др. У братьев общей жизни положение особое: им по уставу было дано право проповедовать — «не словом, но пером», т. е. переписывать и распространять книги — душеспасительные, библейские. Это и было видом заработка братских и сестринских общин, наиболее отвечавшего их отрешенности от «мира». Свою книгописную деятельность они расценивали как предпочтение «спасения ближнего своему спасению» (с позиций мистического созерцания бога жизнь деятельная была жертвенной), дабы через просвещение приблизить их к тому добру (оно же бог), к коему стре-

мились для себя. Вряд ли она была единственной: в Братство шли горожане разных слоев, общинный труд которых приходилось приспосабливать к их ремеслу. Можно ли видеть в обозначавшей Братство гравюре (известна с 1460-х гг.) с изображением жатвы и молотьбы — признак, что были общины крестьянские, или символ евангельской притчи, остается открытым. Движение братьев общей жизни, начавшееся в Голландии (первая община в Девентере), захватило Бельгию и особенно Германию. Добился его узаконения как вида devotio moderna — новейшего благочестия — под конец своей жизни Геерд Грооте (ум. 1384 г.), сперва выступавший как антиклерикальный проповедник, затем, «своих не познаша», — в качестве «молота еретиков» по отношению к Братству духа. Тем не менее Братство общей жизни оставалось околоеретическим (о нем вставал вопрос на Констанцском соборе, но был отбит) и легко могло быть прикрытием для еретических групп. Тем более, что одной из аскетических крайностей, а скорее — предосторожностей его устава была анонимность, не обязательная, но открывавшая трудноуловимые просторы их книгописной (а затем книгопечатной) деятельности. По месту своему в «церкви духовной» братские общины должны были стремиться к низовой пропаганде, но известны они в более академическом плане: выработкой латинской версии Библии — в Девентере, в Мюнстере, устройством школ, дававших добротную латинскую подготовку (так учился сын рыбака Николай Кузанский, позднее — Эразм Роттердамский), и т. д. Что касается более массовых форм мистического просветительства, сам принцип анонимной проповеди пером делает продукцию этого братства неотличимой от иных направлений и оттенков общей религиозно-просветительной волны, от которой и светские скриптории не отставали (в Германии наиболее известен скрипторий Дибольда Лаубера, работавший в Хагенау в 1415—27 гг.,

как считается, на местную знать, исключительно народноязычный; среди прочего он дал иллюстрированный список немецкой Библии). Связано ли с деятельностью Братства (или сходных объединений мирян) распространение лубочных религиозных картинок и блокбухов, первый и наиболее интенсивный ареал которого — в Нидерландах и по течению Рейна — совпадает с областью наибольшего распространения братских общин, не установлено.

Чтобы провести грань между католическим каноном той эпохи и еретической или околоеретической проповедью, нашему времени, как правило, недостает знания ударных пунктов, которые отличали еретизм (кроме случаев, когда это сделали инквизиторы тех дней), той идейной нагрузки, какую тогда несла символика религиозных изображений и текстов. Задача эта тем трудней, что отрицание церковного института заключалось не столько в разоблачительстве (которое и иерархами часто поощрялось и подхватывалось). Принцип, «чтобы мирской человек стал духовным», должен был «снять» церковный институт, приобщив мирян к духовному знанию, начиная с тех книжных его источников, чтение которых было репертуаром духовенства и монашества. Ересью в это время часто было не что, а кто читал. В 1210 г. Парижский университет запрещает переводить теологические сочинения на народный язык. О переводах Библии речь шла выше. В обход запрещений люди всякого звания рвутся учить латынь. В 1400 г. в Англии для мирян за чтение Библии вводится смертная казнь. Дело идет, конечно, не о чтении светской знати, пока оно не переходило в действие (Генрих V в 1417 г. изжарит лорда Олдкэстля не за Библию, а за покровительство лоллардам). Вопрос о чтении Библии «простыми» мирянами как основе «церкви духовной» во весь рост встает в гуситской революции. Надо оговорить: под Библией в таких случаях не всегда разумеется библейский свод в целом,

хотя народные движения показывают его проникновение в народные толщи. В Средние века, когда первичное обучение начиналось с латыни, пассивное ее знание, если был стимул, могло быть и в крестьянской среде (не зря английские «рабочие законы» XIV в. запрещали обучать в школах крестьянских детей). Религиозная форма крестьянского движения всегда влечет за собою крестьянское книгописание. Но переписывание Библии требовало долгого труда, и скрыть ее, даже в общинном пользовании, было трудно. Были в Библии свои «ударные» пункты: в немецком переводе sancta rusticitas Иеронимова предисловия звучит heilige Bauernschaft — святое крестьянство (а долг защищать церковь мог обернуться против церковного института); Апокалипсис — источник хилиазма; Псалтырь — прямое обращение к богу помимо священства; Бытие и ряд других. Но главное — Евангелия и апостольские послания. Самой распространенной формой их бытования среди мирян были богослужебные чтения (священство пользовалось миссалами). Начало их — «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света» (точнее: «будем делать дела света»; из послания ап. Павла к римлянам) для той эпохи звучало как революционный призыв. Осудившие Христа иудейские священники превращались в епископов, новозаветные события, страдания Иисуса, христианских мучеников становились сегодняшним днем. Символически-сопоставительные толкования Ветхого и Нового завета толкали распространять символику на исторические и современные сюжеты (не был ли, например, излюбленный сюжет лубочной гравюры — св. Христофор, великан, переносящий младенца-Христа через реку, символом народного движения?). Но и кроме Библии: с популярностью «церкви духовной» нарастает слой религиозно-просветительной письменности, частью народноязычной или переводной, от элементарной

до высокомистической, часто без прямой антицерковной окраски. Распространение этой книжности среди мирян говорит о потребности в знании и просвещении, но специфически для Средневековья — познании и просвещении религиозном, в конечном итоге сходившемся на Библии и захватившем (частью как мода) и обеспеченные и привилегированные слои.

Первая половина XV в. была для Запада клубком социальных и идейных потрясений. Гуситство, в Чехии бывшее знаменем народной революции, стало всеевропейской ересью, и задача борьбы с ним ставилась в европейском масштабе. Базельский собор с его попыткой ввести для церкви вместо абсолютного ограниченно монархическое устройство, на 18 лет ставший средоточием реформационных, в частности, немецких чаяний; церковное двоецентрие в результате его разрыва с папой; объявление имперской реформации. Народно-патриотическое (идейно невыясненное) движение во Франции, знаменьем которого была Жанна д'Арк, ее гибель в 1431 г. Народно-освободительная война швейцарских кантонов против хабсбургского владычества; вспышки крестьянских волнений по всей Германии. Нависшая над «вторым Римом» турецкая — мусульманская — угроза; уния с греческой церковью. Клубок событий, прямо сказавшийся на книжном мире. Не в сторону его обновления. Спор шел о церковном устройстве — и поднимались труды «отцов церкви», источники канонического права и, конечно, библейская традиция. Спор шел о социально-правовом строе — и разрабатывались источники права римского. Оба международных съезда, на которых преобладали люди книжной образованности, превратили — Констанцу на время Собора, а Базель напрочно в центр книжной торговли и книгописания. О Констанцском соборе известно, что прибывшие на него в роли папских секретарей итальянские гуманисты разыскивали в окрестных

Распятие. Из «Leiden Christi».
Южная Германия, ок. 1462 г.
Печать с высокой металлической формы.

монастырях, увозили или копировали древнейшие — IX—X вв. — списки античных авторов. Конфронтация с итальянским гуманизмом способствовала обновлению ценности классического наследия, уния церквей — греческих интересов в самой Германии. Школьные учебники, университетские книжные комплексы менялись мало, острота идеологической ситуации лишь усиливала тягу к латинскому знанию, хотя бы пассивному, поскольку оно открывало путь к источникам знания духовного. Так в книжности ученой и общеобразовательной. Потребность утвердить место, миссию своего народа в историческом процессе актуализировала исторические сказания, в том числе троянские, в частности «Троянскую историю» Гвидо де Колонна, служившего при Фридрихе II и потому зачислившего немцев в ахейские союзники (что противопоставляло их римлянам, франкам, чехам и др., возводившим себя к троянцам); проще всего это было для итальянцев, черпавших в римской истории, которая, однако, была и трамплином для самоутверждения прочих «наследников Империи». Жития святых, включавшие местные легенды и чудеса, отчасти служили тому же. Распространение богемской ереси вызвало не только множество противогуситской, но и еретической книжности, в которой новых сочинений тоже было немного, в основном — тексты библейские, апокрифы, частью — поновленная антицерковная письменность разных времен с инвеститурного спора. В 1440 г. Лоренцо Валла пустил в свет свое доказательство поддельности «Константинова дара». В связи с богемской ересью ареной борьбы были богослужебный ритуал и литургические книги. В целом это был массовый взрыв и в книгописании тоже.

Письменность любого развитого общества книгой в собственном смысле не исчерпывается. В нем всегда складывается разнообразный контингент официальной и актуальной информации. Регламентация деятельности уп-

равленческого аппарата и денежного обращения, сообщения политических новостей, происшествий, идеологических установок (пример: папские буллы), воззвания к крестовым походам и пр., если предназначались для общего ведома, не только оглашались (для чего латинские тексты переводились на народный язык), вывешивались — в церквях, при входе в ратуши, но порой и продавались переписчиками в свою пользу (практика продажи индульгенций была официальной). Значение такой информации было именно в единовременности и множественности ее распространения, а в острых социальных и политических условиях она сама становилась орудием борьбы. (Так, среди прочих устрашающих мер — папских отлучений, интердиктов и т. п. было послание от имени Жанны д'Арк, незадолго до ее плена угрожавшее таборитам в связи с их рейдами в немецкие земли.) И тогда эта письменность смыкалась с памфлетами другого рода, коих тогда более всего возникало по ходу гражданской войны в Чехии (воззвания таборитов тоже расклеивались по стенам домов и в людных местах), но также в период Базельского собора в связи с «реформацией» церковной и имперской. Массово и единовременно нужной была также информация календарная — астролого-астрономические прогнозы на грядущий год (расчеты солнечных и лунных затмений, подвижных церковных праздников, предсказания погоды, урожая, медицинские советы в связи с сочетаниями созвездий и пр.). Так средневековый мир, хотя альфой и омегой его книжной культуры была Библия, и изначально и в ходе своего остроконфликтного социального, национального, идеологического развития накапливал в связанных латинским наследием Западной и Центральной Европе различные комплексы более или менее единовременно нужных многим универсально и местно значимых текстов. Каждый социально-идеологический кризис был и ступенью в расширении со-

циального ареала чтения. Ко второй трети XV в. и этап универсального программирования письменности (университеты, цензура, разной принадлежности низшие и средние школы) с одной стороны, с другой — этап книжности отчасти или полностью контрпрограммной (проповеднических орденов, духовно-строительных братств, еретических сект) насчитывал около двух столетий, народные движения с интернациональной национально-патриотической идеей — тоже. Скриптории разного типа, но сходной организации труда, международная книжная торговля тоже сложились много ранее. Но в обозримое единство все это связалось в одном месте благодаря церковным соборам, особенно в Базеле, где были представлены и все идейные направления, и книжный спрос, и памфлетная письменность, как некая шахматная доска, на которую предстояло вступить Гутенбергу.

* *
*

Глава II

Отправная точка изобретения Гутенберга

*Типизация и технизация
в дотипографском книжном деле*

Идея тиража не могла возникнуть без некоторой типизации книжной продукции в допечатный период. В отличие от относительного единства облика раннесредневековой книги — каролингского, романского (с вторжением резко отличных, как, например, ирландского) — с высокого Средневековья он все более разнообразится национальными и местными особенностями, а также назначением, читательским адресом и т. д. Национальные и местные черты, несмотря на международную обращаемость списков (кроме латинской, были еще языковые общности — германских языков, французского — в основном среди господствующих классов Англии, Бургундии, в государствах крестоносцев и др.), с этого периода отчасти культивируются, особенно в письме, что отражало общий процесс (см. гл. I). С распространением с XII в. на Западе готического письма (характеризуется угловатостью, сжатостью, в классической готике — вытянутостью кверху) и в XIV в. полуготического (более скругленного), допускавших вариантность начертаний, в том числе за счет искусства писца, многообразие книжных почерков нарастает, от него и пошло множество колыбельных шрифтов (единообразие письма гуманистического — преемника каролингского, коему предстояло стать образцом для шрифтов типа антиквы, чтобы вместе с изданиями античных текстов занять свое место в печати XV в., в допечатную эпоху было изыском собственно гуманистических кругов, сперва итальянских).

Типизация книжной продукции в этот период — под влиянием специализации скрипториев и переписчиков, фи-

лиации списков, самоутверждения разных сословий (богатое бюргерство, например, старалось не отстать от знати) и п р . — шла в основном за счет функциональных факторов, прежде всего — в выборе письма. Письмо книжное, статичное, могло быть искусством (но и признаком небеглости пера), от умелого писца требовалось владение разными по размеру и рисунку почерками. Так, например, в церковных служебниках было принято письмо крупное, для разных элементов литургии — различных размеров (бедным приходам такие миссалы были недоступны), в том числе особо массивное — с высотой строчной буквы в 14—15 мм и более, которое в других книгах не употреблялось. Крупно писались, как правило, книги для необразованных (или таковыми списанные), начальные учебники и т. п., но также порой — особо парадные списки. В книгах, предназначенных быть портативными, пользовались мелким письмом, для библиофилов иногда мельчайшим. Некрупное письмо господствовало в ученой книжности; если был комментарий, он писался мельче основного текста. Поскольку ученые, в частности, университетские тексты часто переписывали сами профессора и студенты, в отношении к этой, а затем вообще к деловой книжности сложилось обыкновение писать все более беглым (курсивным) письмом, близким к обычным почеркам. Обычное письмо укоренилось в ряде популярных текстов в силу непрофессионального переписывания. Беглым письмом отличались списки канцелярские, в которых начинающие текст заглавные буквы (инициалы) или целые строки выделялись размером и каллиграфическими украшениями — петлями с игрой на нажимах и волосяных линиях пера. Большие тома часто писались в 2 столбца, что при переписывании с них в меньшие сохранялось. Система условных сокращений позволяла экономить место и выравнивать концы строк. Распространение производства бумаги, с XIV в. возобладавшей в ря-

довой книге, привело к стандартизации книжных форматов, сказавшейся и на списках пергаменных.

Средневековая книга разноцветна: цветные инициалы, красные заголовки в начале текста, глав, знаки рубрик (параграфов) — все это применялось в различных сочетаниях и с различным искусством в скрипториях разного уровня и зависело от назначения списка, социального статуса, состоятельности, претензий заказчика или мыслимого покупателя. Обилием киноварных строк отличалась книга богослужебная, списки парадные украшались особо тщательно. Инициалы могли быть просто красными, могли превращаться в многоцветный узор с золотом, с гротескным, линейным, растительно-фигурным орнаментом или рамкой по полю книги, с гербом владельца, изображением автора и т. п. Полихромность ученой книги этим, как правило, ограничивалась. Иллюстрации — темперные миниатюры или упрощенные рисунки пером, подкрашенные акварелью, применялись обычно в книгах для необразованных или в развлекательных, т. е. кроме особых жанров (часовники, басни, иногда комедии Теренция), преобладающе в народноязычных. И изначально и особенно — с развитием множественного книгописания в скрипториях происходило разделение труда между переписчиками, рубрикаторами (из писцов же), миниаторами и пр., а значит — становление как бы макетов для книг разного назначения. Писцы, как правило, оставляли пустые места для всех цветных элементов. Сверх этого — плюс еще условные сокращения и систему пеции (требовавшую умения рассчитать текст) писчий труд рационализации не допускал. Писцы ремесленниками не считались и своих цехов не имели. Вспомогательные книжные ремесла, включая художников, были цеховыми, для них рационализация давалась книгами образцов — инициалов, орнамента, композиции миниатюр, наблюдаемым с XII в. применением трафаретов, прописей, затем деревян-

ных и металлических штампов, упрощавших нанесение контуров (сперва бескрасочных). Штамповка вытесняет резьбу по коже в переплетном деле. Так в книгописной практике возникают определяющие книжный обиход типы книги. Но технической стороны изобретения они подсказать не могли, ее истоки следует искать во внекнижных сферах средневековой культуры.

Ранние прославления книгопечатания, отмечая его отличие от письма, о сути изобретения говорят редко, о технических предпосылках ничего. Для современников главное было в смене одного универсального способа делать книги другим. Техники, т. е. приспособлений труда, позволяющих безвариантно повторять один и тот же объект, в Европе предпечатной поры известно мало. В основном это ткацкий станок, набойка по ткани, бумажные по образцу мукомольных мельницы с последующей разливкой тряпичной массы по сетчатым формам установленных размеров. Последнее было одним из условий книгопечатания: без производства бумаги — сравнительно с пергаменом дешевого, легко воспринимающего оттиск материала — и без ее стандартных размеров его не могло быть. Описаний ремесла тогда почти не составлялось, обучение происходило практически, наглядно, изустно, от мастера к ученику. Поэтому и технические предпосылки и состав изобретения реконструируются из сопоставления техники типографии с одновременным состоянием смежных ремесел, насколько оно известно науке. До недавнего времени прямой предтечей типографии считалась лубочная печать — первый известный для Европы способ множественной безвариантной повторноста изображений, иногда текстов: в 1440 г., например, в Италии упоминаются печатанные с досок Псалтырь и донат. Это мнение опиралось на один из ранних рассказов об изобретении, в котором говорится о переходе от печати с досок к применению литер. Оно и породило вековые недоразумения,

в частности долго бытовавшее убеждение, будто первые опыты Гутенберга состояли в распиливании деревянной доски на отдельные буквы (и будто идею ксилографии он вычитал из «Путешествия» Марко Поло). На самом деле лубочная печать могла подсказать разве что принцип безвариантной множественности одного и того же воспроизведения. Технически и производственно между нею и типографским процессом — пропасть. Ксилография была механизацией, и то частичной, лишь для получения оттисков. Вырезывание на доске представляло последовательное начертание буквы за буквой, подобное процессу письма. Способ получения оттисков (увлажненная бумага накладывалась на окрашенную доску и притиралась вручную) из-за глубины полученных контуров и загрязнения оборотной стороны бумаги допускал только одностороннее использование каждого листа (блокбухи сшивались сгибом листов наружу, чтобы оборотная сторона гравюр была скрыта от взгляда). Это удвоение количества бумаги на каждое издание не имело значения, пока дело шло о небольших книжечках; при больших текстах оно было экономически немыслимо. Печать с досок исключала разнообразие репертуара, материал предопределял крупность и неровность шрифта и невозможность корректуры, что ограничивало сферу лубочной книги лоточной, «ярмарочной» продукцией. В применении к донатам, календарям, небольшим душеспасительным сочинениям этот способ благодаря дешевизне производства бытовал наряду с типографским и после конца XV в. Универсальным, т. е. пригодным для книги любого объема, содержания и назначения, он заведомо стать не мог.

Технически суть изобретения типографии заключалась в том, чтобы, разложив письмо на составные элементы — буквы, знаки препинания и т. п., включая пробельный материал, обеспечить наиболее рациональный способ неограниченного производства каждого знака (литеры) и воз-

можность составлять из них в любой последовательности подобие доски (печатную форму), что требует стандартизации и взаимозаменяемости литер по кеглю (высота литеры) и по росту (длина ножки). Другими словами, узловая проблема заключалась в способе производства шрифта. Задача стандартизации и взаимозаменяемости частей вставала впервые, на несколько столетий опережая все другие области производства, и могла быть решена только в металлической технике. Для решения ее нужно было создать постоянный образец каждой литеры — зеркально и выпукло гравированный пунсон, при помощи которого чеканилась форма (матрица) для отливки, и обеспечивающий отливку в одинаковом кегле и росте прибор (словолитный инструмент), который из-за разной высоты и ширины букв алфавита должен был иметь раздвижные стенки. Нужно было найти состав металла — твердый и нехрупкий для пунсона, более мягкий для матрицы; от сплава шрифта требовалась легкоплавкость, чтобы он принимал форму тончайших линий буквы, достаточная твердость, но без хрупкости, чтобы он выдерживал давление, не деформируясь и не ломаясь, но не рвал бумагу. Для печати с металла нужен был иной — жирный — состав краски, чем пригодная для ксилографии краска водяная. Необходима была механизация оттискивания — печатный стан, не считая привходящих решений — способа закреплять бумагу при печатании и др. Кроме всего, в то время перед человеком, задумавшим универсальный способ механизации производства книги, вставал вопрос, принимать ли в расчет и каким образом красные строки и прочие цветные элементы оформления. В целом изобретение типографии представляло комплекс технических задач, для самой постановки коих тот перечень технических предпосылок, который, наряду с лубочной печатью, обычно приводится — вообще высокий уровень обработки (литья, чеканки, грави-

рования) металлов, использование буквенных пунсонов для чеканки надписей на медалях и сооружениях, употребление пресса (отжимного) в виноделии, переплетном деле, бумажном производстве и п р . , — недостаточен. В нем не хватает той конкретной отправной точки, от которой исходил Гутенберг. О том, что таковая была, говорит одно из наиболее авторитетных первосвидетельств об его изобретении — анонимная «Кельнская хроника» 1499 г., которая, сообщая, что der erste vynder der druckerye (первый изобретатель печатания) был Йохан Гутенберг, упоминает die erste vurbildung — начальный прообраз этого искусства в Голландии, «в тех донатах, которые там до этого времени печатались», подчеркивая, что нынешнее искусство изобретено много совершеннее и точнее (meysterlicher und subtilicher vonden). Т. е. речь идет уже не о вообще предпосылках, а о еще каком-то виде дотипографского книгопечатания. Сведения эти восходят к профессионалу: автор хроники ссылается на кельнского прототипографа Ульриха Целля, учившегося своему делу в Майнце при жизни Гутенберга. Целль не стал бы говорить о голландских донатах, если бы они были ксилографическими: лубочная печать к 1440 г. была распространена повсеместно. Значит, подразумевался другой способ, более близко связанный с типографским.

Более 3 веков вникать в эти сведения мешала выдвинутая в 1588 г. в «Батавии» Адриана Юниуса заявка на приоритет в изобретении книгопечатания в пользу Голландии: ссылаясь на своего учителя, который в молодости слышал рассказ старика-переплетчика, якобы очевидца, Юниус утверждает, что печатание отдельными литерами изобрел в Хаарлеме Лауренс Янсзоон Костер (церковный сторож). Повествуется, что в 1440 г., уча читать внуков, Костер стал вырезывать буквы из дерева (деревянные буквы были обычны при обучении чтению) и оттискивать их

на бумаге; так он догадался, что можно печатать книги — сперва с деревянных досок, потом отливая буквы из свинца, затем из олова. И его подмастерье, некий «Йоханн Фауст или иной» в рождественскую ночь того же года бежал, украв весь его запас литер, и напечатал ими в 1442 г. в Майнце донат. Рассказ Юниуса — расцвеченная контаминация ходивших в литературе версий. Подобная история в разных вариациях с 1530-х гг. распространялась для доказательства страсбургского приоритета (здесь изобретателем был Йоханн Ментелин, а в роли вора — Йоханн Генс-

Пашущий Адам и прядущая Ева.
Из «Speculum humanae salvationis».

флейш, затем печатавший в Майнце на средства Йоханна Гутенберга). Имя вора показывает, что Юниус в качестве изобретателя книгопечатания знал Фуста (так в начале XVI в. рекламировал внук последнего, Йоханн Шеффер), но знал и о спорности этого дела в пользу других Йоханнов (Гутенберга и Ментелина). Год изобретения 1440 мог быть вычитан из многих источников. Год 1442 как начало книгопечатания косвенно обозначен у Полидора Вергилия Урбинского, книга которого De inventoribus rerum с 1499 г. многократно издавалась и, конечно, Юниусу была известна: утверждая, что в Италии печатать стали с 1458 г. (таких изданий не дошло, первые в Италии относятся к 1465 г.), автор указывает, что это было через 16 лет после начала в Майнце. Тот же год упоминается в связи с ментелиновской версией. Оригинальна другая сторона Юниусова рассказа: он приписывает Костеру «Speculum humanae salvationis» («Зерцало человеческого спасения»), первое известное и неоспоримо нидерландское издание которого ныне датируется 1460-ми гг. Начатое как блокбух, оно закончено в отношении текста (каждая страница наполовину занята гравюрой) типографским способом. Печатник «Зерцала», вряд ли в Нидерландах не первый (и выпустивший затем еще ряд изданий), анонимен, доски гравюр восходят, видимо, к мастерской Рогира ван дер Вейдена в Брюсселе. Таким образом, хотя реальность Костера — как хаарлемского торговца елеем, вином, мылом, свечами, школьного учителя и содержателя гостиницы — и годы его жизни подтверждены архивами, остается неясным, почему он попал в историю книгопечатания. Возможно, что он был предком какого-то печатника, и вся история — обрывок еще одной фирменной легенды. Не исключено также, что типографа «Зерцала» в самом деле звали Костер, но это был не тот человек, который обнаружен в хаарлемских актах, жил позднее и работал, видимо, в Утрехте.

Тому, что Юниус в XVI столетии счел этот роман правдоподобным, удивляться не приходится: он был в духе времени. Удивительней, что в разгаре технического прогресса XIX и XX в в . — вплоть до второй мировой войны — ученые могли всерьез считаться с ним, либо реконструируя путь изобретения «от Костера к Гутенбергу» (Костеру приписывалось технически невероятное литье литер в опоку), либо упорствуя, что голландские донаты печатались с деревянных досок. И то и другое, как, впрочем, любая научная предвзятость, — отразилось на определении памятников: когда в подклейках переплетов обнаруживались фрагменты донатов XV в. с характерным голландским начертанием букв явственно нетипографской печати (она узнается по нестандартности начертаний), их, как правило, объявляли лубочными (либо анализировали с точки зрения литья литер в опоку). Так упомянутый «Кельнской хроникой» предтипографский способ печати, который, видимо, толкнул Гутенберга на путь изобретения, оставался неучтенным наукой, хотя уточняющее его известие было: дневник аббата в Камбре, Жана Ле Робер, дважды, в 1446 и 1451 гг., упоминает покупку в Валансьене «Доктринала» jette en molle (отлитый в форму), что является термином для металлического литья и предполагает отливку текста целиком, а не отдельных литер. Это означает, что оба «Доктринала» (речь может идти о стихотворном переложении правил латинской грамматики Александра из Вилльдье — de Villa Dei) печатались с литых металлических форм — пластин с выпуклым (высоким) текстом, постраничных или скорее — по частям страниц, что явно было обычным (обе записи новшества не отмечают) и вполне может быть распространено на голландские донаты примерно на 15 лет более ранние. Это известие несколько ограничивает диапазон изобретения Гутенберга: состав пригодной для печати с металла краски должен был быть

в принципе найден до него. А если печать была двусторонней, то она предполагает механическое давление. Не был ли пресс уже прежде как-то приспособлен для оттисков и лишь усовершенствован Гутенбергом? Это ничуть не умалит его изобретательского гения: печать с литых пластин обладала для текстов всеми пороками печати лубочной, правда, без каллиграфических ограничений (но при более трудоемком производстве). Качественным скачком изобретения был переход к печати с набора.

Упорная недооценка его технических предпосылок могла иметь место лишь потому, что культурно-историческая роль изобретения книгопечатания заслонила его значение в истории человечества как акта собственно технического творчества, условием которого во все времена являлось владение необходимой суммой знаний и навыков. В данном случае — знанием свойств металлов и сплавов, добротной ремесленной специализацией по тонким и точным металлотехническим работам. В силу этого ни Костер, ни какой-либо представитель книжных профессий изобрести или улучшить типографию не мог. Так же, как никто из резчиков по дереву, для коих область металлотехническая самой их цеховой принадлежностью исключалась. В эпоху изобретения необходимые для него знания и умения были достоянием (как всякая цеховая специализация, ревниво оберегаемым) другого художественного ремесла — золотых дел мастеров, ювелиров (которые лубочной техники не касались; соединение обеих техник в одном лице появилось к концу XV в. под влиянием книгопечатания). И именно в ювелирном деле наблюдаются и входившие в состав изобретения типографии технические элементы и начатки собственно технизации — множественной повторяемости одного и того же объекта. Резание пунсона (из обычного в типографском производстве материала — стали) было обязательным при испытании на звание мастера ювелирного

дела. Чеканка орнамента предполагала различные комбинации одних и тех же пунсонов. Материалом для чеканки и гравирования, в частности, подсобного — для получения отливочных форм (тех же матриц и тоже ради повторяемости образца) служили медь или латунь. Известно было и употребление антимона для придания твердости сплавам (и в Германии имелись месторождения свинцовой руды с примесью антимона, что — с добавкой олова — дает состав шрифтового сплава). Все ранние элементы технизации в книжном деле — металлические штампы (пунсоны) для тиснения переплетов, для контуров инициалов и орнамента в рукописной книге — своим происхождением обязаны ювелирному мастерству (сперва буквально — создавались ювелирами). И наблюдено их первичное распространение именно в Нидерландах. Вопрос в том, каким образом произошел скачок от слепого тиснения к получению окрашенных оттисков. Наиболее вероятно, что происхождение печати с металла связано со сборниками образцов гравированного орнамента ювелиров. Существование таких сборников как подспорья для мастеров и для выбора при заказе в ряде ремесел известно (или устанавливается по повторению мотивов в работах одной местности). Распространение бумаги позволило фиксировать гравированные узоры ювелиров путем их окраски и оттиска, первоначально с высокой части орнамента, а затем получать отпечаток и с углубленных его линий. Перенесение этой практики на самодовлеющие задачи дало, с одной стороны, высокую металлическую печать, а с другой — медную (резцовую) гравюру; все первые известные художники-граверы по металлу были ювелирами.

Эта гипотеза (Х. Розенфельда) особо убедительна своей производственной обусловленностью. Так восстанавливается еще одно звено в технической преемственности и нидерландского способа печати и типографии от практики

ювелирного дела. Однако с принципиальным различием: матрицами для пластин могли служить просто гравированные доски (отсюда нестандартность начертаний), чеканка матриц стала необходимой лишь при переходе к набору. И в той же связи становится понятным, что изобретение Гутенберга родилось как рационализация не процесса письма и лубочной гравюры, а голландской печати с металлических литых форм, которая и была его технической отправной точкой.

* *
*

Глава
III

Item Hanns dünne der goltsmyt hett geseit das er vor dryen joren oder doby gütemberg by den hundert gulden abe verdienet habe alleine das zü dem trucken gehöret

Начало биографии. Тяжба о «предприятии с искусством»

Воссоздать связную биографию изобретателя европейского книгопечатания не более возможно, чем жизнь его предполагаемого святого патрона Иоанна Крестителя, либо апостола Иоанна или иного из святых того же имени, числящихся в церковном календаре. Впрочем, так же, как жизнь людей, на сто лет ближе Гутенберга к нам стоящих, — поименованных в московском «Апостоле» 1564 г. русских печатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Для святых не биография имела значение, а легенда о подвиге, видениях, чудесах. В отношении первопечатников закономерность иная: биография — в пору Гутенберга для всей Европы, а для восточной ее части и сто лет спустя — оставалась уделом деятелей политических, церковных, иногда — писателей; делатели, т. е. люди ручного труда, включая художников, ее, как правило, не удостаивались. Данные о них порой находятся в архивах — в приходских книгах, налоговых списках, деловых и личных документах. У Гутенберга положение несколько особое: как благодеяние для книжного мира его изобретение попадало в поле зрения книжников. Порожденные им книжные отклики включают иногда, кроме года и места изобретения, краткие сведения об изобретателе — имя, происхождение, редко более. Но и эти данные разноречивы и сбивчивы, актовые же свидетельства скудны. И все столь многократно и разногласно интерпретировано (или наоборот — единодушно замолчено), что искать истину нужно заново.

Йоханн (Henne, Hengin, Hanssen) Гутенберг был младшим из детей от второго — 1386 г. — брака майнцского патриция Фриле Генсфлейша и непатрицианки — дочери

сукноторговца Эльзы Вирих; старше него, кроме сводной сестры Патце, были брат Фриле и сестра Эльза. Прозвание его происходит, видимо, от отцовского подворья в Майнце (отец обозначен цум Гутенберг посмертно, при жизни прозывался цум Ладен, Фриле-сын двояко). Несмотря на свой мезальянс, Фриле-отец в длившейся уже сверх столетия борьбе между патрициатом и цехами выступал как поборник патрицианских привилегий и не раз при победе цехов вместе с другими непокорными патрициями отъезжал в изгнание. Майнцский патрициат часто приравнивается к феодалам. На самом деле в Германии — в отличие от ряда городов Италии и Южной Франции — патрициат к рыцарству не причислялся. Герб в ту эпоху привилегией феодалов не был. Однако есть ранние источники, именующие изобретателя рыцарем. Один прижизненный — ордонанс французского короля Карла VII от 4.X.1458 г., который направляет ювелира Никола Жансона выведать книгопечатание в Майнц к мессиру Жану Гутенбергу, рыцарю (chevalier). Ордонанс известен по двум копиям XVI в., и подлинность его подвергалась сомнению. Для фальсификации трудно найти основания: упомянутым «Кельнской хроникой» 1499 г. французским притязаниям на первоизобретательство Жансона смысл ордонанса противоречит, сам Жансон во Францию не вернулся, знаменит как печатник венецианский. В отношении рыцарского звания не исключена путаница с эльзасским родом Гутенбергов. Рыцарем же — equis — изобретатель назван в хронике (Jacobus Philippus de Bergamo. Supplementum chronicarum), вышедшей в 1483 г. в Венеции, причем отнесен к фамилии цум Юнген (до Фриле-отца владевшей Гутенбергхофом). В таком сочетании его имя источниками не упоминается: у Гутенберга была в Майнце обширная родня, здесь имело место ошибочное отождествление, вряд ли без намерения переживших изобретателя членов семьи цум Юнген про-

славить таким образом свой род; родство прослеживается лишь по боковой линии. Предполагать рыцарский корень Генсфлейшей некоторые основания есть. Первый достоверный в Майнце прямой предок Гутенберга — Фрило Раффит, живший в первой половине XIV в. (фамилия Генсфлейш пошла от купленного им имения). Прозвание Раффит — по-арабски «конь» — указывает на прибытие с Востока. В каком бы качестве ни отправился туда неведомый родитель Фрило, для того, чтобы путем женитьбы или иным войти в патрициат (в 1330-х гг. Раффит с сыновьями вооруженно представлял майнцских патрициев против цехов), вернуться в Германию он должен был рыцарем, что было возможно, пока шли бои за остатки крестоносных завоеваний. Герб Гутенберга — такой же, как Раффита, — отмечается в Майнце с 1290-х гг. Он лишен геральдической условности, буквалистичен, значит недавний. В нем согбенный человек в коротком плаще с капюшоном, по-видимому, босой, с чашечкой в протянутой руке, с посохом в другой. Читался он как нищенствующий паломник, в последнее время предлагается коробейник. Объективно первый вариант правдоподобней (он означал бы, что родитель Раффита отправился на Восток как паломник). Ни Раффит, ни прочие прямые предки Гутенберга с рыцарским званием не упоминаются: по-видимому, огорожанившись, посвящения в рыцари не искали (в родне рыцари встречаются). Если изобретатель — вопреки происхождению матери и своим занятиям ручным, заказанным и патрициату и рыцарству трудом — такое посвящение получил, это могло быть лишь при особых условиях.

Майнц, издревле бывший центром духовного княжества, с 1244 г. имел статус вольного имперского города (городской республики). Сходное положение было еще в ряде епархиальных центров (Страсбург, Кёльн и др.) с той разницей, что избираемый майнцским соборным капи-

тулом владыка становился архиепископом германской церкви, курфюрстом и, как правило, канцлером Империи, короновал королей. Таким образом здесь сплетались интересы и функции имперские, администрации княжества, епархии, городского управления. Архиепископ вступал в городские дела как посредник между патрициатом и цехами; город нес контроль за качеством архиепископской монеты; и т. п. Последнее было патрицианской привилегией. Эти функции выполняли и члены фамилии Генсфлейшей, в том числе отец Гутенберга. Сыновья его их не несли, то ли по непатрицианскому происхождению матери, то ли вследствие победы цехов. Предполагается, однако, что начальным знакомством с металлической техникой изобретатель обязан детским впечатлениям. Предполагается также, что детские впечатления от проникнутой церковностью майнцской повседневности отштамповали его этикетно правоверным, а ущемленность привилегий — чванным и заносчивым.

Записи о крещении не обнаружено. Принято, что он родился между 1394—1399 гг. Мнение это подсказано наблюдаемым около 1494 и 1499 гг. усиленным его прославлением как изобретателя книгопечатания. И вряд ли верно: оно исходит из посылки, что в 1420 г. при разделе имущества со сводной сестрой после смерти отца он выступал сам, а не через опекуна, т. е. был совершеннолетним, и из совершеннолетия в 21 год. Но в XV в. совершеннолетие наступало в 14 лет, а главное, что из документа (дошедшего в извлечении) неясно, были ли при разделе имущества оба брата или их представлял их деверь Клаус Витцтум; обозначен Henchen здесь уменьшительно и как брат Фриле цум Ладен, что в пользу совершеннолетия не говорит. И жалоба в духовный суд страсбургской патрицианской девушки Анны (Ennelin zu der Iserin Tür) на нарушение Гутенбергом брачного обещания в 1437 г. вряд ли относилась к сорокалетнему, по тем временам — почти

старику. Вероятнее, что он родился во второй половине первого десятилетия XV в. (от года зависит, мог ли он быть тем Хенне Генсфлейшем, который в 1421 г. упомянут среди сторонников страсбургского епископа Вильхельма фон Диста при столкновении последнего с городом). Условно его рождение отмечается как день Иоанна Крестителя — 24 июня — 1400 г. Неясно и место рождения. Кёльнская хроника называет Гутенберга майнцским гражданином, родившимся в Страсбурге, то же повторяет и гуманист Якоб Вимпфелинг в своих «Epitome rerum Germanicarum» (написаны в 1502 г., вышли в Страсбурге в 1505 г.). Это оспаривается — без всяких данных — в пользу Майнца и, возможно, ошибочно: учитывая беспокойную жизнь их отца, родиться оба брата могли и в третьей точке Империи. О ранних годах и образовании неизвестно. Из дальнейшего явствует, что знанием латыни, хотя бы пассивным, он обладал, а значит, учился в приходской, городской, монастырской или братской школе. Но в университете не учился, иначе не было бы его ремесленного учения, а тем и изобретения. Зато оно предполагает не просто «знакомство с детства», а доскональное знание ювелирного дела и звание мастера, без коего права обучать — а Гутенберг в Страсбурге обучал ювелирной технике — не могло быть. Тому, где и когда он это звание получил, в гутенберговедении внимания не уделялось. От 1427—28 гг. известен Майнцский договор о пожизненной ренте в 20 гульденов на обоих братьев. В январе 1430 г. — снова договор о ренте, некогда купленной на его имя некоей Катариной Шварц из Дельценхейма; договор составляла его мать с тем, чтобы свести прижизненные выплаты к половине, дабы рента продолжалась после смерти сына, чего не могло быть без его воли, с какой целью, в акте не сказано; поводом могла быть его болезнь. Следующий раз имя Hengin zu Gudenberg встречается в объявленном майнц-

ским архиепископом 28.III.1430 г. соглашении между патрициатом и цехами, где ему в числе отсутствующих (nicht inledig) предлагается вернуться. Поскольку речь идет об отъехавших в 1428 г. при очередном конфликте патрициях, делается вывод, что в 1428 г. Гутенберг в Майнце был и позицию своего отца разделял, что допустимо, но и только. И время и причины его отъезда могли быть иными (например, учебными — как подмастерья перед испытанием на мастера); упоминаться в соглашении он мог просто по признаку отсутствия. Брат его соглашение принял и в том же году был членом городского совета. При разделе наследства матери в августе 1433 г. Гутенберга в Майнце не было. И в Страсбурге (где в 1429 г. встречается расписка Фриле в получении ренты) не было. Остается неизвестным, где он был и что делал по крайней мере с 1428 по 1434 г., не менее шести лет.

Первое же свидетельство его появления в Страсбурге тяжебное. Город Майнц (видимо, как невозвращенцу) прекратил Гутенбергу выплату ренты. Это давало право требовать долг от любого майнцского бюргера или арестовать такового как неоплатного должника. Гутенберг засадил в долговую тюрьму оказавшегося в Страсбурге майнцского городского секретаря Николая фон Верштадта. Актом от 14.III.1434 г. он, следуя увещеваниям страсбургского городского совета и извиняя свой поступок крайней нуждой (что правдоподобно, если исходить из недавнего прибытия и надобности обзаводиться своим делом), отпускал Верштадта под клятву, что задолженность будет выплачена (и выплата ренты, в получении которой расписывался в Майнце Клаус Витцтум, возобновилась). Маем 1434 г. датирована передача ему страсбургской ренты брата (уменьшенной при этом с 14 до 12 гульденов). Фриле тогда переехал в Эльтвилль, где женился и жил до своей смерти (1447 г.). Предполагать обмен — ренты на некий наследо-

ванный Йоханном дом в Эльтвилле — данных нет, для суждения об отношениях между братьями тоже.

Затем снова пробел, двухлетний. И снова Страсбург, два судебных дела одно за другим. Первое — уже упомянутая жалоба о нарушении брачного обещания (и она объяснимей, если Гутенберг перед тем отлучался). Решение суда не дошло. Второе связано с первым: свидетель жалобщицы, сапожник Лавель (Николай) Шотт, быв обруган Гутенбергом как жалкий наемный лжец и обманщик, тоже подал в суд, обязавший обидчика выплатить истцу 15 гульденов, на чем они и примирились. Вопрос, был ли Гутенберг женат, дебатировался, так как в страсбургских налоговых списках после 1442 г. встречается некая Эннель Гутенберг. Но решается отрицательно. Если бы брак состоялся, она звалась бы Эннель Генсфлейш. И, женившись на ней, Гутенберг становился гражданином Страсбурга, а он до конца своего пребывания там числился то среди Nachkonstoffler (патрициев, гражданами города не являвшихся), то среди лиц, примыкающих к цеху ювелиров, т. е. тоже не граждан города. И по его дальнейшему образу жизни и по отсутствию детей можно видеть, что суд высказался не в пользу истицы. В дальнейшем разные страсбургские документы упоминают и имя Эннелин zu der Iserin Tür; видимо, это были две разные Анны. Эннель Гутенберг в списке военных налогов приписана после монастырей среди лиц, которые mit niemantz dienen, т. е. ни к какой корпорации или сословию не принадлежат, что было принято для одиночных духовных особ и в данном контексте обозначает бегинку. С той же формулой в 1440-х гг. встречается и имя Гутенберга, но наряду с упомянутыми выше прочими. Это разнообразие его обозначений говорит о неопределенности его социального статуса в этом городе. Вторая сторона — не был ли сапожник Лавель Шотт предком страсбургских типографов Шоттов — внима-

ния, как правило, не привлекала. А между тем грубая клевета на Гутенберга, шедшая от созидателей ментелиновской версии — Ментелин был через брак своей дочери основателем фирмы Шоттов, — как месть за родовую обиду была бы объяснимее. Все эти отрывочные сведения ничем не особенны ни для какой эпохи и, кроме как о горячности нрава и о некоем жизненном распутьи, ничего не говорят о человеке. Как изобретатель он выступит лишь в следующем известии — протоколах тяжбы 1439 г. со страсбургским гражданами братьями Дритцен, сыгравшими в свое время главную роль в крушении костеровской легенды. Протоколы дошли не полностью (в выдержках, с именами судей, опубликованы Шёпфлином в 1761 г., частично же, но дополнительно к Шёпфлину и с факсимиле в 1840 г. Лабордом), без показаний многих свидетелей — их со стороны Гутенберга было 14, со стороны Дритценов 26, но ряд имен совпадает. Они не только отражают некий этап изобретения, но представляют единственное свидетельство о его социальном фоне. Дальнейшие страсбургские материалы сводятся к упоминаниям в списках налогов — винного (весьма значительного) и военного (в начале 1444 г. город готовился к защите от арманьяков — французских наемников, вторгшихся в Эльзас), в 1441 г. — в качестве поручителя при долговом обязательстве за Edelknecht (оруженосец, паж) Йоханна Карле, в 1442 г. — как должник монастыря св. Фомы с поручительством страсбургского бюргера Брехтера. Последняя запись о внесении военного налога сделана 12.III.1444 г. 21 того же месяца работавший для него столяр Заспах (см. ниже), отказавшись от гражданства, покинул город; по-видимому, они уехали вместе, и в сентябре при схватках с арманьяками Гутенберга в Страсбурге не было: его имя в документах (упоминающих ряд участников процесса 1439 г.) не встречается, хотя пострадало предместье Зеленой горы (Grüner Berg), где был мо-

настырь св. Арбогаста, при котором он жил. И в последующие 4 года о нем нет известий, кроме записей монастыря св. Фомы о поступавших вплоть до 1457 г. процентах по взятому им долгу; получение их по 1453 г. включительно регистрировал казначей монастыря Хейнрих Гунтер — имя, которое в ином контексте встретится впоследствии.

Тяжба Йорга и Клауса Дритценов против Ханса Генсфлейша из Майнца, именуемого Гутенбергом, шла о наследстве умершего на Рождестве 1438 г. брата их Андреаса, являвшегося компаньоном Гутенберга по некоему делу и вложившего в него все свое — вряд ли большое — достояние. На этом основании Дритцены требовали, чтобы Гутенберг либо взял их в дело вместо покойного, либо вернул его пай. Встретив отказ, они обратились в суд. Судей занимала имущественная и юридическая сторона дела. Все участники, стараясь сохранить его суть в секрете, выражались неопределенно: Гутенберг обозначал его как свое «предприятие с искусством» — Afentur mit der kunst (kunst обозначало всякое ремесленное уменье), другие — просто Werck (дело) или «это». В чем оно состояло, можно заключить лишь из обмолвок свидетелей либо по косвенным признакам. Самое в этом плане важное — показание ювелира Ханса Дюнне, что он три года назад заработал у Гутенберга 100 гульденов «только на том, что относится к печатанию» (was zu dem trucken gehöret). Оно указывает, что Гутенберг в 1436 г. был в Страсбурге, а главное — что он тогда уже полагал что-то печатать, причем в металлической технике (иначе — ненужен был заказ у золотых дел мастера). Из актов неясно, ранее или позднее этого срока он по просьбе Андреаса Дритцена стал обучать его ювелирным работам (упоминается stein bolieren — полировка камней, на которой, по. словам Гутенберга, Андреас хорошо зарабатывал). Сколько-то времени спустя Андреас узнал, что у Гутенберга Договор со старостой Лихтенау Хан-

сом Риффе о некоем искусстве для Аахенского паломничества, и просил включить его в качестве участника и научить этому искусству. Священник Антоний Хейльман также стал «очень просить» Гутенберга, чтобы он взял его брата, тоже Андреаса in die ochenfahrt zu den spigeln. Так выясняется, что это был договор об изготовлении зеркал (или «зерцал»). Гутенберг сперва отказывал, так как не хотел, чтобы друзья Андреаса завтра сказали, что это шарлатанство (göckelwerk), затем согласился; было составлено и письменное соглашение. В 1438 г. выяснилось, что Аахенское паломничество переносится с 1439 на 1440 г. Цель товарищества отпадала. Но оба Андреаса, узнав, что Гутенберг занимается еще какими-то «искусствами» (которые по договору не был обязан им сообщать), стали настаивать, чтобы он их этим искусствам обучил и взял в компанию, о чем Антонием Хейльманом был составлен новый договор сроком на 5 лет. И опять Антоний «упрашивал» Гутенберга включить в дело и выучить ему Андреаса Хейльмана и снова повторил свое желание это у Гутенберга заслужить (umb in verdienen), что вместе с осведомленностью в деловой стороне предприятия позволяет считать его негласным членом сообщества (Gemeinschaft). Первый договор предполагал то ли равную долю во взносах (а значит, в доходах) Гутенберга и Риффе, то ли две трети Гутенберга и одну Риффе — здесь показания Антония, свидетеля Дритценов Штокара и решение суда расходятся так же, как в отношении доли обоих Андреасов. По изложению судебного решения, составленного на основании контракта, Гутенберг вносил половину, Риффе четверть, оба Андреаса — по одной восьмой общего вклада в дело, что наиболее вероятно: только так Гутенбергу гарантировалось преимущественное право на его «искусство». Но возможно, что это относилось лишь ко второму договору (так оно изложено Штокаром), по которому и тот и другой Анд-

реас обязывались также дополнить свои паи, по версии Штокара — до 500 гульденов, по показанию Гутенберга и священника — до 410 гульденов плюс то ли 75, то ли 85 гульденов платы мастеру за участие в секрете и за обучение. Правда, в связи с этим договором тот же Антоний приводит слова Гутенберга, что «теперь, когда так много оборудования уже имеется и еще делается» (zo vil gezüges do ist und gemaht werde), а паи обоих Андреасов почти полностью внесены, искусство они получат даром. Но это, видимо, касалось уже следующего этапа, относительно которого Гутенберг предложил, чтобы они во всем были равны и едины и чтобы никто от другого ничего не скрывал, потому что Антоний прежде для него так много сделал (sit er jn vor zo vil geton). При этом контракте оба Андреаса не хотели иметь дела с Риффе, так как они все «получили от Гутенберга» (was si hetten das hetten si von Gutenberg wegen), но Риффе в товариществе остался. Намечалось, что сообщество будет жить бурсой, т. е. вместе и на равных основаниях при монастыре св. Арбогаста у Гутенберга. По каким-то причинам вопросу о бурсе и тяжбе придавалось большое значение. Это видно из свидетельств — от Антония Хейльмана, показавшего, что, кроме случая, когда оба Андреаса доставили Гутенбергу полуфудр (ок. 6,8 л.), а Андреас Дритцен подарил еще омен (ок. 1,3 л.) вина и около сотни груш, последний ничего за свой стол не вносил и «с нами бурсы не имел», до Морица Бейльдека, слуги Гутенберга, который утверждал, что бурса должна была начаться после Рождества, как раз когда Андреас Дритцен умер, а до того он, хотя ел у Гутенберга часто, ни гроша не платил. И из вспышки Йорга Дритцена, с угрозами и руганью обвинившего Бейльдека во лжесвидетельстве (что тот обжаловал суду). Из других показаний явствует, что Андреас жил, работал и умер у себя: «бурса», если была (как свидетель Дритценов Штокар ут-

верждает, что, вступив в сообщество, оба Андреаса zu Gutenberg komme zu sankt arbogast, т. е. переехали к Гутенбергу), то вскорости прервалась. Решение судей (12.XII.1439 г.) было в пользу Гутенберга, ибо контракт оговаривал на случай смерти кого-либо из участников в течение договорного срока (Гутенберг говорил Антонию в основном о смерти своей) компенсацию в 100 гульденов для наследников по окончании этого срока, с запретом открывать им секрет производства. Все искусство, оборудование и готовые изделия (alle kunst, geschirre und gemaht werk) оставались собственностью первичных членов товарищества. Договор, который Андреас Дритцен должен был оформить, скрепить подписью и печатью, был обнаружен в его бумагах после смерти; долг, взятый под его поручительство, Гутенберг выплатил ранее. Так как Андреас был еще должен 85 гульденов за обучение, мастер предложил сразу отдать истцам разницу в 15 гульденов, что и было для них результатом суда.

Такова юридическая сторона тяжбы. Бросается в глаза, какое значение — шла ли речь о зеркалах или о другом «искусстве» — придавалось соблюдению тайны дела. Для непосвященных оно даже воочию оставалось непонятным: для кузины Дритценов, Эннель Шультхейсс, которая, по ее словам, часто и днем и ночью помогала Андреасу делать «эту работу»; для Барбель фон Цаберн, молодой торговки, которая как-то ночью разговаривала с Андреасом «о разных вещах» в то время, как он должен был, прежде чем лечь спать, «сделать это», и была испугана, что «это» стоило ему «более 500 гульденов»; для Рембольдта фон Эгенхейма, спросившего Андреаса, что он делает с теми «вещами», над которыми трудится. Особенно колоритен рассказ Антония, как незадолго до Рождества Гутенберг послал Бейльдека «за всеми формами», какие находились у обоих Андреасов, и велел у себя на глазах их расплавить

(...und wurdent zurlossen das er es sehe), хотя о некоторых сожалел (un jn joch etliche formen ruwete). Если бы причиной было недовольство их качеством или изношенность, присутствие самого мастера вряд ли было бы непременным и срочность столь настоятельной. Кроме того, после смерти Андреаса в доме Дритценов остался сделанный для товарищества Конрадом Заспахом пресс, а в нем (in der presse liegent) лежал некий четверочастный предмет, коему Гутенберг придавал особую важность. Он на следующий же день послал Бейльдека к Клаусу Дритцену сказать, чтобы тот вынул два винта, тогда четыре части (stücke) распадутся, их нужно положить на пресс, и никто не узнает, что это такое. С тем же пришел к Заспаху Андреас Хейльман, прося его вынуть и развинтить этот предмет в тех же выражениях, что и Бейльдек. Заспах этого предмета — ding — не обнаружил; то же сообщил Бейльдеку и Клаус Дритцен (ему Гутенберг передавал и приглашение для разговора). Об этой просьбе упоминают и Антоний, и родственные Дритценам супруги Шультхейсс, слышавшие разговор Бейльдека с Клаусом. Несмотря на сбивчивость передачи (свидетели говорят то о четырех предметах, которые нужно разнять и положить врозь, то о самом прессе), обозначение ding — вещь, лежащая в прессе (особенно в устах делавшего пресс Заспаха), позволяет считать, что это был отдельный предмет, к конструкции пресса не относящийся. Хотя Андреас Хейльман мотивировал свою просьбу к Заспаху тем, что тот делал и знает пресс, но скорее чтобы избежать неприятного поручения; для выполнения его знания пресса не требовалось: то же через Бейльдека предлагалось сделать Клаусу Дритцену, который ничего не знал. Остается неясным, утаил ли Клаус этот предмет в надежде разобраться, «что это такое», или вернул Гутенбергу.

Следует отметить и другое: четкое разделение двух предприятий и двух контрактов присутствует в показаниях

Гутенберга и Штокара, знавшего о деле от Андреаса Дритцена, и, видимо, в сделках опытного; в свидетельствах Антония такого различия между первой и второй afentur und kunst Гутенберга (между производством «зеркал» и другим делом) нет. И о первом контракте Антоний не помнит, был ли он, и все дело явно мыслит как единое. И еще: Андреас Дритцен, обычно отвечавший на вопросы о деле речами о том, сколько оно ему стоило, одному из заимодавцев (которому сперва говорил, что занимается «чем-то, на что не может собрать достаточно средств») сказал, что он — spigelmacher (делатель зеркал), но долг при этом брал на второе дело, обозначение профессии было маскировкой. Последнее плюс тот факт, что Дюнне уже в 1436 г. зарабатывал у Гутенберга на чем-то, относящемся к печатанию, и двузначность слова Spiegel подсказали в свое время гипотезу, что и первое начинание было связано с каким-то видом книгопечатания, и что целью его было «Зерцало человеческого спасения» (считая, что Гутенберг начинал с опытов в лубочной технике, ему приписывали то самое издание «Зерцала», о котором шла речь выше, см. гл. II). Хотя ныне возобладало буквальное прочтение (сувенирные зеркала на Аахенском паломничестве продавались и единично от 1450-х гг. даже дошли), упоминаемые материалы (свинец, на покупку которого члены товарищества занимали деньги под поручительство разных лиц и друг друга), производственные процессы (плавка, а значит, и отливка), предметы — пресс, формы (что в ту пору обозначало не столько формы отливочные — глубокие, сколько высокие — выпуклые — формы, включая лубочные) в сочетании с тем, что, как известно из других источников, Хейльманы (среди свидетелей был еще третий брат Клаус) имели у св. Арбогаста бумажную мельницу, говорят скорее в пользу первой гипотезы. Нужно добавить: производство зеркал, в отличие от печатания, единовременным про-

цессом быть не могло, а предполагало постепенное накопление готовой продукции, которой в 1438 г. должно было быть уже немало. Гутенберг же при обсуждении нового договора говорит только о том, что имеется уже много оборудования (которое, значит, хотя готовилось ранее, годилось и для нового дела). Кроме того: трудно представить, чтобы запас зеркал мог оставаться скрытым, еще труднее — чтобы видевшие работу свидетели не сумели опознать зеркала. И главное: замысел напечатать «Зерцало» — сперва, видимо, по близкому к нидерландской печати способу (судя по «Кельнской хронике», тогда малоизвестному), являлся бы — в ходе заготовки печатных форм — прямым путем к изобретению типографии, зеркальное производство с ним не связано (и именно этим импонирует исследователям).

Вопрос в том, на какой технической стадии изобретение было застигнуто смертью Андреаса Дритцена (именно этот, конца 1438 г. этап отразился в протоколах). Гутенберговедение все еще пытается согласовать толкование технической стороны дела с тем, что часть ранних известий в качестве места изобретения называет Майнц, ради этого поступаясь сообщаемым основными источниками годом изобретения — 1440, раз он приходится на страсбургский период Гутенберга. Ибо Майнц с 1450-х гг. утвердился большим типографским делом и первыми известными колофонами. И майнцская версия шла от Шеффера. Ранние свидетельства в пользу Страсбурга и посейчас рассматриваются как «колокольный» патриотизм. Чтобы объяснить, каким образом труд Гутенберга мог еще 10 лет после тяжбы 1439 г. оставаться бесплодным, ученым приходилось изыскивать для страсбургских его опытов заведомо несостоятельную технику (см. гл. II), какой ни один золотых дел мастер XV в. для такой цели придумать не мог. Делаются также попытки расшифровать страсбургские опыты Гутенберга через

одно современное ему и довольно загадочное известие: в конце прошлого века в Авиньоне были обнаружены акты 1444—46 гг., касающиеся Прокопа Вальдфогеля из Праги, тоже ювелира (argentarius), который под клятву сохранения тайны учил за плату «искусству искусственно писать» (ars artificialiter scribendi) и изготовил несколько алфавитов, в том числе два еврейских, из железа или стали (пунсоны?). В актах перечислен рабочий инвентарь — приспособления из олова, латуни, дерева, стальной винт. Употребляется термин litterae formatae, который, видимо, обозначает буквы, «отлитые в форму» (но встречается также в применении к инициалам, а значит — к металлическим штампам, которыми пользовались для нанесения контуров). В 1446 г. Вальдфогель исчез. Следов ранней авиньонской печати не обнаружено. Аналогии со страсбургским периодом Гутенберга разительные. Сходные договоры на обучение как упомянутому «искусству», так и ювелирной работе (in arte argenteriae) с внесением учениками авансов. Займы — в том числе у красильщика, еврея Кадерусса, для кого и изготовлялись еврейские алфавиты. Кадерусс два года обучался «искусственно писать» и, кроме того, учил Прокопа крашению и ссужал деньгами под залог его «форм», но также мебели и одежды (что показывает изрядную бедность ювелира). Сходна тенденция селиться вместе со своими компаньонами: это — с перерывом для другого ученика — имело место в отношении Жирарда Ферроза, слесаря, который затем одновременно с Прокопом исчез из Авиньона. Такое же стремление сохранять собственность на рабочее оборудование: при договоре с двумя студентами один из них — Мано Виталис, на средства которого делалась часть инвентаря, обещал все вернуть по первому требованию, что и выполнил, расторгая договор в связи со своим и своего товарища отъездом. Вальдфогель тоже обязует своих учеников никого не обучать его искусству, до-

бавляя еще оговорку — не разглашать, кем оно им показано (nulla mundi eam docebit neque revelavit fuisse ostensam per quemvis), но разрешая его использовать на расстоянии от мест своего пребывания.

Общая модель и дела и поведения (своеобразна лишь присяга Виталиса в том, что искусство Прокопа нужное и полезное, данная по желанию последнего) подсказывает мысль о прямых контактах пражского ювелира с Гутенбергом, а временное совпадение авиньонского известия (Вальдфогель появляется после начала 1444 г., без точной даты) с лакуной в данных об изобретателе соблазняет на их отождествление. Для первого сама модель дает полное основание. Отсутствие следов Вальдфогеля в страсбургских архивах тому не препятствует: авиньонские акты всплыли после частичной их гибели. И сами по себе прибытия и отъезды городским управлением в XV в. не регистрировались. В 1439 г. Вальдфогель приобрел гражданство в Люцерне, что вероятности его пребывания в Страсбурге в ближайшие годы не снимает: между обоими городами были деловые связи (так, в 1443 г. в Люцерне у Йорга Дритцена была тяжба). В самом Авиньоне можно наметить цепочку, связующую Прокопа со Страсбургом. Среди свидетелей в актах упоминается торговец Арбогаст Basileae (это, видимо, указывает на приезд из Базеля, но Арбогаст — имя страсбургское), с 1435 г. ставший авиньонским гражданином, что создавало здесь опорный пункт для его земляков. В бытность Вальдфогеля там отмечается появление страсбуржцев, в том числе однофамильца (или родича) гутенберговского компаньона Риффе. Исключить тождество Гутенберга и Вальдфогеля тоже нельзя: отсутствие документации личности в те века открывало возможности двойственного существования, а фамилия пражского ювелира (Вальдфогель — лесная птица) вполне годилась для прозвища почему-либо скрывающегося человека. Последнее отно-

сится уже к области недоказуемых догадок. К тому же, в практике обоих имеются и различия: «искусство» Прокопа по актам выглядит как некий индивидуальный вид механического письма, не только обучаться, но и практиковать его можно было в одиночку, что для типографской работы допустимо, но не характерно. Нет упоминания о каком-либо прессе (но можно счесть за его деталь указанный в актах стальной винт); если таковой был (деревянные детали не уточнены), то небольшой. Известие о Вальдфогеле показывает, что отмеченная в Праге в 1570 г., когда об авиньонских актах слуху не было, версия, будто либо изобретатель книгопечатания, либо его помощники были из Богемии, имела основания.

Для выводов о достижениях страсбургского этапа изобретения авиньонские акты бесплодны (если не заключать из двусмысленного термина litterae formatae, что Гутенберг пытался воспроизводить инициалы механическим способом). Документы процесса 1439 г. остаются для этого единственным источником, который в свете нынешнего знания технической базы изобретения читается довольно однозначно. Итак, пресс был и находился в доме Дритценов. В какой мере была уже найдена конструкция собственно печатного пресса (печатающие приспособления), судить нельзя. Неясно также, работали ли уже на нем (кроме, может быть, пробных оттисков для испытания конструкции); в показаниях свидетелей это не отразилось, что трудно представить, если им пользовались для сколько-то множественного печатания. Литье неких «форм» тоже было. Но неясно, какие именно «формы» — уже литеры или еще литые пластины велел под Рождество 1438 г. при себе расплавить Гутенберг. Или происходила отливка и того и другого для разного назначения? Сейчас несомненно, что главной проблемой изобретения являлась конструкция словолитного инструмента. Был ли он уже к Рождеству 1438 г. в каком-то приближе-

нии создан? Прямой речи о нем в тяжбе быть не могло. Вопрос стоит о лежавшем в прессе четверочастном предмете. Толковался он как рамка для держания набора, который, если вынуть два винта, распался бы. Но о литерах краткое и точное указание Гутенберга в передаче четырех свидетелей не упоминает, рамку же без набора разнимать не имело смысла, ибо назначение ее и так оставалось неясным, а значение второстепенным. Предполагались также 4 скрепленные пластины (печатные формы). Но их раскладывать на прессе тоже было бессмысленно: даже профану было бы ясно, «что это такое». Приспособление для литья литер в опоку само собой отпадает. Гипотеза К.-В. Герхарда, отождествляющая этот предмет с самим прессом, не отвечает определению как раз сведущих свидетелей (а предполагаемое назначение — штамповка пунсонов — вряд ли вручную мыслимо). Убедительней всего толкование этого предмета именно как инструмента, при помощи которого Андреас Дритцен отливал литеры, чем объяснялось бы и местонахождение «предмета» и непонятность работы Андреаса для окружающих, даже для помогавших ему людей: по словам одного свидетеля, Андреас что-то делал mit den nötlichen dingen, т. е. с очень мелкими вещами. По документам тяжбы 1446 г. между Йоргом и Клаусом Дритценами из-за братнего наследства Клаус требовал das schnitzelgezügk — инструмент для резьбы. Это подводит к мысли, что Андреас, кроме отливки, либо резал пунсоны, а скорее — обрабатывал (юстировал) отлитые литеры.

Ныне принято считать исчезновение Гутенберга из Страсбурга в 1444 г. бегством от кредиторов и недовольных тщетными затратами компаньонов. Трактовка вполне произвольная: она основана лишь на том, что фирмированного страсбургского издания той поры неизвестно, и на судьбе Андреаса Дритцена, до осуществления своих надежд не дожившего. Анализ актов 1439 г. позволяет счи-

тать, что подготовительная работа близилась к концу, и дело шло к практической реализации изобретения. Показание Барбель фон Цаберн донесло до нас убежденность Андреаса Дритцена в том, что «у нас неудачи быть не может, не пройдет и года, как мы вернем свое имущество и будем все блаженны» (uns mag nit misselingen, ee ein jor usskomet so hant wir unser houbgut wider und sint dann alle selig). Если исходить из даты изобретения 1440 г. (а появиться она могла только при условии, что было типографское издание: не подтвержденное продукцией ремесленное изобретательство в ту пору во внимание не принималось), расчет был точен. В него не входила лишь смерть Андреаса, из-за которой важные части инструментария остались в плену у его братьев, что и оттянуло работу еще на год. Другое дело, что Барбель чего-то не поняла в словах Андреаса: selig (блаженны) употреблялось в духовном смысле. И вряд ли правомерно делать из этих слов вывод о жажде наживы: их говорил отчаянно запутавшийся человек, у которого только и была надежда на заработок, чтобы отдать долги и «вознаградиться за все страдания» (und auch alles das leider ergetzt zu werden). Страдания вполне реальные: протоколы полны рассказами о закладах и займах Андреаса. И в то же время о его решимости, даже долженствовании отдать свое имущество (er müszte das sine versetzen), но из дела не выходить. Лишь почувствовав приближение смерти, он (26.XII.1438 г.) сказал: «Если я умру, лучше бы я никогда не вступал в сообщество», но только потому, что братья его «никогда не поладят с Гутенбергом». Что, видимо, было отголоском его конфликта с братьями из-за Гутенберга. И это возвращает нас к социальной и человеческой стороне страсбургского дела.

Понять пути, какими Гутенберг мог прийти к изобретению типографии, мешает желание его аристократизировать. Обозначение min juncher, в устах его слуги Бейльде-

ка означающее «мой хозяин», трактуется как «юнкер». В поручительстве за Edelknecht видится стремление держаться «своего круга». И т. д. К этому примышливается феодальная спесь, денежная безответственность, светский образ жизни и пр., что в ту пору изобретение книгопечатания исключало. Если даже Гутенберг имел рыцарское звание, на страсбургском процессе нет тому признаков. Сугубо бюргерская среда самого среднего достатка. Два ростовщика. Несколько духовных лиц, отнюдь не высших — два приходских священника, некто Госсе Шторм из монастыря св. Арбогаста, остальные без указания принадлежности. Риффе — староста небольшого местечка. Йорг Дритцен — сборщик налогов. Единственное известное имя — мастер Хирц, один из строителей страсбургского собора. Все люди, деньгам счет знавшие. Даже Антоний Хейльман ссужал деньги Андреасу Дритцену лишь под заклад (правда, сумму для средств Андреаса немалую и на сторонние нужды). Сам Андреас при видимой преданности и делу и Гутенбергу, при всей вере, что затраты окупятся, с имуществом своим расставался сожалея (по словам Заспаха «жаловался», что «должен» — это слово встречается в таком контексте вторично и с деловой точки зрения непонятно, он волен был из сообщества выйти, — деньги свои отдавать). Менее всего эта среда была способна вкладывать свои не чересчур большие средства в бесплодные опыты, ей нужен был результат, рыночная продукция. Ни тени сомнения, что «искусство» Гутенберга таковую обеспечивает, в словах его компаньонов нет. По свидетельству Штокара, Андреас Дритцен уповал на распродажу какой-то продукции товарищества. Антоний с особым почтением говорит о Гутенберге (и, видимо, связан с ним более лично, чем другие). Риффе, роль которого в сообществе неясна (считается, что он участвовал в деле только деньгами), ознакомившись с условиями договора, безоговорочно их принял. Сторонние лю-

Вид Страсбурга. Из «Хроники» Х. Шеделя.
Нюрнберг, 1439 г.

ди — братья Андреаса — домогались участвовать в неизвестном им деле. Судьи, разбиравшие эту весьма обыденную ремесленную тяжбу и вынесшие приговор против собственных граждан в пользу «подселенца» (hintersass) в их городе Гутенберга, дали ему самое благоприятное освещение. И в решении суда констатируется, что в свое время — видимо, до смерти Андреаса — Гутенберг и его товарищи «вместе делали и трудились и вместе имели свой хлеб от этого» (hetten gut zit ir gewesen mit einander gemaht und getriben, des sie auch einmychel teil zusammen broth hetten). Это само говорит о продуктивности их работы. Какой? В тяжбе 1446 г. между Клаусом и Йоргом Дритценами последний требовал себе оставшиеся после Андреаса «большие и малые книги». Правда, для шрифтов нужны были образцы, но вряд ли столь многие, чтобы о них судиться (достаточно было либо той книги, которую намечалось печатать, или книги прописей). Обозначение книг — по размеру — указывает на известную множественность; связь с прессом, инструментами и «другими вещами» — на то, что братья, наряду с прочим, делили доставшиеся им вопреки приговору суда орудия и результаты Гутенбергова «искусства» (коего реализовать явно не сумели). Поскольку речь шла бы о продукции до Рождества 1438 г., когда типографская техника только готовилась к производству, книги эти могли быть напечатаны лишь предтипографским способом, но объясняли бы уверенность товарищей Гутенберга в удаче его нового «предприятия с искусством». Конечно, не исключено, что Андреас просто собирал желательные ему для чтения книги: участие его в книжном деле на той стадии было бы объяснимей при каких-то книжных интересах. Независимо от того, были ли эти книги чтением Андреаса или утаенной его братьями после суда (может быть, Гутенбергом не востребованной) продукцией товарищества, сам этап изобретения, зафикси-

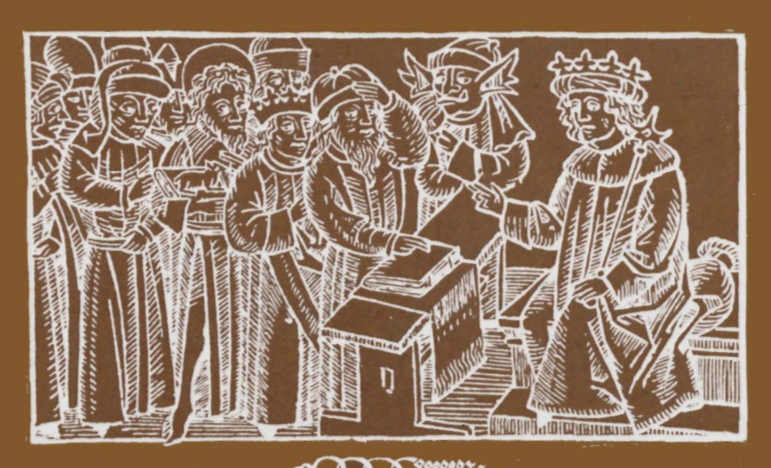
рованный протоколами для конца 1438 г., не оставляет сомнения, что типографское печатание к этому времени в первичном своем виде было уже изобретено и близилось к практическому осуществлению. А среда и обстановка тяжбы 1439 г. не дает сомневаться, что в последующие около 4,5 лет страсбургского пребывания Гутенберга изобретение его не оставалось втуне, а реализовалось в печатных изданиях. Не как постоянно действующее производство, а от случая к случаю: на первых порах книгопечатания иначе быть не могло. В той среде, в какой изобретение произошло (среде отнюдь не книжной), привычно было приноравливать сколько-то множественную продукцию к моментам больших человеческих скоплений — престольным праздникам, ярмаркам или другим. И эта же среда являлась основным потребителем лубочной и прочей механической продукции, откуда и почти бесследное исчезновение изданий того периода, тиражи коих вряд ли достигали сотни экземпляров. Здесь книга читалась до полного износа, чтобы затем послужить для хозяйственных нужд (от оклейки сундука до растопки печей), в лучшем случае — пойти на макулатуру ближайшему переплетчику. И здесь наиболее ходкими — что было важно, ибо возмещало затраты товарищества, — были не столько книги, сколько тексты практического, но преходящего значения вроде донатов, календарных прогнозов и подобных, которые от всякого времени остаются в ничтожном проценте. Другое дело, эту ли задачу — зарабатывать за счет ходкой продукции — ставили изобретатель и страсбургское сообщество. Шрифты Гутенберга говорят о широкой (в том числе литургической) книжной задаче, достойное решение которой — а в этом, судя по шрифтам, Гутенберг мерил на высший образец — и нужное количество шрифта требовали непосильных для его страсбургского окружения средств. Нужды ученой книжности, заведомо обеспеченной сбытом и часто простой по

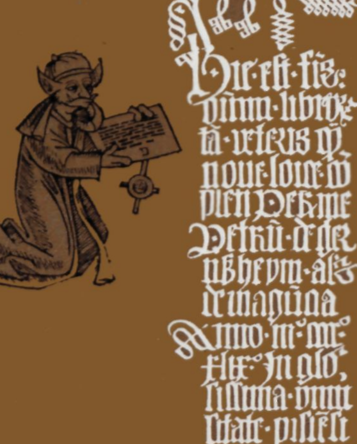
оформлению, гутенберговскими шрифтами не предусматривались, что может означать как отсутствие кругозора (включая коммерческий), так и выбор направления деятельности. Бегством ли и от чего было его исчезновение из Страсбурга после марта 1444 г., где он был в течение следующих лет, продолжало ли сообщество эпизодически печатать после его отъезда или прекратило, в связи ли с тем, что типография в предместье Зеленой горы была, как и бумажная мельница Хейльманов, разрушена арманьяками осенью 1444 г., или по иным причинам, свидетельств нет.

* *
*

Глава

IV





Хельмаспергеровский нотариальный акт

Процесс Фуста против Гутенберга

После четырех с половиной безвестных лет Гутенберг в Майнце: по акту от 17.X.1448 г. в его присутствии дальний его родственник Арнольд Гельтхус берет для него в долг 150 гульденов под залог своих рент. Отсюда явствует, что сам он некредитоспособен, т. е. не обладает в Майнце ни недвижимостью, ни капиталом, обеспечивающими возмещение долга. Время его прибытия неизвестно. Разрешение на въезд в город изгнанным после очередной победы цехов патрициям было дано 26.II.1447 г., но смысл долгового обязательства Гельтхуса предполагает приезд скорее недавний, и, видимо, обзаведение каким-то делом. В 1453 г. Гутенберг упоминается среди свидетелей при договоре между майнцским монастырем св. Клары и одним из членов примонастырского братства. От 1453—55 гг. есть записи о выплате страсбургской ренты. И, наконец, от 6.XI.1455 г. — снова фрагмент судебного процесса, листок пергамена, обозначаемый как Хельмаспергеровский нотариальный акт — по имени составившего и заверившего этот документ клирика бамбергской епархии Ульриха Хельмаспергера, присяжного нотариуса епархии майнцской.

На сей раз в качестве истца выступал майнцский делец Йоханн Фуст, по-видимому, ростовщик (до 1446 г. числится как Fürsprech — адвокат, далее — без указания занятий), который предъявил Йоханну Гутенбергу иск, содержавший не менее двух пунктов. Нотариальный акт представляет извлечение из прений сторон (не весьма четкое) и приговор суда по первой статье иска. Документ подлежал вручению тяжущимся в любом требуемом числе заверенных копий и должен был остаться в судебном архиве.

В подлиннике сохранилась только одна копия. Современная процессу надпись на обороте позволяет заключить, что копия предназначалась для подшивки к делу, которое в остальном не дошло. Судя по тому, что у нее срезан именно левый край, она некогда была из подшивки вырезана, причем скруглены верхний (с ущербом для начальной буквы) и нижний углы, где, видимо, проходила скреплявшая подшивку нить. Хельмаспергеровский акт, в XVII в. известный по пересказу Залмута, опубликован был в 1741 г. Келером и с тех пор по ключевому своему значению для начала книгопечатания в Майнце неоднократно толковался и перетолковывался как в отношении языковых и юридических деталей, так и по существу дела, которое из-за ряда ложных посылок до сих пор от понимания ускользало.

В чем же состоял первый пункт иска Йоханна Фуста? По собственному его изложению, сколько-то времени назад между ним и Гутенбергом было заключено соглашение, скрепленное записью (zettel irs uberkummens): Фуст под 6% годовых ссудил Гутенбергу 800 гульденов на завершение некоего дела (domit er das werck volnbringen solt), причем деньги сам занимал под проценты. Гутенберг жаловался, что денег ему недостаточно, и тогда Фуст, хотя по соглашению «будет это стоить больше или меньше», его не касалось, ссудил ему еще 800 гульденов, так как «всегда желал его удоволить». За вторые 800 гульденов он — Фуст — ко времени иска внес 140 гульденов процентов. Кроме того, он должен был платить проценты с первых 800 гульденов (их накопилось 250 гульденов), ибо Гутенберг ни разу их не вносил, и 36 гульденов сложных процентов (т. е. для выплаты процентов тоже занимал деньги под проценты). В итоге сумму долга он исчисляет в 2020 гульденов. Ответ Гутенберга иначе освещает дело: долгом были только первые 800 гульденов, взятые им в свою пользу, на улучшение и изготовление (zurichten und ma-

Хельмаспергеровский нотариальный акт. Фрагмент

chen) своего оборудования (geczuge), которое и было заложено Фусту в обеспечение ссуды. Вторая сумма (Гутенберг здесь указывает, что Фуст обещал вносить по 300 гульденов в год) предназначалась на общее дело — на оплату найма помещения и людей, на покупку пергамена, бумаги, черни (dinte); договор в этом случае был устный. Если бы далее они с Фустом не сошлись, Гутенберг должен был вернуть первые 800 гульденов и тем выкупить свое оборудование. На общее «дело книг» (werck der bucher) он из ссуды не обязан добавлять средства и по второй сумме не должен платить проценты. Однако ссуду он от Фуста получил не сразу, как записано, а по частям, и не всю; от процентов Фуст отказался. В употреблении вторых 800 гульденов он готов отчитаться. После вторичных — «многими словами» — высказываний сторон суд, исходя из указанного Гутенбергом разделения — ссуды и пая Фуста в совместное предприятие, принял предложение отчитаться в расходах по общему делу. Если он больше получил, чем израсходовал, то разница пойдет на восполнение ссуды, если он из этих денег перетратил на свое дело, то разницу он должен выплатить Фусту. Если Фуст при помощи присяги или свидетелей докажет, что сам занимал под проценты, Гутенберг должен оплатить и проценты в соответствии с «записью соглашения». Возможно, что она была в руках судей.

Далее следует присяга Фуста 6.XI.1455 г., после которой решение суда вступало в действие. При этом требовалось присутствие тяжущихся с их свидетелями. Происходила она во францисканском монастыре. И акт сохранил ряд неюридических деталей, словно нотарий хотел подчеркнуть драматизм момента. Присяга была назначена между 11 и 12 часами дня. В трапезной монастыря собрались, кроме Хельмаспергера и его писца, истец со своими свидетелями. Гутенберга не было. Представлявший Фуста его брат Якоб

зачитал объявление, гласившее, что согласно приговору суда Йоханн Гутенберг должен в данный назначенный день присутствовать при присяге Йоханна Фуста, затем послал в залу, где еще находились монахи, спросить, здесь ли Гутенберг или кто-нибудь от него и пригласить прийти. Явившихся на это бывшего (etwan) священника майнцской церкви св. Кристофора Хейнриха Гунтера и помощника и слугу (diner und knecht) Гутенберга Хейнриха Кеффера и Бехтхольда из Ханау Якоб Фуст стал допрашивать всех вместе и каждого порознь, что они здесь делают, зачем они здесь, имеют ли полномочия от Гутенберга. За их ответами, что им хозяин (junckherr) Йоханн Гутенберг поручил «послушать и посмотреть, что будет происходить в делах», последовало заявление Йоханна Фуста, что он хочет соблюсти назначенный день, что он ждал своего супротивника Йоханна Гутенберга до 12 часов и все еще ждет, но раз тот сам не явился (nit gefuget — не подчинился), то он — Фуст — вправе и готов выполнить постановление суда по первой статье. Далее было зачитано то извлечение из судебных протоколов и приговор по этому пункту тяжбы, которые включены в акт, затем произошла с положенной клятвой на Евангелии и призывом в свидетели «господа и всех святых» присяга Фуста; она по данной им записке воспроизведена в акте. Присяга отличается от жалобы: теперь Фуст различает два вложения — ссуду Гутенбергу и свой пай в дело — и снижает общую сумму с 1600 до 1550 гульденов (т. е. признает недодачу ссуды), настаивая, что все деньги занимал под проценты, с тем, чтобы после отчета Гутенберга получить ту их часть, которая не пошла на общее дело, и проценты с нее.

Таково содержание того единственного документа, которым располагает современная наука для реконструкции связывавших этих двух людей дела и взаимоотношений. В том, что «дело книг» Гутенберга и Фуста было типо-

графским, сомнений нет. Из участников процесса очень вскоре будут типографами или владельцами типографий сам Фуст вместе с названным среди его свидетелей как клирик Майнцской епархии Петером из Гирнсхейма (т. е. компаньоном Фуста по первому же изданию, впоследствии — главой солиднейшей майнцской фирмы Петером Шеффером), а из свидетелей Гутенберга двое — Хейнрих Кеффер с 1470-х гг. в Нюрнберге и Бехтхольд (Бертольд Руппель) из Ханау с 1468 г. в Базеле. Никакое, кроме типографского, книжное дело не требовало таких затрат на помещение, людей, материалы, ни столь дорогого оборудования. И в какое иное книжное дело мог вступить изобретатель книгопечатания? Сложнее другие вопросы. Предполагало ли общее «дело книг» выпуск одного или нескольких изданий? В ближайшем будущем множественным числом в подобных контекстах обозначался тираж. Само условие договора — если бы партнеры по окончании дела не сошлись бы — говорит об одном издании, а стоимость производства — об издании большом. Менее ясны сроки заключения как долгового обязательства, так и договора. Из указанных Фустом 250 гульденов процентов при 6 годовых вытекает, что от zettel irs uberkummens до иска истекло 5 лет и 2,5 месяца. Дата иска не указана, однако позднее, чем в конце лета 1455 г. (на судебную процедуру тоже ушло время), он вряд ли мог иметь место. Таким образом это «соглашение» вероятней всего относится к концу зимы или к весне 1450 г. О времени договора можно судить по соотношению фустовского пая и его дробления на ежегодные квоты, которое дает срок в 2 года и 8 месяцев, что позволяет относить начало общего издания на осень или, может быть, на лето 1452 г. Существо предприятия судом не рассматривалось, в акте geczuge Гутенберга не конкретизировано. Оборудование собственно типографии — печатные станы, словолитные инструменты и пр. — крупных денег стоить не мо-

гло, тем более, что в печатне Гутенберга вряд ли было больше 3—4 прессов. (Мнение, что прессов было 6, разбивается о простой расчет: позднее, при сильно упрощенной наборной практике, дневная работа двух наборщиков обеспечивала 1 пресс, анализ же связываемого с общим «делом книг» издания показал, что над ним работало 2, 3, затем 6 наборщиков.) Поскольку пробный период изобретения был позади, правомерно считать, что под geczuge подразумевались прежде всего шрифты (которые и впоследствии были наиболее дорогой частью оборудования всякой печатни). Было ли ко времени процесса закончено то издание, которое являлось целью совместного предприятия тяжущихся? Наиболее принято, что печатание было уже закончено, но продажа не начиналась. На это возражают: в таком случае результаты общего дела и будущие доходы с него должны были фигурировать в судебном постановлении; раз о них при всех денежных расчетах не упомянуто, издание к моменту суда закончено не было, откуда и конфликт между партнерами. Считается, что для «дела книг» был установлен срок, который Гутенберг все оттягивал, чем довел своего компаньона до иска в суд. Определение срока в такого рода договорах было правилом, но правилом же были сроки круглые — на сколько-то полных лет. Если исходить не из совпадения обеих сумм — ссуды и пая Фуста (последняя говорит лишь о реально внесенных им в дело деньгах), а из указанных Гутенбергом ежегодных взносов, то ближайший — и наиболее реальный — трехгодичный срок суммой фустовского пая не покрывается. Это означает, что Фуст нашел повод прервать свои взносы за 4 месяца до договорного срока. Доходы от совместного издания этим отодвигались: в отличие от следующих десятилетий, когда части тиражей перевозились в несброшюрованном виде, продавались без переплета, с пустыми местами для начальных букв и т. д., на том этапе штабели листов, хотя бы

отпечатанных до последней точки, завершенным «делом книг» не были; требовалось еще превращение их в готовые тома, т. е. время, деньги, труд — на инициалы, рубрикацию, переплет. Господствует мнение, что совместное издание разумелось уже при долговом обязательстве, иначе не имело смысла определять назначение ссуды на geczuge. Но: в «запись соглашения» назначение ссуды, как видно по изменчивости его определений на суде, занесено не было, только залог. И в тот момент — до zurichten und machen, о котором говорит Гутенберг, — его geczuge (ничего иного он явно предложить в залог не имел) стоить 800 гульденов не могло. Казалось бы, в улучшении и умножении имущественного обеспечения своей ссуды Фуст был заинтересован. Но почему-то выдачу ее растягивал (вряд ли по недостатку средств, ибо он, хотя на суде прибеднялся, был из числа богатейших граждан Майнца). После начала общего дела дробление ссуды и дробные же взносы его пая создавали неясность в распределении обеих сумм: изменения в шрифты Гутенберг вносил и по ходу работы над изданием, учитывать стоимость производственных «накладок» — испорченных оттисков, всех шероховатостей рабочего процесса (принципиально нового и большинством участников осваиваемого впервые) вряд ли было реально. Возможно, что опущенная в акте часть прений сторон содержала попытку Фуста — после того, как выяснилось, что вторые 800 гульденов назначались на общее дело (надо думать, тому были свидетели), — обвинить своего компаньона в растрате части этих денег «в свою пользу». Предложение Гутенберга отчитаться в их употреблении показывает, что в денежной стороне он был уверен. На первый взгляд ничто в акте не предвещает последовавшей за процессом катастрофы.

14.VIII.1457 г. вышла в свет великолепная служебная Псалтырь (Psalterium Moguntinum) в двух крупных, раз-

ного кегля шрифтах, украшенная двуцветными — печатанными с литых металлических форм — инициалами, красными строками и заглавными буквами, оттиснутыми одновременно с черным текстом, в конце коей значилось, что она сделана при помощи нового изобретения Йоханном Фустом и Петером Шеффером, через два года — аналогичная первой Псалтырь бенедиктинская с таким же колофоном. И эта фирма (после смерти Фуста перешедшая к ставшему его зятем Шефферу) существовала почти 100 лет, а ее основателям вкупе и порознь уже в XV в. приписывалось изобретение книгопечатания. Сведения о Гутенберге и далее отрывочны. 21.VI.1457 г. он упомянут среди свидетелей при продаже недвижимости в акте, составленном тем же Ульрихом Хельмаспергером в присутствии Леонхарда Менгосса, каноника майнцского монастыря св. Виктора. В записях страсбургского монастыря св. Фомы с 1457 г. появляется отметка о возбуждении дела об аресте его (и его поручителя Брехтера) за невыплату процентов по долгу 1442 г., с 1461 г. там же помечено обращение в имперский суд, в 1462 г. в Майнц, но безуспешное; иск этот тянется и после смерти изобретателя. Майнцская хроника событий 1461—63 гг., разыгравшихся по поводу смещения папой Пием II архиепископа Дитера фон Изенбурга и утверждения вместо него Адольфа Нассау, сообщает, что воззвание восставшего Дитера было во многих экземплярах напечатано «первым печатником Майнца Йоханном Гутенбергом»; других упоминаний о его печатной деятельности нет, совместного с Фустом издания как не бывало. Сохранилась грамота Адольфа от 17.IV.1465 г., гласящая, что за услуги, оказанные ему и его епархии, и в расчете на будущие услуги он назначает Йоханна Гутенберга пожизненно своим придворным. Запись современника о том, что Anno domini M°. CCCC.LXVIII uff sankt blasius tag (3.II) starp der ersam meinster <!> Henne Ginsfleiss dem got

gnade * на эльтвилльском экземпляре раннего шефферовского издания, после 1916 г. пропавшем (предполагалось, что запись сделана упомянутым каноником Менгоссом, имевшим в Эльтвилле приход). Расписка бывшего майнцского городского синдика — доктора канонического права Конрада Хумери в получении 26.II.1468 г. оставшихся после Гутенберга, но принадлежавших Хумери «форм, букв, инструмента» и пр., относящегося к печатанию, с обязательством не употреблять их и не продавать вне Майнца (если Майнцский гражданин предложит столько, сколько чужой). Упоминание в списке сперва живых, затем среди умерших членов братства при монастыре св. Виктора. Все в совокупности говорит, что в конце 1455 г. Гутенберг оказался неплатежеспособен и что дело его отошло к Фусту: типография (за малым вычетом); и совместное издание, иначе он мог бы типографию выкупить. Эта катастрофа предполагает злоупотребление — либо Гутенберга в предыстории, либо Фуста в самой тяжбе (но тогда вместе с ним и судей). И процесс Фуста против Гутенберга в известном смысле длится поныне: с сочувствием ли к изобретателю — сводя предысторию тяжбы к конфликту между художником и дельцом, или порицательно — и в делах Гутенберг был безответствен, и вообще с чужими деньгами обращался вольно, и пытался обмануть суд, и т. д. — гутенберговеды исходят из правоты Фуста. Она как бы задана авторитетом Шеффера, импозантностью — по богатству, крену в академизм, рекламе, длительности — его издательской карьеры. Для обоснования этой правоты приходится прибегать к сложнейшим — часто наперекор смыслу акта и правовым нормам — юридическим и финансовым домыслам, рассматривать процесс вне контекста, как шахматную партию, опу-

* В год господен 1468 в день св. Власия умер почтенный мастер Хенне Генсфлейш, да помилует его бог.

ская суть — то, что знали и Гутенберг, и Фуст, и их свидетели, и составивший акт нотарий, и, вероятно, судьи: дело шло не вообще о рабочих приспособлениях, а о новом изобретении, и не частности — особого молоточка или т. п. (таких тяжб XV век знал достаточно), а «нового искусства писать», дававшего не один, а сразу много экземпляров любого текста. И не вообще о совместном предприятии тяжущихся шла речь, а о реализации этого изобретения в общем их «деле книг», которое, кроме дохода, должно было принести еще и славу. Без этой посылки все анализы тяжбы, а тем более — реконструкции ее предыстории и последствий идут мимо цели.

Есть основания считать, что, вернувшись в Майнц, Гутенберг обзавелся небольшой типографией. Часть ее оснащения — словолитный инструмент, пунсоны, матрицы, небольшие отливки шрифта — должна была быть у него с собою; заем Гельтхуса был нужен, чтобы привести ее в рабочее состояние. Находилась она, видимо, — так сообщает Вимпфелинг в 1505 г. — в доме цум Гутенберг, хотя вряд ли унаследованном: владение им обеспечило бы кредитоспособность изобретателя (которой, как видно по долговому обязательству Гельтхуса, не было). Возможно, что вдовый с 1443 г. его деверь Клаус Витцтум предоставил ему там убежище; в чьи руки перешел Гутенбергхоф после смерти Витцтума в начале 1450 г., неясно; предполагается, что Гутенберг тогда сменил жительство на дом цум Хумбрехт, принадлежавший другому его родственнику — Хенне Залману, жившему во Франкфурте. Так же неясно, имелись ли у него изначально помощники и кто они были, какие пути свели его с Фустом и когда именно. Однако без работающей типографии, без зримой убедительности ее наличного geczuge и намечаемого нового, т. е. без показа проб набора и печати первого их «соглашения» не могло быть: под залог эксперимента Фуст денег бы не дал. На

что мог рассчитывать Гутенберг, подписывая такое огромное при скудости своих средств долговое обязательство? Предназначать заем только на geczuge значило заведомо запродать его Фусту (что можно было сделать более простым способом). Расчет изобретателя мог состоять только в том, чтобы на эти деньги, расширив свою типографию и отлив достаточно шрифта, выпустить отвечающее его планам и в то же время интересам многих людей — явно значительное — издание, продажа которого позволила бы ему расквитаться с заимодавцем. На одно типографское оснащение, включая шрифты, единовременных 800 гульденов не требовалось (подтверждение, что подразумевалось издание, — в словах Фуста, что ссуда назначалась на завершение некоего werck, так орудия производства не обозначались). Судя по тому, что договор об общем «деле книг» состоялся спустя более двух лет после ссуды, Гутенберг пытался сперва обойтись своими силами и пошел на совместное издание, только убедившись в их недостаточности. Этому несомненно «помогло», что Фуст ссуду выдавал по частям. Гутенбергу он, вероятно, каждый раз мотивировал неполноту очередной выплаты невозможностью достать нужную сумму. А на самом деле? Чтобы дать немалые деньги под залог малочисленного, а частью лишь проектируемого geczuge, Фуст должен был увидеть перспективу, т. е. не какую-то вообще продукцию, а издание, отвечающее его представлению о солидности и почетности дела, и услышать от Гутенберга о том большом издании, которое последний собирался осуществить на его ссуду, что единственно могло обеспечить ее возврат. Этот момент, сам по себе неизбежный, был и фатальным, ибо, плюс к стимулу выгоды (который к объекту своего приложения безразличен), вводил сильнейший — честолюбие: как видно из последующего, Фуст вознамерился стать соучастником (вряд ли сразу собственником) славы нового способа делать кни-

ги. Этого ни Гутенберг не учел, ни вслед за ним гутенберговеды. Условием Фуста при ссуде это быть не могло: он мог опасаться, что Гутенберг откажется от денег и поищет другого случая. Получив от Гутенберга вексель — таковым по существу была «запись их соглашения», — причем на полную сумму при вручении какой-то ее части (здесь изобретатель, видимо, попался на доверии), Фуст становился вроде бы хозяином положения: мог остальной части ссуды не давать, ежегодно требовать проценты с 800 гульденов, т. е. создавать для Гутенберга максимально невыгодные условия и тем вернее, казалось бы, получить его geczuge. Фуст этого не сделал, наоборот: не брал с Гутенберга процентов, ссуду растягивал, но выдавал (судя по недоданным 50 гульденам, после первой небольшими порциями). Для такого поведения были веские причины. Во-первых, на том этапе без Гутенберга, т. е. без владения секретом типографии, ценность его типографского имущества, сколь угодно умноженного и совершенного, немногим превысила бы стоимость затраченных на него материалов. И по относящейся к geczuge оговорке в векселе, что заимодавца не касалось, «будет оно стоить больше или меньше», учитывая тогдашнее состояние гутенберговской печатни (а не роль этого условия при развязке), можно заключить, что для Фуста в то время стоимость самого оборудования действительно была второстепенной: главное впечатление составлял «новый способ писать» и раскрытые изобретателем перспективы его применения. Иного пути стать причастным к тому и другому, как через общее «дело книг», у Фуста не было. Для того чтобы оно могло состояться, нужно было, с одной стороны, сорвать задуманное Гутенбергом издание, с другой — сохранить доверие и за собою — роль благодетеля. Ибо риск, что тот найдет другого компаньона, оставался (и залогом оборудования Фусту это право не исключалось). А нарастание процентов, увеличивая долг Гутенбер-

га, само работало на Фуста (тем более, что изобретатель его намерению процентов не брать поверил). Во-вторых, взимание процентов при неполной ссуде как с полной законным не было и при наличии свидетелей (вряд ли без них обошлось) могло вызвать неприятности. Так что отказ Фуста от процентов — скорее всего на предложение Гутенберга к концу первого годового срока — диктовался не только его дальним прицелом, но и осторожностью; вероятно, что Гутенберг предлагал проценты с реально полученных им денег, поставив этим Фуста перед выбором — либо отказа от них, либо саморазоблачения.

Что же все-таки подвигло Гутенберга на общее с Фустом «дело книг»? Быть может, именно неудача в поисках другого компаньона или денежной поддержки (надо думать, Фуст старался извне пресечь ему этот путь неблагоприятными для него слухами). Надо полагать, что и вексель не был бессрочным, в частной ростовщической практике это было невыгодно. Если исходить из временного соотношения его с договором о «деле книг» (их разделяет более 2,5 лет), толчком для этого договора могло служить надвигавшееся истечение ближайшего — тоже трехгодичного — срока. Устный характер договоренности об общем деле показывает, что Фуст еще пользовался доверием изобретателя. В «деле книг» партнеры были равноправны: вкладом Гутенберга была работа над изданием, т. е. секрет типографии. Он был и хозяином производства: Фусту как средстводателю вникать в типографскую технику было ни к чему (и до конца жизни он ею не владел). Мнил ли он, что его деньги сами по себе делают его соизобретателем, или, опутывая ими Гутенберга, полагал вынудить для себя эту р о л ь , — общее «дело книг» не сразу, но в корне меняло соотношение сил: секрет типографской печати становился достоянием новых людей, которые знали, что их работа оплачивается деньгами Фуста. Прежде всего — секрет на-

бора. Что именно это звено, а не производство шрифта в глазах Фуста было основным, видно по тому, что после тяжбы его печатня около 3 лет — до 1459 г. — держалась шрифтами Гутенберга, т. е. не имела человека, владеющего шрифтовой техникой (хотя словолитный инструмент, и вряд ли один, в составе залоге несомненно был). Обучение ей было, видимо, предпринято примерно за год до иска, но не в пользу Фуста. Отчасти это указывает, что он недооценивал ее значение, но главное — что на том этапе Фуст еще о возможности разрыва с Гутенбергом не мыслил, иначе постарался бы поставить на это верного себе человека, хотя бы из подмастерьев своего брата (Якоб Фуст был ювелиром); изобретатель тогда отказать вряд ли мог.

Были ли между партнерами столкновения до их разрыва? Заведомо: само условие «дела книг», раз с его завершением был связан выкуп гутенберговского geczuge, создавало противоположность их интересов. Вопреки принятой точке зрения, вовсе не Фуст, а Гутенберг стремился к скорейшему окончанию совместного издания — к выкупу типографии. Другое дело, что он при этом сохранял неизменную требовательность к шрифту и набору. И не исключено, что Фуст при случае — под предлогом лишних затрат, претензий своих вряд ли реальных заимодавцев и т. д. — взбивал пену вокруг гутенберговской «расточительности», «медлительности» и пр. (частью искренне, ибо в работе не понимал). Это просматривается сквозь рассказ Шеффера, переданный в Annales Hirsaugienses Тритемия (см. гл. VIII), будто до окончания третьей тетради — речь шла о совместном издании Гутенберга и Фуста — было истрачено более 4 тыс. гульденов — сумма фантастическая (удвоение общей суммы иска Фуста). И Шеффер, которому нужно было обелить своего тестя, а с ним и себя, умолчал, из чьих средств, за какое время и на что были истрачены такие деньги: в начале общего «дела книг» вклад Фуста,

включая и ссуду и первый взнос пая, вряд ли превышал 700—750 гульденов. В действительности именно Фуст растягивал сроки и запутывал расчеты, словно выжидал: для него завершение общего издания означало, что Гутенберг станет независимым, сам будет решать, быть Фусту соучастником славы изобретения или не быть, продолжать с ним сотрудничество или прервать. Уже поэтому Фуст не мог не искать путей, чтобы к этому моменту поставить Гутенберга в безвыборное положение. Гутенберг обладал в Майнце монополией на использование своего изобретения, без соглашения с ним никто здесь законно завести свою печатню не мог. И Фуст не к тому стремился. Немалую роль в этом играл заложенный ему типографский аппарат, который теперь — и вероятно не только ему — представлялся сокровищем. Но вряд ли целью его тактики было, завладев типографией, избавиться от Гутенберга: из того, что в отношении шрифтов разрыв застал его врасплох, можно заключить, что Фуст мыслил прикабалить к себе изобретателя уже как зависимого своего слугу.

Принято мнение, будто первая, «личная» печатня Гутенберга продолжала действовать наряду с типографией якобы «общей» — Гутенберга и Фуста. Подробности об этом далее, здесь лишь уточнения. Первое, чисто юридическое: общей типографии Гутенберга — Фуста никогда не было, Фуст до процесса и неплатежеспособности Гутенберга никаких прав на типографию не имел, только на свою долю в общем «деле книг». Сохранять вторую печатню Гутенбергу не было смысла: это увеличивало расходы на оборудование новой — и тоже его собственной — типографии (оказаться неоплатным должником он вряд ли рассчитывал), а прижимистость Фуста (растягивание ссуды) вынуждала экономить средства. Печатня его после ссуды лишь расширилась (была ли она уже в доме цум Хумбрехт, переехала ли тогда же или с началом «дела книг», судить

нельзя). И второе, хотя в данном контексте маловажное: «личная» печатня шла вразрез замыслам Фуста. Сам факт собственности Гутенберга на типографию и вытекавшая из него — во всем, кроме общего д е л а , — независимость с одной стороны, с другой — осторожные, но цепкие присвоительные маневры Фуста (вмешательство в работу своими советами, по-видимому, позы работодателя и т. п.) уже были поводом для нарастающей взаимной неприязни партнеров и для разной ориентации среди персонала.

Когда и почему мог произойти разрыв между ними? Одно можно сказать: он произошел, когда Фуст убедился, что его честолюбивые замыслы срываются. И это было связано с окончанием совместного издания. Но, судя по расчету времени и фустовского пая, не с тем, что Гутенберг превысил срок договора. Скорее — из-за какого-то спора, связанного с самим изданием. Конфликт можно датировать — весной 1455 г. и тем же сроком — прекращение фустовских взносов, но иск, в е р о я т н о , — концом лета, когда истекал срок договора. Есть признаки, что весной 1455 г. Гутенберг превратил в капитал свою страсбургскую ренту: за 1453—54 гг. сохранились записи о вручении очередных 26 гульденов ренты сперва некоему Йоханну Бунне (немецкая форма фамилии клирика Иоханнеса Бонне, упомянутого среди свидетелей Фуста при присяге), затем — его жене, на великопостной ярмарке 1455 г. без суммы — самому Гутенбергу. Судя по ярмарке, последнее произошло во Франкфурте (в записях объединены страсбургские и франкфуртские материалы). Записи об изъятии капитала нет, но при наличии такового монастырь св. Фомы не упустил бы наложить на него арест в возмещение долга. Изъятие капитала могло быть следствием разрыва с Фустом: возможно, что Гутенберг изыскивал средства для возврата ссуды. Но поименованные в акте Кеффер и Бехтхольд названы diner und knecht Гутенберга, т. е. их работа в тот момент

оплачивалась из его средств, не из фустовского пая. Не значит ли это, что к концу или по окончании общего «дела книг» он начал другое — собственное — большое издание? Это могло дать Фусту повод для обвинения его в растрате пая на свое дело. В действительности же это означало бы, что после весеннего конфликта Фуст сам искал примирения: возврат долга его ничуть не устраивал. Разрыв его с Гутенбергом мог состояться только при условии сговора с достаточно дельным участником работы над изданиями. Роль Шеффера в этом плане недооценена. В печатне Гутенберга он появился, видимо, к началу общего дела книг в качестве наборщика, т. е. владел ключевым тогда для Фуста звеном типографии. Недавний книгописец при Парижском университете (это известно из его колофона на списке Аристотеля с датой 1449), он более, чем Фуст, мог оценить значение изобретения и тоже связал с ним свои честолюбивые мечты, которых без Фуста достичь не мог: как видно по обороту manu pueri mei — «рукой слуги моего» — перед именем Шеффера в ряде фустовских колофонов, капитала у него не было. Произошел ли их сговор после весеннего конфликта между партнерами или намечался ранее, кем из двоих был спровоцирован, остается гадательным.

Ни намека на другие статьи иска в Хельмаспергеровском акте нет. И мало кто обращал внимание, что жалоба Фуста составлена как бы «на шармака»: и свой пай в «дело книг» он представил в качестве ссуды, об общем предприятии умолчав, и проценты присчитал с обеих сумм, и с недоданной ссуды как с единовременной. Цель этой статьи иска была в том, чтобы получить в собственность печатню со всем оборудованием и изданиями, избавившись от ставшего поперек его планам и теперь ему ненужного Гутенберга. Исключив Гутенберга, Фуст становился собственником его изобретения, ибо в монополии на использо-

ванне изобретенных орудий и на созданную посредством их продукцию состояло в то время изобретательское право. Банкротства ли изобретателя он добивался? В недальновидности Фуста так же трудно обвинить, как в порядочности. Право на возврат ссуды с процентами ему давала долговая расписка Гутенберга. Эту сумму Фуст постарался умножить за счет якобы внесенных им самим простых и сложных процентов (не случайно из двух видов доказательства — свидетелей и присяги — он выбрал последнее). Но и это право могло быть оспорено, если были свидетели неединовременности ссуды (и Гутенберг в своем ответе суду его оспаривал), тем более — остальные «присчеты». Не знать этого Фуст не мог. И знал, что разоблачение его весьма грубой стряпни повредит его деловой репутации. Значит, считал, что такового не последует, словно ни Гутенберга уже не было, ни свидетелей. А надо думать, что при судебном разбирательстве их было больше, чем при присяге. Часть из них, как видно по Шефферу и Бонне, Фуст перекупил, но вряд ли всех. Подкупить весь состав майнцского суда было вне его возможностей: имена судей неизвестны, но заведомо это были люди небедные. Подавить их авторитетом — своим и своих свидетелей? Авторитет судей перевешивал. Ergo, стряпая первый пункт иска, Фуст мог полагать, что он пройдет, только введя некую третью силу, какие-то вне денежной сферы лежащие особые аргументы, при помощи которых рассчитывал исключить неудобные для себя свидетельства и определить решение суда по этой статье. Иначе он обрекал себя на провал. Провала не последовало, судебное решение до странности формально: признаются все условия Zettel irs uberkummens, включая всяческие проценты, хотя ссуда была дана не единовременно и еще недодана; оговорка, что, буде при отчете обнаружится остаток фустовского пая, он должен быть перечислен на восполнение ссуды, увеличивала и долг

Гутенберга и проценты с него. И еще: вопреки принятой практике — учитывать при расчетах результаты, независимо от их готовности, совместного предприятия тяжущихся, о них в постановлении суда речи нет. Поэтому и могло быть, что вместе с типографией вся сделанная со времени ссуды, непроданная готовая и неготовая, продукция ото-шла к Фусту. Ограничение залога одним geczuge, откры-вавшее Гутенбергу возможность расквитаться с долгом,

Viderūt aūt tibi assumptiones
falsas et eiectiones. Samech.
Plauserūt sup te manib; omēs
trāsiūtes per viā. sibilauerunt
et mouerūt capita sua sup filiā
ihrlm: heccine est urbs dicentes
pfecti decoris: gaudiū uniūse t=
re. Phe. Aperuerūt sup te os
suū omēs inimici tui: sibilaue=
rūt et fremuerūt dentib; suis: et
dixerūt deuorabimus. En.
Ista est dies quē expectabamꝰ:
inuenimus. vidimus. Ayn.

Столбец 36-строчной Библии. Фрагмент.

тоже во внимание принято не было. Достать нужную сумму он явно не смог, что и означало разорение его дела.

Тем не менее расчет Фуста оправдался не вполне. Монополии на использование изобретения (т. е. всего наличного в тот момент geczuge) он не получил: как видно из дальнейшего, после суда произошел — не к выгоде изобретателя, но все же раздел типографского имущества. Поскольку оно было заложено независимо от стоимости, при описи печатни вопрос решался формально: Гутенбергу оставалось то, что было сделано ранее ссуды, на спорную, т. е. лишь улучшенную на эти деньги часть налагался арест до ее выкупа, остальное отходило заимодавцу. Это значит, что не вполне сработало нечто главное, на что Фуст возлагал надежды. Свидетели, раскрывшие подтасовки его иска, нашлись: со слов одного Гутенберга ни суд, ни, конечно, сам Фуст разделения двух вложений — ссуды и пая в общее дело — признать не могли, также и неполноты ссуды. Таким образом, несмотря на выигранный процесс, нечестность его приобрела очевидность и огласку. Кроме того, по некоторым признакам можно думать, что он полагал избавиться от Гутенберга вообще в Майнце: Фусту это было необходимо, чтобы спокойно пользоваться как изобретением, так и изобретательской славой. И громоздить ложь за ложью — почти как на покойника — в первом пункте иска имело смысл только при этом условии. Ко времени разбирательства первой статьи это не состоялось. Но и далее: оба первые вопроса Якоба Фуста к представителям Гутенберга при присяге — «Зачем они здесь? Что они здесь делают?» — процедурными не были. Они показывают, что ему вошедшие были известны (иначе — и процедурно правильным — был бы вопрос, кто они) и что их появление для него было неожиданно. Возможно, что оба брата о неявке Гутенберга знали заранее и мыслили обыграть ее как неповиновение суду (см. заявление Йохан-

на Фуста перед присягой, что Гутенберг «не подчинился»); присутствием его представителей это исключалось. И в целом избавиться от него не вышло.

Есть детали, позволяющие полагать, что в тяжбе некую роль играли отголоски страсбургского периода Гутенберга. Одноименность названного в числе его представителей при присяге священника Хейнриха Гунтера с казначеем страсбургского монастыря св. Фомы, в 1444—53 гг. регистрировавшим поступления процентов по гутенберговскому долгу, обычно игнорируется. В акте он обозначен как бывший — etwan — священник майнцской церкви св. Христофора. В том же приходе — к коему относился Гутенберггоф — с 1460-х гг. и до своей смерти в 1491 г. известен священник того же имени, и принято считать их за одно лицо, не поминая о монастырском казначее. Делались даже попытки читать не etwan, а erban — «будущий», хотя нотариальный акт — не пророчество. По временному соотношению тождество со страсбургским Гунтером более правдоподобно (в таком случае приход в Майнце он имел либо ранее 1444 г., либо параллельно своему страсбургскому пребыванию). В пользу этого говорит также одноименность одного из свидетелей Фуста — майнцского клирика Иоханнеса Бонне с получавшим в 1453 г. страсбургскую ренту Гутенберга Йоханном Бунне: вряд ли вероятно, чтобы свидетелями в этом процессе были двое людей, одноименных и неидентичных с упомянутыми в связанных с Гутенбергом страсбургских записях близких к тяжбе лет. Были ли оба они причастны к «делу книг», неизвестно (в Хейнрихе Гунтере предполагали корректора издания, но таких данных нет; Бонне назван рядом с Шеффером, который был наборщиком; выделение корректорских функций в тот период сомнительно). Независимо от участия того и другого в работе типографии, их присутствие на процессе означало, что оба компаньона нуждались в страсбургских

свидетельствах и что эти два человека в противостоянии Гутенберга и Фуста играли ныне неясную, но противоположную роль. Почему Гутенберг не сам присутствовал при присяге Фуста, остается закрытым. Была ли присяга кульминацией драмы или уже спадом, по акту судить нельзя.

Так предстает процесс Фуста против Гутенберга при непредвзятом чтении Хельмаспергеровского акта. Что в сети Фуста попался не иждивенствующий эстет, не авантюрист, не делец, а добросовестный человек дела с присущим таким людям прямым сознанием чести, прав и обязанностей, если не мудрить, видно с первого взгляда. Эти люди, как правило, мира фустов не понимают, на чем и строил свою тактику Йоханн Фуст. В данном случае дело не только в соотношении личности и безличья: традиция защищать Фуста препятствует установлению печатной деятельности изобретателя. В том, что приговор суда означал крушение замыслов Гутенберга, сомнения редки, чаще — преувеличения катастрофы. Полного поражения не вышло: как ни незначительно было оставленное ему типографское имущество, оно означало, что у него осталось главное — право использовать свое изобретение, которое хотел, но не смог монополизировать Фуст: после процесса в Майнце действительно стало две типографии, одна — Гутенберга, другая — собственность Фуста. И, вопреки стараниям последнего, полагавшего придушить известность Гутенберга как изобретателя книгопечатания при ее рождении и «втихаря», она — отчасти благодаря тяжбе — пустила корни и в Майнце и во вне.

* *
*

Глава V

«Дело книг»

Шрифты и издания Гутенберга

Отправной точкой для реконструкции типографской деятельности Гутенберга послужило сообщение «Кельнской хроники», что «1450 год был золотым годом, когда начали печатать, и первая книга, которую напечатали, была Библия по латыни, и была она напечатана очень крупным шрифтом, каким ныне печатают миссалы». Таким образом, признаком изданий изобретателя сразу стал шрифт. И развитие шрифтологического метода блестяще служило их изучению. Тупиковым он стал лишь в той мере, в какой использовался не по назначению — для «образа Гутенберга». Три четверти века различных мутаций этого «образа», наслоившихся на аксиому майнцского приоритета и фустовской правоты, спутали критерии в отношении той группы изданий, которая связывается с изобретателем. Наложение на эту путаницу другой упрощенческой схемы — предпринимательской — освободило исследование только от шрифтологического догматизма: активизировав ревнителей фуст-шефферовской защиты, она заслоняет пути к истории изданий Гутенберга, которая, если свести вместе накопленные наблюдения, при всех неизбежных пробелах и вопросах, вырисовывается яснее, чем принято считать.

Итак, в 1450 г. начали печатать Библию шрифтом миссала. Библия, по которой месса не читалась, литургическим письмом, как правило, не писалась, а значит — не печаталась. Отвечающих известию «Кельнской хроники» издания оказалось всего два. Одно, более крупное по шрифту, в 882 листа большого in-folio обозначается по числу строк на странице как 36-строчная Библия (кратко B^{36}), другое с несколько меньшим и более узким шрифтом, также боль-

шой фолиант в 641 лист по 42 строки — как 42-строчная (B^{42}). Строчные буквы обоих шрифтов при разнице пропорций (в B^{36} отношение высоты и ширины примерно 3:2, в B^{42} — 2:1) сходны по рисунку, заглавные разнятся. Особенностью этих шрифтов являются так называемые примыкающие буквы, т. е. такие, в которых свойственные готическому письму ромбические утолщения на концах вертикальных штрихов сглажены для того, чтобы при наборе, когда рядом стояла буква с выступающей верхней частью («е», «с» и др.), достигать равномерности вертикальных интервалов черного и белого на странице; той же цели служат и «нависающие буквы» (в буквах, у которых выступающая над строкой часть загнута вправо — «f» и др., она выходит за границу очка литеры так, чтобы строчные буквы без верхних мачт могли быть вдвинуты под нависающий изгиб). По этим свойствам видно, что создатель обоих шрифтов не просто исходил из начертаний служивших ему образцом книжных почерков, а стремился превзойти книгописное искусство. Это умножало число знаков в наборной кассе и затрудняло процесс набора, без того сложный из-за сокращений, лигатур (связанных в одной литере буквосочетаний), разных форм одной буквы и других особенностей книжного письма той эпохи. Такая задача сама говорит о первопроходческом времени обоих изданий, сходство в рисунке шрифтов и принципах набора — об общности печатника. Обе Библии были отнесены к Гутенбергу, а осложненность наборной практики стала поводом объяснять иск Фуста медленностью работы, оттягиванием срока и пр. Сперва многие склонялись к тому, что B^{36} печаталась ранее, чем B^{42}: в более крупном шрифте, единичных нарушениях сложной системы знаков, не столь совершенной приводке (совпадение зеркала набора обеих сторон одного листа) видели некоторый примитивизм. Вопрос стоял о том, создавалась ли она до договора с Фустом или являлась

Страница 42-строчной Библии

целью общего «дела книг», что отодвинуло бы B^{42} на период после тяжбы. Сторонники такого решения утверждали, что из рук одного человека не могло выйти два издания столь якобы разного уровня и что B^{42}, по красоте схожая лишь с Псалтырью 1457 г., могла быть создана только Шеффером. Подтверждение своей идеи они искали в том, что Шеффер до прибытия в Майнц был писцом, считая, что это обеспечивало его каллиграфическое мастерство, коим Гутенберг в качестве техника будто владеть не мог (хотя ювелирное дело было художественным — графическим — ремеслом). Эта позиция была опрокинута записью майнцского викария Хейнриха Кремера на экземпляре B^{42} парижской Национальной библиотеки о том, что иллюминацию, рубрикацию и переплет этого экземпляра он закончил в августе 1456 г.: из расчета, что на его работу над книгой такого объема должно было уйти около года, время окончания печати относилось на конец 1455 г. Так B^{42} была отождествлена с «делом книг» Гутенберга и Фуста. В ней и стали искать причину конфликта между компаньонами. Были установлены (в основном трудами К. Дзяцко, Г. Цедлера, П. Швенке) этапы работы над нею.

Запись Х. Кремера на экземпляре 42-строчной Библии

Различия в начальных тетрадях обоих томов (в частности, первые листы части экземпляров содержат не 42, а 40 строк) указывают, что в процессе печатания был увеличен тираж и пришлось заново набирать и допечатывать текст уже оттиснутых листов (тираж B^{42} по наличным экземплярам рассчитать нельзя, но по времени и деньгам, ушедшим на производство, из предлагаемых цифр более вероятны 180—200, чем 80—100; часть его печаталась на пергаменте; увеличение тиража прослежено на экземплярах бумажных). По различиям в орфографии, пунктуации и т. п. было определено, что начинали издание 2 наборщика (т. 1, л. 1—32, т. 2, л. 1—16), потом появились третий и четвертый (т. 1, л. 129—158, т. 2, л. 162), с увеличением тиража их стало 6. В некоторых экземплярах в первых тетрадях встречаются красные строки и унциальные — типа псалтырных — заглавные, оттиснутые вторым прогоном, в остальном они вписаны от руки (и есть экземпляры с вплетенным перечнем заголовков для рубрикатора) *. К моменту увеличения тиража был уменьшен кегль шрифта и заменены отдельные знаки. В увеличении тиража и увидели результат первого скандала между художником и дельцом из-за лишних затрат и медленности работы, а в неизменном до конца совершенстве издания — право распространить этот миф на причины процесса. Так появился вопрос, было ли печатание B^{42} закончено ко времени суда. Была, правда, попытка — поскольку результаты общего дела не упомянуты в судебном решении — представить Гутенберга разбогатевшим на продаже издания (но почему-то не расплатившимся с Фустом). На том же основании большинство принимает, что издание закончено не было. При этом одни полагают, что Гутенберг до последнего «гнал» печатание и, хотя ко времени суда опоздал, но B^{42} завер-

---

* Аналогичный список известен и для B^{36}.

шил. Другие убеждены, что она закончена Шеффером, выводя из почти одновременной записи Кремера на обоих томах (на первом она датирована 24, на втором — 15 августа), что он получал оба тома по мере печатания, и находя тому подтверждение в лакунах парижского экземпляра. Одно другому противоречит: для 1456 г. параллельная печати работа рубрикатора предполагала бы полноту экземпляра. О напряженности, с какой шла работа над B^{42}, говорит малочисленность изданий в ее шрифте, которые можно было бы отнести ко времени ее печатания. Отрывок доната, совпадающий с теми листами Библии, которые оттиснуты до увеличения тиража, видимо, представляет первую пробу шрифта. Лист литургической Псалтири (рукописная нумерация «33» позволяет рассчитать объем на 40 листов) по числу строк, набору, некоторой сношенности шрифта соответствует последним листам B^{42}. И все. Из фрагментов 27 изданий доната, в которых шрифт еще более сношен, 12 украшены цветными псалтырными инициалами, и два из них сохранили колофон с именем Шеффера. Поэтому ему же приписываются и донаты без инициалов. Шеффер в этих колофонах назван без Фуста, и долго считалось, что все донаты вышли после смерти последнего (ум. в 1465—1466 гг.). На этом строилась идея, будто шрифт B^{42} после тяжбы оставался у Гутенберга, подразумевался в расписке Хумери и к Шефферу перешел уже от него. Идея отошла как противоречащая смыслу векселя.

Отождествив B^{42} с werk der bucher Гутенберга и Фуста, надлежало найти место B^{36}. Была тенденция приписывать ее первому печатнику Бамберга Альбрехту Пфистеру, поскольку его — датированные и подписные — издания 1461—64 гг. печатались ее шрифтом. Но отпала. В изданиях Пфистера наблюдается отказ от гутенберговской системы набора (или ее непонимание). А главное: по мере изучения инкунабулов выявились фрагменты, пробные оттиски, бро-

шюры в том же шрифте, отражающие различные его стадии, начиная от весьма примитивной, что дало основание считать этот шрифт первичным шрифтом Гутенберга. По преобладающему характеру изданий он получил название шрифта донатов и календарей (сокращенно DK). Тогда и появилась гипотеза, что B^{36} печаталась до договора с Фустом. Обратная последовательность обеих Библий была установлена К. Дзяцко в 1890 г.: путем сравнения экземпляров B^{36} и B^{42} он выяснил, что, кроме первых нескольких листов (т. 1, л. 1—4, т. 2, л. 1—2), B^{36} перепечатана с B^{42} (пропуск в тексте, по которому видно, что наборщик B^{36} перевернул вместо одного два листа лежавшего перед ним экземпляра B^{42}, обнаружен позднее А. Дольдом). B^{36} переносилась на период после тяжбы; уточнение дала запись 1461 г. о рубрикации на листе B^{36} Национальной библиотеки в Париже. Значит, печатание было завершено не позднее начала того же или конца 1460 г. То, что Гутенберг для своей второй Библии использовал этот, а не более экономный шрифт B^{42}, подтверждает, что последний отошел к Фусту. Состояние шрифта DK в B^{36} указывает на новую отливку и дополнение рядом новых знаков. Оно представлено еще — с некоторыми промахами в наборе — однолисткой с молитвой Respice domini Экберта фон Шенау (Библиотека Мюнхенского университета).

Шрифты обеих Библий нашли применение в двух индульгенциях (Litterae indulgentiarum; в дальнейшем LI) для сбора средств на защиту Кипра. Обе они напечатаны разными мелкими шрифтами канцелярского типа. Для выделения надлежащих слов в одной (31-строчной) использован шрифт DK, в другой (30-строчной) — вариант шрифта B^{42}, в обеих по три литых инициала, для каждой свои. Обе известны в нескольких вариантах (LI 31 — в семи, LI 30 — в шести), т. е. набирались и печатались по несколько раз. Надо уточнить: индульгенции — не издания

в собственном смысле, а бланки грамоты — свидетельства о некоем взносе, с пустыми местами для имени и даты, которое по заполнении представлялось даятелем своему духовнику и избавляло от тех или иных форм церковного покаяния; сам бланк имел твердую цену. Массовые индульгенции объявлялись по чрезвычайным поводам — для постройки значительных храмов, в случае особых бедствий и т. п. Распространять индульгенции назначались определенные лица (в данном случае Паулино Цаппе или Чаппе), которые препоручали это своим уполномоченным. Печатание бланков могло иметь место только по заказу церковных инстанций, которым и подлежал вручению весь тираж. Повод для этой индульгенции в самом деле был чрезвычайный: после падения Византии турецкое нашествие захватывало острова греческого архипелага и заливало балканские страны. Кипрский король обращался за помощью к папе. В октябре 1454 г. папский легат проповедовал в Германии крестовый поход против турок. Срок действия индульгенции в пользу защиты Кипра кончался 1455 г. Даты заполнения отдельных сохранившихся бланков позволили заключить, что LI 31 больше распространялась в 1454 г., а LI 30 в следующем (известны ее варианты с печатным годом — один с 1454, два — с 1455). Время и выделительные шрифты обеих индульгенций дали основание относить их к гутенберговской печатне. В индульгенциях — как тормозивших совместное издание — искали повод конфликта между партнерами и причину незавершенности к сроку B^{42}.

Вторичность B^{36} по отношению к B^{42} толковалась в противоположных направлениях. Одни сочли это свидетельством, что первый шрифт Гутенберга оставался в его руках до 1461 г. (когда перешел к Пфистеру), так как, будучи сделан до ссуды Фуста, не подпадал под заклад. Сторонники этой позиции строили хронологическую цепь изданий, исходя из постепенности улучшения шрифта, техники на-

бора — и из майнцского приоритета. Датировка фрагментов в шрифте DK строилась на так называемом «Астрономическом календаре» (далее АК), рассчитанном на 1448 г. — немецкой однолистке, печатание которой по ее назначению относили к концу 1447 г. АК — наиболее совершенное из мелких изданий этого шрифта, безукоризнен по типографской технике и системе набора, а по составу знаков приближается к B[36]. Самую раннюю ступень представляет «фрагмент о Страшном суде» (Fragment vom Weltgericht) — двусторонний отрывок в полстраницы из немецкой «Сивиллиной книги», текст которой в целом мог занимать около 27 листов. Нерезкость контуров литер, их наклон в разные стороны, неровность линии строк говорит о недоработанности производства шрифта; нет также выключки строк (выравнивание правого края полосы), что читалось как признак неумелого набора. Фрагмент был приурочен к Майнцу, ко времени около 1445 г., всего за два года до АК (тогда думали, что Гутенберг из Страсбурга сразу вернулся в Майнц). Различные стадии шрифта DK отразились в отрывках разных изданий Доната (их сейчас известно 24); среди них есть близкие к «Фрагменту о Страшном суде» (два 28-строчных, найденные в страсбургских переплетах 1480-х гг.) и близкие к АК, на чем и основывалась их хронология. Логику построения нарушали косвенно датированные издания этой группы. Из них так называемый «Турецкий календарь» на 1455 г. — немецкая брошюра в 6 листов (озаглавлена Mahnung der Christenheit wider die Türken), в которой календарная форма использована для воззвания к борьбе против турок, кончается новогодним пожеланием, т. е. должна была выйти не позже конца 1454 г. К 1456 г. относятся издания — латинское и немецкое — «Турецкой буллы» папы Каликста III, служившей той же цели. На 1457 г. рассчитан «кровопускательный и слабительный» календарь (Aderlass und

Laxierkalender) — указатель дней и сочетаний созвездий, когда полезны эти процедуры. К нему по шрифтовым данным примыкает немецкий «Цизиан» *, служивший для заучивания постоянных церковных праздников, и Provinciale Romanum — список епархий Римской церкви: в них шрифт уже изношен. Все эти издания по составу шрифта и набору ниже АК. Такой как бы регресс объясняли тем, что АК был рекламным изданием.

Противоположная этой линии позиция (ее крайние представители — Хупп, Швенке, затем Вемер) исходила из уже упомянутой альтернативы — либо B^{36} (и все вообще издания шрифта DK), либо B^{42}, но с тем, что последняя создана Гутенбергом. Объявив шрифт DK неуклюжим подражанием шрифту B^{42}, для изданий шрифта DK — от «Фрагмента о Страшном суде» до B^{36} включительно — придумали некоего «печатника Турецкого календаря», якобы отделившегося в 1454 г. от первой типографии ученика, который, начиная с АК, пытался даже конкурировать с нею. Чтобы мотивировать позднюю датировку АК, были привлечены (в 1947 г.) историки астрономии, объявившие, что он, хотя рассчитан на 1448 г., являясь таблицей планет для неученых астрологов, для них «годился» вплоть до 1459 г. Сняв таким образом обязательность датировки 1447 г., принялись перекраивать шрифтологическую схему. АК, от которого дошел лист собственно издания и пробный оттиск (Ягеллонская библиотека, Краков), напечатан неполной новой, подготовленной для B^{36} отливкой шрифта DK; в окончательном виде АК в сравнении с пробным оттиском заменены те же формы букв, которые почти не встречаются в B^{36} и преобладают в «Турецком календаре» и близких к нему изданиях. Вывод: АК печатался непосредственно перед B^{36} (т. е. в 1458—59 гг.!). Хронологическая

---

* Испорченное Cisio Janus — первые слова латинского календаря.

близость начала B^{36} и АК несомненна: среди пробных оттисков Ягеллонской библиотеки, наряду с 27-строчным донатом, есть пробный оттиск Библии (но в 40 строк) той же стадии шрифта DK. И все эти оттиски сделаны на листах долговой книги майнцского торговца сукном. Это означает и единство печатника. Обособив его от Гутенберга и всячески охулив — и небрежен в выборе и в передаче текстов, и не понял, на какой год рассчитан АК, и оставил в нем страсбургскую, а не майнцскую дату дня св. Маргариты, и пропустил страницу при печатании B^{36} (что в ряде экземпляров исправлено), и не владел выключкой строк, и не умел резать пунсонов (в B^{36} встречаются «ложные» — составленные из двух опиленных букв лигатуры, в шрифте DK нет W для немецких текстов) и т. д., — связали его отпочкование с потребностью в индульгенциях, не задаваясь вопросами, кто в таком случае резал для него пунсоны, как он сумел сразу шагнуть от «Сивиллиной книги» к умелой работе обеих LI. Смысл был в том, чтобы исключить издания шрифта DK из сферы гутенберговедения, дабы «избавить» Гутенберга от «ярмарочной литературы». Его печатная деятельность сводилась к совершенству B^{42} и к двум изданиям в ее шрифте.

Впрочем, не всеми. В 1898 г. О. Хупп обнаружил — тогда единственный — экземпляр (ныне их всплыло 4 плюс фрагменты) служебника, который по элементам литургии сперва был отнесен к констанцской епархии и обозначен как Missale speciale Constantiense (далее MS). Этот Миссал, печатанный в два цвета меньшим из двух шрифтов Псалтыри 1457 г., без псалтырных инициалов и унциальных заглавных, Хупп провозгласил первым изданием Гутенберга. Шрифт MS по добавочным знакам и системе набора совпадает — не с первой, как считал Хупп, а со второй стадией шрифта Псалтыри, но принадлежит к другой, менее резкой отливке. Сама печать весьма примитивна: две

разные черные краски, недостатки оттиска подправлены пером. И в Каноне — постоянной части богослужения — против обычного не более крупный, а тот же самый шрифт. Над изданием работали мастер и два помощника. Во всех экземплярах наблюдаются варианты набора (признак либо неумелости печатников, либо того, что служебник печатался по мере надобности). В 1925 г. нашлось еще одно издание того же шрифта — сокращенная версия Missale speciale (но с вариантами в элементах мессы), обозначенное как Missale abbreviatum (MA). В нем, плюс к примитивизму печати, на свободном листе перед Каноном вклеена гравюра — положенная в этом месте сцена распятия с богоматерью и ап. Иоанном, — сделанная посредством притирания (техника, с распространением печатного станка выходившая из употребления). Гравюра датируется в границах 1450—65 гг. с допущением на 5 лет более раннего или более позднего срока. Все вместе позволило Хуппу выдвинуть и страстно отстаивать гипотезу, что оба миссала напечатаны Гутенбергом между 1444 и 1448 г. либо в Страсбурге, либо в Базеле, последнее потому, что все (кроме одного — аугсбургского) экземпляры происходят из базельской округи и в переплетах базельского типа. Спор вокруг Missale speciale разгорелся сразу и сперва исходил от позиции, что псалтырные шрифты созданы Шеффером. И здесь Хуппа били его же оружием, ибо основной довод при отрицании за Гутенбергом изданий шрифта DK был в том, что примитивизм не означает раннего года издания. Довод верный лишь отчасти, ибо примитивизм примитивизму рознь, и потому — если нет опоры в колофонах и других твердых данных, — скользкий, так как открывает простор произволу, тем более когда касается начала книгопечатания. В ходе спора шло и исследование обоих служебников. Повторный анализ литургической стороны MS показал, что он, хотя строился на базельских миссалах, ни с какой епархией не

связан; принято, что оба миссала назначались для богослужения в часовнях на местах паломничества и других подобных. В обоих есть праздники, в части германских епархий принятые в 1450—60-х гг. (в общецерковном обиходе они были с XIII и XIV вв., хотя отмечались неповсеместно). Сейчас спор считается закрытым благодаря вмешательству историков бумаги, которые объявили, что сорта ее по водяным знакам относятся к швейцарским — базельским или бернским — мельницам после 1470 г. По этому поводу была разработана (А. Стивенсоном) методика, основанная на деформации филиграней по мере износа сетки при неизменности точек их прикрепления к ней, которые в разных сетках якобы неповторимы. Исходя из того, что книгопечатание, создав повышенный спрос, исключало залежность бумаги (что для 1470-х гг. верно), MS и MA по аналогии состояния филиграней с датированным шпейерским изданием относятся к 1475 г.; в качестве печатника предлагается некто Йоханн Кох (или Мейстер) из Фельдкирха, известный по базельским судебным протоколам 1479—81 гг., отражающим его расчеты с заказчиком по нескольким служебникам (неясно, печатным ли). Несмотря на внешнюю стройность, выводы преждевременны. Бумага с теми же филигранями встречается, кроме Базеля и Шпейера, в майнцских и страсбургских инкунабулах, что предполагает большую мельницу, которая не могла не отразиться в местных архивах; о таких изысканиях речи нет. Обследованы печатные издания после 1470 г., о рукописных материалах более ранних не упоминается. Деформация филиграней имела свою периодичность, т. е. ту или иную меру повторности. Каждая бумажная мельница имела не одну, а несколько сеток. Неповторимость точек прикрепления в разных сетках при том, что филиграни были фирменными марками, не бесспорна. И т. д. В таких случаях любая датированная находка может опрокинуть все выво-

ды, с чем и археографам и книговедам нередко приходится сталкиваться.

Другая сторона той же гипотезы Хуппа обретает все большую реальность: при единовременной трехцветной печати Псалтыри 1457 г. (текст черным, унциальные заглавные красным, инициалы в две краски — красным и синим) на печатание ее тиража, в основном пергаменного (это создавало трудности при оттиске) должно было уйти около двух лет (надо учитывать также время ареста и раздела типографии), это значит, что аппарат Псалтыри был сделан еще Гутенбергом. Псалтырные шрифты обладают всеми особенностями его системы (шрифтам Шеффера они не свойственны), для одного шрифта B^{42} даже половины ссуды не требовалось. Вывод: отсуженное Фустом geczuge включало шрифты и инициалы, подготовленные Гутенбергом для Псалтыри. Дальнейшее исследование (И. Массона) показало, что с наибольшей вероятностью около 1/3 ее и напечатано было при нем. В Псалтыри, кроме частных отличий, связанных с трудностями печатания (осыпание набора при окраске инициалов), — два завода, один — в 143 листа, другой, включающий 32 листа молитв, — в 175 листов. Листы 41—114 совпадают в обоих заводах, листы 2—40 и 115—143 разнятся, т. е. набирались повторно в связи с увеличением тиража; ту часть, которая напечатана до увеличения тиража, и приписывают Гутенбергу. Молитвы, добавленные при Фусте и Шеффере, относятся к майнцской епархии, завод без молитв мог служить в любых местах. Раз псалтырные шрифты созданы Гутенбергом, шрифт на стадии MS должен восходить к нему же. Из того, что Шеффер употреблял псалтырные шрифты до 1502 г. и соблюдал на них монополию (от 1470-х гг. известна его книготорговая афиша, где в числе прочего указана Псалтырь с образцом ее большого шрифта), следует, что отливка малого псалтырного на стадии MS не подпадала под залог

Фусту, т. е. была сделана до ссуды. Принимая вердикт историков бумаги, большинство полагает, что шрифт попал к некоему базельскому или страсбургскому печатнику от Гутенберга после процесса. Странно лишь, почему он ранее не пользовался им сам. Исходная точка спора — шефферовское «авторство» на аппарат Псалтыри отпадает. И рукописным колофоном Шеффера это подкрепляется: инициал в нем не рисованный в стиле книжном, как псалтырные, а выписной, с нажимами и петлями в духе письма делового (и далее такие инициалы в его изданиях приняты).

В этой связи и отошла альтернатива между шрифтами B42 и DK, а вместе с нею «печатник Турецкого календаря». Отделение какого-либо ученика в 1454 г. в Майнце условиями «дела книг» исключалось: здесь монополия на типографию только после тяжбы сменилась монополией на тот или иной шрифт. Всем, кто участвовал в предприятии, предписывалось сохранение тайны: есть свидетельство Шеффера, переданное Тритемием, что со всех помощников и слуг бралась клятва ее не разглашать. (Retinuerunt autem... hanc artem in secreti, omnibus ministris ac familiaribus eorum ne illam quoque modo manifestarunt jurejurando astrictis...). Письмо пропорций шрифта DK встречается в высоких образцах рукописной книги. Совершенство B42 предполагает длительную работу над шрифтом и набором. Мелкие издания шрифта DK рассчитаны на массового адресата, благодаря малой затрате труда, материала и быстрому сбыту представляли верный источник дохода. И на всех этапах они выполнены с тщательностью. Дед изобретателя был сукноторговцем, а значит, листы долговой книги, на которых сделаны пробные оттиски Ягеллонской библиотеки, — тоже признак, что делались они у Гутенберга. Но эти доводы (В. Менна) были признаны лишь в связи с возрождением старой гипотезы (Хуппа, Цедлера), что конечной целью Гутенберга было напечатать миссал. Для

совершенного своего воплощения миссал требовал четырех шрифтов. Из них 2 — для Канона — представлены в Псалтыри, шрифт B^{42} — шрифт хоралов, а шрифт B^{36} годится быть шрифтом текста, что само по себе убедительно (и среди псалтырных инициалов есть особо великолепное «Т» для начала Канона, впервые именно так употребленное Фустом и Шеффером в 1458 г.). Возродилась гипотеза в версии Цедлера, считавшего, что сперва целью договора о «деле книг» был миссал, а не Библия. Но с добавлением, что первое «соглашение» (вексель!) уже подразумевало второе (так задумал Фуст). Постулируется, что миссал намечался майнцский, а замысел связывается с вопросом об унификации богослужебных книг, не весьма эффективно с 1431 г. возбуждаемым Николаем Кузанским. Объяснение, почему вместо миссала печаталась B^{42}, дается разное. Одни полагают, что к 1452 г. еще не был готов типографский аппарат миссала (но тогда зачем Фуст тянул со ссудой?), и Гутенберг по настоянию Фуста принялся за издание в одном шрифте, дабы ускорить доход с капиталовложений (каковыми ссуда под вексель не является, Гутенберг мог эти деньги хоть бросить в Рейн), другие — что не была закончена редакция майнцского миссала (если начиналась). На деле печатать в Майнце миссал без санкции церковных инстанций вряд ли было мыслимо. Был замысел, но не возможность.

«Амнистирование» шрифта DK и породило идею второй, «личной» типографии Гутенберга, которая подменяет мнимого «печатника Турецкого календаря» самим изобретателем. Об имущественно-правовой стороне этой идеи говорилось выше. Подвести под нее две якобы разные «издательские программы» удавалось, пока дело шло об ином владельце, при одном программного раздела провести нельзя, издания народноязычных эфемерид и донатов с латинскими Библиями в XV в. сочетал не один Гутенберг. Ве-

роятно, что мелкие издания в шрифте DK были ученическими работами начинающих наборщиков типографии: другой школы не было. Основной довод (А. Капра) в пользу двух типографий: нерационально создавать в одном предприятии одновременно, для одной и той же индульгенции 2 однотипных, но разных шрифта; матрицы позволяли неограниченную отливку любого из них, заказ был срочный, норма нынешнего резчика — 2—3 пунсона в день, на оба шрифта ушло не менее 2—3 месяцев. Но разница шрифтов в кипрских индульгенциях без натяжки объясняется в пределах одной типографии: индульгенции печатались по двум заказам — LI 31 для майнцской, LI 30 — для кельнской епархии, к тому же несколькими заводами. Разница шрифтов имела производственно-организационное значение: индульгенции каждого заказа должны были отличаться зрительно во избежание путаницы при подсчетах, отправке и пр. Внешняя разница могла быть и условием заказчиков, дабы распространители не переходили своих границ (кельнский заказ поступил, видимо, позже). Существенно другое: с индульгенциями можно связать обучение производству шрифта двух новых людей (привлекался ли кто из персонала к созданию четырех «миссальных» шрифтов, кроме отливки, сомнительно, попытки провести между ними стилевые различия тщетны). Остается открытым, работал ли кто из этих двоих с 1459 г. на Фуста и Шеффера или оба отъехали в другие места обзаводиться своим делом. Так каждый из предлагаемых признаков второй печатни объясняется рабочими нуждами той единственной в Майнце типографии, на которую в конце 1455 г. наложил руку Фуст.

В связи с реабилитацией шрифта DK пересматривается и вопрос о B^{36}. По ряду признаков она была напечатана не в Майнце, а в Бамберге — по характеру переплетов, сортам бумаги (часть их не встречается в майнцских памятниках и бытовала в бамбергских), происхождению боль-

шинства экземпляров и фрагментов из мест, близких к этому городу. А главное: шрифт этой Библии после 1460 г. оказался в руках Альбрехта Пфистера, женатого клирика, в 1448—60 гг. служившего секретарем настоятеля Бамбергского собора (с 8.V.1459 г. — епископа) Георга фон Шаумбурга. Непрерывность его службы исключает обучение типографскому делу в Майнце, оно могло происходить лишь в самом Бамберге. Есть известие — записи 1459—63 гг. доктора Paulus Paulirinus о том, что он был в Бамберге, когда там в 4 недели была напечатана вся Библия. Если речь идет о B^{36}, это значило бы, что он был при ее окончании. Технически сбивчивые сведения — перечисляются металлические и деревянные доски, пунсоны, lamellae (вероятно, литеры), изображения — не дают однозначного решения: в B^{36} изображений нет, в 1462 и 1463 гг. Пфистер выпускал иллюстрированную «Библию бедных» (Biblia pauperum). С другой стороны, невероятно, чтобы образованный человек того времени не отличил символического сопоставления Ветхого и Нового завета от библейского текста. Возможно, что, побывав в типографии, когда печаталась «Библия бедных», и увидев экземпляр (или экземпляры) B^{36}, он сконтаминировал оба впечатления. Совпадение времени — этого известия, надписи на парижском фрагменте B^{36} и начала типографии Пфистера подтверждает, что эта Библия печаталась около 1459—60 гг. Соответственно однолистка с молитвой Respice domini относится к Бамбергу и к 1459 г. Что B^{36} вышла из печатни скромных размеров, видно по ней самой. Около 10 сортов бумаги указывают на закупку небольшими партиями; по сохранившимся экземплярам можно думать, что тираж был гораздо меньше B^{42} (предполагается 40—60 экземпляров, из них на пергамене не более 4—5); анализ приемов набора показал 4 наборщиков, т. е. печатание на максимум двух станах; судя по ложным лигатурам, новых знаков в процессе

печати не производилось. И вновь встает вопрос, не напечатана ли B^{36} самим Гутенбергом. Есть, правда, попытка (Ф. Гельднера) приписать ее его помощнику и свидетелю при присяге Фуста Хейнриху Кефферу. Но приводимые основания — упоминание отсутствия Кеффера в Майнце в 1459 г., его совместное с первым нюрнбергским печатником Йоханном Зензеншмидтом издание в 1473 г., знакомство во время процесса с Хельмаспергером, который как клирик бамбергской епархии мог рекомендовать его епископу (почему не самого мастера, с коим встреча нотария известна по акту в 1457 г.?) — вряд ли достаточны. Зато сравнение текста B^{36}, пробного оттиска Ягеллонской библиотеки и B^{42}, проведенное Х. Шнейдером, дало убедительные результаты: рукописные оригиналы B^{42} и тех листов B^{36}, которые с нее не перепечатаны, качественно равны, восходят к парижской версии с исправлениями по старшим спискам; у B^{36} и пробного оттиска оригинал один; рукописная традиция парижской версии связана с форматом in=8° и с мельчайшим письмом, чем объяснимы некоторые опечатки. При немного худшей корректуре в B^{36} в ходе перепечатки с B^{42} исправлены ошибки последней. Особенности написания, пунктуации и т. п., общие для всех трех объектов, указывают на одного типографа. Следует добавить: на перепечатках XV в. можно увидеть, что у разных типографов даже при одном шрифте наборная практика не повторяется. Это позволяет различать наборщиков в обеих Библиях (т. е. даже в пределах одного издания). Об этом можно судить хотя бы по Пфистеру: получив и выучку и шрифт B^{36}, он в своих изданиях гутенберговской системы знаков не соблюдает. Чтобы провести эту систему в B^{36}, нужен был тот человек, который ее создал. Гутенберг в Майнце в эти годы не отмечается, безуспешность иска монастыря св. Фомы подтверждает его отсутствие. Время отъезда Кеффера из Майнца говорит, что он последовал за

своим junckherr в роли помощника. Вопрос об остальных, кроме Пфистера, неясен. Судя по позиции на суде, то же мог сделать Руппель (в Майнце он после 1459 г. исчезает). Предполагается еще — по связи с Кеффером и как печатник Бамберга в 1480-х гг. — Зензеншмидт, а также разные другие. Что в местных архивах встречается только Пфистер, для той эпохи ни за, ни против их пребывания в Бамберге не свидетельствует. Совпадение всех сроков с избранием Шаумбурга на епископство позволило связать приглашение Гутенберга для устройства бамбергской типографии с этим событием. Таким образом, надуманное противостояние двух Гутенбергов по шрифтовому и издательски-программному признаку снимается, во всяком случае — до прямых свидетельств обратного. Не сделан еще один — необходимый — шаг: не пересмотрены оставшиеся от этого противостояния, от майнцской приоритетной конструкции, от обусловленных ими прочтений актового материала датировки, начиная с периодизации шрифта DK.

Прежде всего: ранняя стадия этого шрифта (DK 1) указывает, что стандартизация литер еще не достигнута, а нерезкость контуров говорит о незавершенности техники отливки (неподходящий металл шрифта, недостаточная глубина матрицы или т. п.), т. е. о ранней ступени самого изобретения. В этом плане «Фрагмент о Страшном суде» и близкие к нему донаты представляют принципиальное отличие от других стадий того же шрифта. Начиная со второй стадии (DK 2), техника производства шрифта найдена, дальнейшая эволюция касается лишь рисунка и количества знаков (которые прямой последовательности не дают) и выключки строк. Далее: представление нынешних историков астрономии, что «Астрономический календарь» на 1448 г. «годился» для неученых астрологов в течение 11 лет, говорит лишь о том, что историкам астрономии астрология не важна. Для людей XV в., практическая

жизнь которых сообразовывалась с нею, продавать в 1458—59 гг. календарь на 1448 г. означало грубый обман, который в те времена сразу бы обнаружился. И надобности в нем не было: такого рода прогнозы составлялись в разных местах на каждый год, обычно писались (а затем печатались) с одной стороны листа — они предназначались для вывешивания на стене — и оформлялись с особой тщательностью, необычный размер АК (вместо одного листа in-folio он в целом виде составлял два склеенных — ок. 67X72 см) вызван размером шрифта. И напечатан он мог быть только в конце 1447 — начале 1448 г., позднее не имел смысла. Эта дата остается незыблемой, а она означает, что начало новой отливке шрифта (DK 3), которой печаталась B^{36}, было положено в это время.

Если отбросить приоритетные и прочие предрассудки, периодизация шрифта DK обретает логику. Издания стадии DK 1 по отразившейся в них незавершенности изобретения наиболее реально относить к страсбургскому периоду 1440—44 гг. Вторая стадия должна была быть достигнута в период между Страсбургом и Майнцем, вопрос об изданиях этого времени остается открытым: фрагменты донатов — недостаточный материал (но принятый в Майнце текст имел отличительные черты). Ранняя дата АК и хронологическая близость его с началом B^{36} через пробный оттиск (который показывает, что эту Библию Гутенберг на первых порах, как и B^{42}, задумывал в 40 строк) говорит, что заготовка для новой отливки была начата к концу предмайнцского периода и отвечает наблюдению (К. Шорбаха), что те листы B^{36}, которые не перепечатаны с B^{42}, были сделаны ранее последней. Вероятно, они принадлежат первой майнцской типографии Гутенберга до ссуды Фуста. Судя по параллельному началу обоих томов, тогда было два наборщика (не исключено, что одним из них был сам Гутенберг). Эти листы и могли быть той перспективой, ко-

торую увидел Фуст, когда давал деньги под залог весьма еще малочисленного гутенберговского оборудования, «чтобы он завершил дело». Недостаточность средств — количества шрифта, работников и п р . — для такого объемного издания могла быть толчком к гутенберговскому займу. Но эта задача 800 гульденов не требовала, и дальнейшее показывает, что, подписывая долговое обязательство, Гутенберг имел в виду более далекую цель. В том, что его 4 шрифта в совокупности как бы склишированы для миссала, сомнений нет. Из них два — DK и еще не сделанный шрифт B[42] (шрифт хоралов) — годились для разных текстов (кроме предназначенных для чтения образованных и науки), оба псалтырные вне литургической задачи немыслимы. Для того чтобы по получении некоей части ссуды столь последовательно идти к этому замыслу, нужно было выношенное намерение. В том, что замысел миссала возник очень рано, убеждает стадия малого псалтырного в MS и MA. Хупп не ошибся, она указывает на следующую после DK 1 ступень изобретения: стандартизация шрифта уже достигнута, техника отливки еще нет. Раз и то и другое уже найдено в DK 2, возникновение отливки MS малого псалтырного логично относить если не к Страсбургу, то к безвестному (март 1444 — октябрь 1448) периоду Гутенберга между Страсбургом и Майнцем. И должны были быть напечатанные им тогда служебники: при скудости его средств нереально, чтобы шрифт оставался в бездействии. И прежде, чем приняться за Библию, он должен был иметь опыт большого издания. Не располагая материалом для спора с историками бумаги, можно бы допустить, что MS и MA перепечатаны с уже износившихся гутенберговских служебников перешедшей от Гутенберга вместе с ними отливкой шрифта. Если бы не система набора. То, что отмечалось в MS и MA как несоответствие гутенберговской практике, в ней обнаружено: красная печать вторым про-

гоном есть в B^{42}, втянутый в зеркало набора знак переноса (а не вынесенный на поле, как в B^{42}, B^{36}, Псалтыри) — в изданиях DK 2. В остальном нарушений ее в обоих служебниках не наблюдено. Зачем было базельскому печатнику 1475 г. овладевать ею хотя бы в той мере, какая требуется составом этой отливки шрифта, когда никто вокруг ее не придерживался? Безотносительно к вопросу о печатнике: маловероятно, чтобы Гутенберг, нуждаясь в шрифтовом сплаве (и располагая пунсонами), сохранял эту устаревшую — и немалую — отливку шрифта после усовершенствования литья литер. Так что в Базель она могла попасть лишь до его возвращения в Майнц. А значит, была на пути его остановка в Базеле. И, видимо, еще одна остановка в Страсбурге к концу 1447 г.: по ряду деталей — страсбургской дате дня св. Маргариты, элементам эльзасского наречия — текст АК своим происхождением обязан Страсбургу. И печатался он для Страсбурга: в Майнце календарь со страсбургскими праздниками вряд ли был нужен.

Чем объяснить, что при наличии небольшой заготовки DK 3 не позднее начала 1448 г. и уже отпечатанных ею к весне 1450 г. 6 листов B^{36} (на них пошло по меньшей мере 240 листов дорогой бумаги большого folio), была начата B^{42}, а в мелких изданиях употреблялся не DK 3, а DK 2? Ссуда Фуста (по всей ситуации первый ее взнос был наибольшим) давала перспективу. Шрифт хоралов задуманного миссала (он — в силу более широкой применимости — создавался на эти деньги первым) был много экономнее шрифта DK; ради сокращения затрат на бумагу и были оставлены отпечатанные листы B^{36}. Пока она не была закончена, новая отливка (DK 3) сохранялась для нее и во избежание износа не употреблялась; для мелкой продукции годился DK 2. Из того, что употребление новой отливки возобновилось только в Бамберге, можно думать, что

на нее (начатую до векселя Фуста, но на ссуду его умноженную) после суда был наложен арест как на спорное имущество; выкуплена она была, видимо, только для бамбергской печатни. После описи типографии у Гутенберга, судя по изданиям, оставался только шрифт DK 2, который исчезает примерно к 1458 г.

Пересмотра требует и история создания B^{42} и отпечатанной Гутенбергом части Псалтыри 1457 г. Если не исходить из неправдоподобного предназначения ссуды на одно geczuge (т. е. без перспективы ее возместить), Гутенберг должен был начать какое-то издание ранее договора об общем «деле книг». И обосновано полагать, что те тетради B^{42}, которые оттиснуты до увеличения тиража, печатались до этого договора, вероятно, в 1451 г. С договором, кроме увеличения тиража, связано и умножение числа наборщиков (судя по рассказу Тритемия, Шеффер тоже был нанят после договора; см. гл. VIII), а вместе с тем — умножение шрифта и уменьшение его кегля (в «Кельнской хронике», вероятно, сконтаминированы начала обеих Библий). Отодвигается и напечатанный первым состоянием шрифта B^{42} пробный донат. Что помешало завершить ее к сроку векселя? Могли быть неучитываемые задержки — болезни, трудность найти верных людей для обучения. Сперва основные средства были брошены на создание шрифта и пополнение прочего оборудования. Когда дошло до ускорения издания, Фуст стал «волынить» со ссудой, добиваясь участия в нем. Так он подвел Гутенберга к договору о «деле книг». Представляется возможным уточнить и время окончания B^{42}. Миф о медленности работы и пр. родился из предпосылки, что Гутенберг взялся за нее, еще не овладев своим изобретением, что и ситуацией исключается и совершенством издания. Столь же нереально, чтобы иск Фуста имел место до ее завершения: зачем было ему рисковать разладом работы и порчей издания (Шеффер

был лишь исполнителем), в которое он вложил большие деньги? Вексель мог подождать, Фуст на этом не проигрывал. Если принять наиболее вероятный — трехгодичный — срок договора о «деле книг», есть основания видеть в недоданной части фустовского пая (треть годичной суммы) признак, что B^{42} к весне 1455 г. была отпечатана, а оставшиеся 100 гульденов назначались на превращение ее в собственно книги, т. е. в рубрицированные, переплетенные тома. На этом этапе работа была заморожена из-за какого-то разногласия между компаньонами. Что издание пролежало штабелями листов до описи типографии Гутенберга, можно вывести из надписи Кремера. По времени, которое могло пойти на его работу, начало ее относится примерно к первой трети 1456 г. Значит, тогда заканчивалась брошюровка и подборка экземпляров. Как шла работа по рубрикации, судить нельзя: обе даты относятся к переплету, который делался на оба тома подряд. Лакуны парижского экземпляра говорят только о том, что он подбирался из остатков тиража. Почему Кремер (он ведь все знал) придавал этому неполному экземпляру такое значение, что снабдил его своей подписью и датой, можно лишь догадываться.

Без того, чтобы B^{42} была закончена к весне 1455 г., не могло быть начала трехцветной Псалтыри. Ранее возможна была лишь мелочь в шрифте DK, уже для индульгенций пришлось, вероятно, несколько урезать работу над Библией. Параллельно ей по мере поступления фустовской ссуды могли идти создание псалтырных инициалов, большого псалтырного шрифта, доработка малого. При единовременной трехцветной печати Псалтыри и окраска печатной формы и оттискивание требовали непрестанного внимания наборщиков, т. е. перестройки рабочего процесса. До завершения Библии она немыслима. И была бы нелепым образом действия для Гутенберга, который без ее

uernū tp̄s. Et ingrediebar effratam · ꝛ
sepeliuit eā iuxta viam effrathe: q̄ alio
noīe vocabat̄ bethleem. Videns autē
filios eius · dixit ad eū. Qui sunt isti?
Rn̄dit. Filij mei sunt: quos donauit
michi dn̄s ī hoc loco. Adduc inquit
eos ad me: ut benedicam illis. Oculi
enī isrl̄ caligabāt pre nimia senectute:
et clare videre nō poterat. Applicatosq;
ad se deosculatus · ꝛ circūplexus: dixit
ad filiū suū. Non sū fraudatꝰ aspectu
tuo: insup ostendit michi deus semen
tuū. Cumq; tulisset eos ioseph de gre-
mio pr̄is · adorauit pronus ī terram:
et posuit effraim ad dexterā suā id ē ad
sinistrā isrl̄: manassen vero in sinistra
sua ad dexterā scilicet pr̄is: applicuitq;
ambos ad eū. Qui extendens manū

Столбец 42-строчной Библии. Фрагмент.

окончания не мог выкупить типографию. Судя по нагромождению сумм в фустовском иске, при весеннем конфликте играла роль попытка Гутенберга вернуть долг, как он его понимал, — 750 гульденов без процентов. Тогда у него наличные деньги были — капитал страсбургской ренты, оплата заказов индульгенций, возможно — плата за обучение тех двух людей, которые проходили на LI школу производства шрифта. Начало работы над Псалтырью — показатель, что между ним и Фустом была видимость договоренности. Но и без того: отпечатанный тираж B^{42} при честном партнере равнялся возмещению долга. В качестве предэтапа цветной Псалтыри — весной 1455 г. — обретает логику и литургическая Псалтырь в позднем состоянии шрифта B^{42}. И допустимо, что донаты в том же состоянии шрифта без псалтырных инициалов печатались в промежутке до тяжбы: не весь персонал типографии мог быть занят цветной Псалтырью. Из ее типографского аппарата малый шрифт, судя по эволюции количества знаков в издании, доливался в процессе печатания. Быть может, это значит, что Гутенберг с ним спешил. Из того, что Псалтырь смогла быть завершена без него, следует, что Шеффер в работе над нею при Гутенберге участвовал и сложностями трехцветной печати овладел. Для Фуста это было необходимо: как видно по размежеванию свидетелей на суде, при переходе к нему печатня лишилась какой-то части прежнего, обученного персонала.

Для всего комплекса изданий Гутенберга характерна изощренность шрифтового воплощения при отсутствии элементов изобразительных (иллюстрации — ксилографические — впервые встречаются у Пфистера в 1461 г.). В них проступает другая тенденция — выпускать книгу в законченном виде, без надобности в рукописных дополнениях — рубрикации, инициалах и пр. Первые шаги в этом направлении можно увидеть если не в MS и MA, то в красной

печати на дофустовских листах B^{42}, завершение — в трехцветной Псалтыри. И в первом случае двухпрогонная печать органична — рубрикация в книгописной практике шла отдельным процессом, печатать в три краски было проще в один прогон. Есть предположение (Х. Леманн-Хаупта), что планы Гутенберга шли дальше. Оно появилось в результате сопоставления орнамента «гигантской» рукописной Библии (Библиотека Конгресса, США) и иллюминованного экземпляра B^{42} из собрания Шейде с работой «Мастера игральных карт» — первых известных образцов глубокой печати. Рукопись Библии написана в Майнце литургическим письмом в два столбца, как обе Библии Гутенберга. Начало работы писца датировано 4.IV.1452 г., конец — 9.VII.1453 г. Рукопись украшена рамками из разветвлений, на которых расположены цветы, фигуры животных в разных позах (единорогов, оленей, львов, медведей), птиц и «диких» (обросших шерстью) людей. Необычность гравированных карт в том, что масти в них обозначены аналогичными изображениями. Поскольку схожие элементы есть в шейдовском экземпляре B^{42} и в ряде майнцских рукописей тех лет, источник общий — майнцская книга образцов, но в «гигантской» Библии и в картах они повторяют друг друга. Все эти люди — Гутенберг, писец, художник рукописной Библии, мастер-гравер работали в Майнце параллельно и не могли друг друга не знать. Предполагается, что Гутенберг заказал матрицы для отливки элементов орнамента, из коих мыслил составлять рамки в своей Библии (таким способом сделаны цветные инициалы Псалтыри); замысел сорвался, а неизвестный мастер использовал доски-матрицы для игральных карт. Гипотеза вписывается в комплекс оформительских задач, которые ставил Гутенберг, если принять, что орнамент был задуман красочный. И если относить замысел к какому-то моменту после ссуды, но до договора с Фустом, пока Гутенберг полагал вы-

пустить Библию сам. Договор вынуждал к упрощению задачи, с чем был связан и отказ от красной печати в B42. Не по настоянию Фуста, заинтересованного в пышности совместного издания, а по инициативе Гутенберга, дабы закончить Библию к договорному сроку.

* *
*

Глава VI

Pñs spalmoꝝ codex · venustate capitaliū decoꝛat⁹
Rubricationibusqꝫ sufficienter distinctus,
Adinuētione artificiosa imp̄mendi ac caracterizandi ·
absqꝫ calami ulla exaracōne sic effigiatus, Et ad euse-
biam dei industrie est ↄsummatus, Per Johem fust
Ciuē maguntinū · Et Petrū Schoffer de Gernszheim,
Anno dñi Millesiō · cccc · lvij · In vigilia Assūpcōis,

Анонимность гутенберговских изданий

У людей XIX—XX вв., привыкших отвечать своим именем за свои создания, сам факт анонимности изданий Гутенберга рождает недоумение. Правда, Средние века оставили множество безымянных памятников письменности и искусства. Изучение конкретных случаев вместо априорных объяснений — отсутствия самосознания личности, понятия личной славы и пр., находит, как правило, более весомые. А порой противоположные: город, монастырь, двор сеньора и т. п. и без подписи знали труды своего писателя, художника, мастера и известность его — вширь и в будущее — передавалась молвой, в письмах, в записях современников. Гуманисты были славолюбивы до мелочности, роль фиксированного авторства усвоили в процессе розысков античных текстов, но и Возрождение изобилует анонимами. И один и тот же человек одни свои работы подписывал, а другие нет. Также в книжном деле: образцы книгописного искусства часто анонимны, в рядовых списках встречаются колофоны полного состава. А здесь был не один список, а новый способ вообще делать книги. Даже Кремер пометил своим именем дату рубрикации B[42]. Фуст и Шеффер в первом же выпущенном ими издании возгласили свои имена. На этом фоне особенно странно, что изобретатель ни в одном себя не назвал. Впрочем, с оговоркой: ни в одном из изданий, дошедших до нас полностью. В отношении тех, которые известны по фрагментам, отсутствие колофонов — гипотеза. Из этой немоты Новое время делало выводы на свой лад: что он только изобрел и ничего не печатал — факт для ремесленного периода невероятный; что он хотел продавать печатные книги по цене рукописных (так объяс-

няли особенности его шрифтов и тайну, окружавшую изобретение); что мимикрия под рукописную книгу и отсутствие колофонов диктовались опасениями протеста со стороны писцов. На взгляд своего времени отличия гутенберговских изданий от рукописных были разительны — чернотой типографской краски от коричневатости чернил, ригидностью и равномерностью шрифта от живых начертаний почерка (а работа Гутенберга над шрифтом и набором была направлена на то, чтобы это отличие подчеркнуть), натиском. Но, конечно, иного образа книги, чем тот, какой он застал, у Гутенберга быть не могло. Искали разгадку и в том, что он не понимал значения своего изобретения, или в некоем религиозном принципе. Пытались объяснить отсутствие его колофонов тем, что он ни в одном случае не обладал полнотой собственности (на типографию и издание). По последующей практике, начиная с Шеффера (см. гл. VIII) видно, что такой зависимости не было. Но Гутенберг был не просто печатником, а изобретателем книгопечатания, этим должен был определяться его колофон. Не сознавать значения своего изобретения он не мог. Оно было направлено не на любой предмет, а на книгу, роль которой в то время в глазах людей некнижных была даже большей, чем для книжников. Легенды об изобретателях разных времен и народов были в ходу и тогда, а вместе с тем — понятие изобретательской славы. Какое значение придавалось авторству изобретения, видно по ордонансу Карла VII, направлявшему Жансона в 1458 г. не просто в Майнц, где уже заявили о себе Фуст и Шеффер, а именно к мессиру Жану Гутенбергу, изобретателю. На страсбургском процессе в его поведении ощущается уверенность человека, сознающего ценность того, что он сделал. А подчеркивание его главенства свидетелями и условия, какими он обставлял приобщение к своему «предприятию с искусством», говорят о намерении закрепить изобретение за со-

бою. Единственным способом утвердить себя как первоизобретателя, а вместе с тем — само изобретение в то время было заявить о них на каком-то образце, т. е. на типографской книге. По цеховым понятиям это предполагало такой образец, который демонстрировал искусство мастера, а также преимущества нового способа, т. е. шедевр в первоначальном смысле слова.

Какие бы требования он ни предъявлял к своему шедевру, объявление об изобретении после тяжбы с Дритценами становилось срочным. И можно утверждать, что какое-то издание с объявлением об изобретении за именем Гутенберга и именно в 1440 г. (т. е. сразу по достижении типографской техники) было: только таким — и никаким иным — образом в те времена могло произойти соединение изобретения с этим годом и с этим именем. И авторы некоторых ранних известий это издание воочию видели (Целль, Вимпфелинг по переезде в Страсбург и некоторые другие; см. гл. VIII). Их совокупность допускает частичную реконструкцию этого первого колофона. Поскольку при дате 1440 г. в качестве места изобретения в ряде случаев назван Майнц, можно заключить, что место выхода в нем указано не было, а Гутенберг обозначил себя по тогдашнему своему жительству и потому в некоторых известиях именуется страсбуржцем. Возможно, что формулировка технической стороны изобретения из этого колофона упрощенно отразилась в ордонансе Карла VII Жансону, где говорится, что Гутенбергу принадлежит «изобретение печатать при помощи пунсонов и литер» (invention d'imprimer par poinsons et caractures). Можно думать, что тот же колофон был повторен в 1442 г., и к нему возводить эту дату у Полидора Вергилия (он, вероятно, издания не видел, а только про 1442 г. слышал). В отношении Юниуса создается впечатление, что донат с колофоном 1442 г. (без места выхода) он видел сам: на фоне его романа эта реа-

лия выделяется точностью. В 1531 г. у поборника ментелиновской версии Шпигеля тоже фигурирует 1442 — как год публикации изобретения, без конкретизации издания.

Это первичное объявление об изобретении могло иметь значение лишь в перспективе. Издания, являвшиеся его носителями, и еще неполная техническая завершенность равняли типографию с предтипографскими способами печати, продукция коих как низовая и утилитарная в книжной иерархии не котировалась. Посему и объявление о новом способе ее производства широкого резонанса вызвать не могло. Для признания изобретения как универсального способа производства книги, нужно было объявить о нем на издании универсального же значения, стоящем вровень с книгописным искусством. Сознавал ли Гутенберг уже тогда универсальное значение своего изобретения? В пределах

iusticiā meā: et dicāt semp magnificet dñs
qui volunt pacē servi eius. Et lingua mea
meditabit iusticiā tuā: tota die laudē tuā.
Dixit iniustus ut delinquat in se- Ps
metipo: nō est timor dei ante oculos
eius. Qm dolose egit in cōspectu eius: ut
inveniat iniquitas eius ad odiū. Verba
oris eius iniquitas et dolus: noluit intel-
ligere ut bene ageret. Iniquitatē meditat9

Псалтырь 1457 г. Фрагмент.

своего книжного кругозора и целей бесспорно. Об этом говорят издания стадии DK 1: в них уже есть примыкающие буквы (которые, кстати, при рукописании были не нужны), т. е. решалась проблема равномерности вертикального чередования черного и белого, что было никчемным, если шрифт не предназначался для более высокой задачи. И вся дальнейшая траектория изданий и шрифтов Гутенберга свидетельствует, что к этой цели — к утверждению своего изобретения путем создания высокого типографского шедевра он — до тяжбы с Фустом — шел неукоснительно.

Что же произошло такое, что пресекло ему возможность поместить объявление об изобретении на столь совершенном образце, как B^{42}? Тем более, если печатание ее было завершено к весне 1455 г.? И если опыт колофона у него уже был? Несмотря на отказ при договоре о «деле книг» от красной печати (и, быть может, от цветного орнамента), B^{42} оставалась шедевром. И объявление об изобретении вновь становилось срочным. Понять, что тогда произошло, можно через дальнейшее. 14.VIII.1457 г. вышла служебная Псалтырь — первое из известных типографских изданий, имеющее колофон. В нем значилось, что «Настоящая книга псалмов, красотой инициалов украшенная и рубрикацией достаточно разделенная, при помощи искусного изобретения печатания и набирания литер *, без какого-либо применения калама ** так изображена и ко славе божьей совершена умением майнцского гражданина Иоханна Фуста и Петера Шеффера из Гернсхейма в год господен 1457 в канун Успения» (см. ил. на шмуцтитуле к гл. VI). Сквозь самый факт и формулировку этого колофона можно видеть и что проект колофона для B^{42} у Гу-

---

* О таком смысле слова caracterizandi можно заключить из контекста колофона, подчеркивающего отличие от процесса письма.

** Палочка для письма.

тенберга был, и из-за чего сорвался. Когда печатание Библии близилось к концу, вопрос о колофоне должен был встать между партнерами. Колофон Псалтыри показывает ту формулу, какой требовал Фуст, имя Шеффера заместило в ней Гутенберга. Какой формулировки хотел изобретатель, судить нельзя, ясно лишь, что согласие достигнуто не было. Ни один из двух вопреки другому своей формулы на совместном издании поместить не мог. Так B^{42} осталась без колофона. Момент, когда Гутенберг принял это решение, можно увидеть в ней самой: оборот листа после Апостола, где должен бы начинаться Апокалипсис, что освобождало последнюю страницу, оставлен пустым, Апокалипсис начинается на следующем листе, и места для колофона в конце нет. С этого момента он устремил все силы на Псалтырь, видимо, перенеся на нее функции шедевра с объявлением об изобретении.

В колофоне Псалтыри 1457 г. есть одно слово — venustas (красота), которое приоткрывает то восхищение, какое вызывали псалтырные инициалы у окружающих. Из того, что Гутенберг начал ее печатать, можно заключить, что, несмотря на весенний конфликт, он от Фуста иска не ожидал: тот тянул до истечения срока договора о «деле книг», чтобы получить по суду и Псалтырь. Из ее колофона явствует, что основным стимулом к этому иску было не допустить, чтобы Гутенберг сделал объявление об изобретении под своим именем, без Фуста. Это свидетельствует о ложности финансово-делового истолкования конфликта Фуст — Гутенберг, противопоставления «неделовитости» изобретателя коммерческой трезвости Фуста и Шеффера и пр. Эти люди для начала взялись за окончание столь трудоемкого предприятия, как многоцветная печать Псалтыри. Коммерчески реализовать печатню можно было много быстрей: на окончание издания ушло (за вычетом месяцев ареста типографии) около полутора лет. Других изданий они за это

время не выпускали, создавать собственные шрифты принялись лишь в 1459 г. В Псалтыри они за своими именами поместили объявление об изобретении, которое было не их. И красоту инициалов приписали себе. Все показывает, что первенствующим был не коммерческий фактор, а жажда присвоить славу изобретения, на первых порах — Фуста с согласием взять в долю Гутенберга, несговорчивость коего открыла путь к этой доле Шефферу. Почему Гутенберг с оставшимися у него типографскими ресурсами не поспешил объявить об изобретении сам? На уровне мелких изданий объявление уже было. Вторичное имело смысл только на шедевре универсального значения. Колофон Псалтыри закрыл ему этот путь. Отсюда и отсутствие колофонов в тех изданиях, какие он печатал позднее: обозначив себя как просто печатника, он подтвердил бы самозванное заявление Фуста и Шеффера. А так он вопреки их стараниям был известен — в Майнце до деталей дела и вовне. И было его первое объявление, долженствовавшее сохранить его изобретательскую славу.

* *
*

Глава
VII

Allen vnd iglichen fursten. Grauen. herren. prel
des heiligen stuls zu Mencz erwelter vnd bestett
Nachdem in kurcz uergangē ziten vnser heiliger va
in vnschulden zugemesshen. Vnd vber das wir na
licher czijt vnd stat. nach uss wisung der gesecze wo
wale zu eynē Erczbischoff vnß Stiffts zu mencze
derlichē schyne gibt. Vnd wir darnach uff dassel
solich sin bebstlich Cōfirmaciē vnd bestengūge v

Гутенберг и майнцская архиепископская война 1462—63 гг.

Период после тяжбы с Фустом обычно связывают с двумя именами, иногда — с Ульрихом Хельмаспергером, приписывая ему инициативу приглашения Гутенберга в Бамберг, в основном же — с Конрадом Хумери, влиятельным в Майнце деятелем, в свое время сыгравшим значительную роль в победе цехов. Это он 26.II.1468 г. дал Адольфу Нассау расписку в получении после смерти Гутенберга находившихся у него, но принадлежавших Хумери форм, букв, инструмента. Из этой расписки вырос целый букет гипотез. До недавнего указанный в расписке типографский инвентарь отождествлялся со шрифтом B^{42}. Была теория, что после процесса Гутенберг ничего более не печатал, Хумери в 1457 г. помог ему расплатиться с долгами, став таким образом собственником его шрифтов. Исследователи без шрифтологического экстремизма приписывали Хумери продажу шрифта B^{36} в Бамберг, все соглашались, что шрифт B^{42} он оставил у Гутенберга и только после его смерти продал Шефферу (который затем напечатал им известные 27 донатов). Приверженцы предпринимательской активности Гутенберга считают, что Хумери, как Фуст, финансировал работу типографии под залог ее шрифтов. Были также выводы (А. Дресслера) — из пребывания Гутенберга во Франкфурте в 1455 г. (получение страсбургской ренты) и приобретения Хумери франкфуртского гражданства в 1457—59 гг., — о совместном их там с 1457 г. типографском предприятии, коему, наряду с поздними изданиями шрифта DK, приписывались те 15 из 27 донатов в сношенном шрифте B^{42}, в которых нет унциальных заглавных и инициалов Псалтыри. Поскольку ны-

не уже признано, что шрифт B^{42} после суда отошел к Фусту, вопрос об этих 27 донатах встает по-новому. Донаты без инициалов (или часть их) можно отнести к печатне Гутенберга между окончанием B^{42} и судом(см. гл. V), быть может, и какой-то с инициалами как пробу перед Псалтырью. Хранить шрифт без употребления до смерти изобретателя у Фуста и Шеффера причин не было, быстро перехватить — были. Что в тех фрагментах (33-строчном и 35-строчном, оба с псалтырными инициалами), которые сохранили колофон, назван один Шеффер, не значит, что он печатал донаты после смерти тестя. Вероятней, что они были личным его предприятием при жизни Фуста: раздельные издания членов одной фирмы при разных отношениях собственности на типографию в XV в. нередки. Инициалы Шеффер мог использовать лишь по окончании второй цветной Псалтыри, с августа 1459 г. Издание Гутенберга после тяжбы резонно ограничивать шрифтом DK, а корни его связи с Хумери искать в таком моменте, который должен был столкнуть этих двух людей.

Насчет политической позиции Гутенберга есть догадки. О его патрицианской непреклонности в борьбе с цехами — на основе упоминания в числе невозвращенцев в 1430 г. и длительной задержки вне Майнца (хотя вернулся он при торжестве цехов). О содружестве с Николаем Кузанским, церковная политика коего будто определяла печатный «репертуар» изобретателя — на основе противотурецких брошюр и индульгенций (хотя они шли в русле общеевропейского отклика на падение Константинополя, призыв к крестовому походу против турок был программой трех пап, при которых служил Кузанец) и замысла миссала, а также потому, что кардинал в 1448 и 1451 гг. бывал в Майнце, а к концу жизни о книгопечатании знал и оценил его высоко. Все вопреки прямому известию о моменте, когда Гутенберг сделал свой политический выбор. И тогда он

был в одном лагере с Хумери, Хельмаспергером (и в противном Кузанцу).

Сообщению майнцской хроники 1462—63 гг., что во время архиепископской войны первый печатник Майнца Йоханн Гутенберг во многих копиях напечатал воззвание Дитера фон Изенбурга — смещенного папой Пием II архиепископа майнцского, как правило, не придается значения. За обоими противниками стояли определенные тенденции: ставленник папы — Адольф Нассау был сторонником традиции, отождествлявшей Германскую империю с Римской; Изенбург представлял немецкую реформаторскую партию и патриотические по тому времени интересы (позиции Базельского собора). Конфликт его с Пием II начался из-за предписания Германии сбора «турецкой десятины». Отказавшись платить назначенные Пием особенно большие аннаты за свое утверждение, а затем подчиниться аннулирующим выборы (они произошли 18.VI.1459 г.) папскому и императорскому указам, даже церковному отлучению, он начал вооруженную борьбу с насильственным своим преемником. Казалось бы, все основания видеть в побуждениях их сторонников политический смысл. Ничуть. Часть исследователей известие хроники обходит вообще. В исторической ситуации — городские власти, колебавшиеся между двумя претендентами, решились закрыть перед войсками Адольфа ворота Майнца, в ночь с 27 на 28 октября предатели впустили наемников Нассау в город, зазвонил набат, были уличные схватки, убитые и раненые из граждан и священства, солдаты грабили и поджигали дома — Гутенбергу, если отводится место, то лишь наутро, когда собранные на площади бюргеры Майнца были тут же, несмотря на коленопреклоненные мольбы, выгнаны за ворота после грозной речи нового владыки. С этого дня Майнц утратил статус вольного города и вновь стал духовным княжеством. Игнорируется сообщение хроники, из-

вестной по списку начала XVII в., потому, что указанное место ее издатель (К. Хегель) счел интерполяцией. Но замечание его относится к пересказу воззвания, а не к роли Гутенберга. И Гутенберга нет в списках отлученных сторонников Дитера. В них фигурируют Хельмаспергер, Хумери, Хенне Залман, Майнцский клирик Йоханн Нумейстер (будущий печатник и, видимо, ученик Гутенберга). Вероятно, что в списки он не попал из-за длительного своего пребывания в Бамберге и его участие в восстании Изенбурга выяснилось позднее.

Толковалось это известие также в плане совместной с Хумери типографской активности Гутенберга. Постулируется, что мир между Изенбургом и Нассау 18.X.1463 г. состоялся при посредничестве Хумери (оно было возложено на Карла, маркграфа Баденского), и якобы за это Адольф вернул Хумери конфискованные в 1462 г. дома и угодья и взял на себя его долги, сделанные еще при Дитере. Отсюда выводится, что эти долги (опять 800 гульденов) и заслуга, за которую Хумери получил прощение своей приверженности Изенбургу, а Гутенберг — звание придворного, связаны с их общим типографским делом. Влиянию Хумери приписывается включение Гутенберга в свиту Адольфа. И т. д. На самом деле аналогии в грамоте Адольфа Конраду Хумери и в грамоте 1465 г. Гутенбергу показывают только, что повод для обеих грамот был общий — примирение со сторонниками Дитера. Вопроса же о напечатанном Гутенбергом воззвании почти никто не касается, хотя печатные листовки архиепископской войны — папские бреве, указ Фридриха III, воззвания обоих претендентов — до нас дошли. Но все они — и листовки Изенбурга и против него — напечатаны одним и тем же шрифтом Дуранда * — первым самостоятельным шрифтом Фус-

* Обозначается так по первому изданию этого шрифта — G. Duranti. Rationale divinorum officiorum. Mainz, J. Fust et P. Schöffer, 1459.

та и Шеффера, а императорский указ — их же более крупным шрифтом Библии 1462 г. (в листовках имени типографов нет, что почти правило для официальных материалов). При этом есть данные, что основатели знаменитой фирмы либо были, либо вовремя стали сторонниками Нассау: хотя дом Фуста сгорел в ночь на 29.X.1462 г. (как дома многих приверженцев Адольфа, солдаты не разбирались), ему вскоре возместили утрату за счет дома цум Хумбрехт, конфискованного у Залмана. И Якоб Фуст, с 1458 г. — бюргермейстер Майнца, хотя погиб от ран, полученных в кутерьме той ночи, при всем лавировании склонялся к такой позиции. Безразборное печатание листовок в пользу и против обоих претендентов объясняют чисто коммерческим подходом Фуста и Шеффера к делу. Но распространять в Майнце воззвание Дитера, с октября 1461 г. находившегося вне города, после указа императора (8.VIII.1461 г.) и папского отлучения было вряд ли выгодно и безусловно рискованно. Не все листовки архиепископской войны были напечатаны: папская булла от 4.XI.1461 г. (ею, уступив оппозиционным князьям в вопросе турецкой десятины, Пий частично изолировал Дитера), булла от 8.I.1462 г., грозившая Изенбургу отлучением, само отлучение — от 1.II, списки отлученных его сторонников, опровержения его манифеста папскими нунциями (исходившие из дома Николая Кузанского в Кобленце), первое его воззвание от 1.X.1461 г., когда он еще был в Майнце, известны только в списках. Определяющим был не подход Фуста и Шеффера, а колебания политической обстановки. Исходя из нее, уточняются и сроки печатания листовок.

26.IX. майнцскому соборному капитулу в присутствии Адольфа и Дитера было возвещено смещение Изенбурга и проведено «избрание» Нассау. 2.X. состоялась его интронизация, т. е. произошел как будто окончательный поворот

событий. Тогда и были напечатаны у Фуста три папских послания — к майнцскому капитулу об избрании Нассау, к Адольфу об аннулировании выборов Дитера, к майнцскому клиру на ту же тему, все от 21.VIII, и указ Фридриха III от 8.VIII. Манифест Адольфа был ответом на воззвание Изенбурга, ergo мог выйти лишь в апреле 1462 г. Все эти листовки заверены нотариусом Штубе, т. е. имеют официальный характер (это значит, что Фуст получил на них заказ); они предназначались для вывешивания в церквях, в ратуше, для рассылки по епархии и княжеству. Немецкий манифест Дитера — к князьям, прелатам, городам и людям всех сословий Германии — датирован в Хехсте 30.III.1462 г. Напечатан он был в начале апреля. Известно, что Адольф, этого воззвания, видимо, не ожидавший, срочно вернулся в Майнц и 13.IV. писал во Франкфурт, чтобы ему прислали экземпляр манифеста; значит, в Майнце он получить такового не мог.

Попытку решить эту проблему в 1900 г. сделал В. Фельке, и его гипотеза последующим анализом (А.-В. Казмейера) отчасти подтвердилась. Прежде всего: манифест Дитера печатался вне Майнца. Это видно по его вариантам: редакционная — чернилами — правка отдельных экземпляров (например, зачеркнуто и заменено нейтральным обозначение Rat und Diener — советник и помощник — по отношению к Йоханну Нассау, брату Адольфа) в других вошла в печатный текст. Без согласования с Дитером этого быть не могло. В ряде экземпляров сохранились остатки его печати, даты рассылки (из Хехста, 4 и 13.IV). Во Франкфуртском архиве есть его сопроводительное к манифесту письмо Вильхельму Саксонскому. Все указывает, что воззвание печаталось вблизи Изенбурга, видимо, в Хехсте, где была его ставка. Так же и вторая его листовка — латинская, без даты, которая под видом послания к папе представляет воззвание к духовенству. При франк-

фуртском ее экземпляре сохранилось сопроводительное письмо Изенбурга, датированное 13.X.1462 г.; значит ли это, что она печаталась незадолго до посылки или (как считает Фельке) тоже в апреле, решить трудно.

Другая сторона той же гипотезы — ложный вывод из точных наблюдений. В обоих воззваниях Дитера несколько иная наборная практика, чем в листовках, заверенных Штубе, и недостает ряда знаков (так, для латинских слоговых сокращений «ur», «con»), которые и вообще в шрифте Дуранда имеются, и в листовках Адольфа. В расписке Хумери речь идет, во-первых, об ettliche — некоторых, немногих — литерах (что к шрифту B^{42} или B^{36} относиться не может), во-вторых, о типографском оснащении, которое myn gewest und noch ist, т. е. изначально принадлежало и не переставало принадлежать Хумери, хотя находилось у Гутенберга. Этим исключаются шрифты, которые ранее были собственностью изобретателя или кого-либо другого. Фельке заключил, что Хумери купил у Фуста немного шрифта, дабы Гутенберг напечатал им воззвание Изенбурга. Однако вряд ли стоило отлученному от церкви, т. е. поставленному вне закона Хумери показываться в Майнце на глаза Фусту или Шефферу. То небольшое количество шрифта Дуранда, какое требовалось для листовок Дитера, должно было попасть в его ставку иным путем. И расписка Хумери подразумевала другой шрифт. Свидетельство майнцской хроники о политической позиции Гутенберга в событиях 1462—63 гг. остается в силе, и можно даже наметить пути, которые привели его в орбиту этого неблагополучного майнцского архиепископа.

* *
*

Глава

VIII

Altissimi presidio cuius nutu infantium lingue fi
unt diserte. Qui q3 nimiosepe puulis reuelat quod
sapientibus celat. Hic liber egregius. catholicon.

Борьба гутенберговской и фуст-шефферовской версии изобретения в ранних колофонах и известиях

Когда в августе 1457 г. колофон Псалтыри возвестил Майнцу и миру о новом изобретении, у незнакомых с предысторией сомнений в том, что Фуст и Шеффер являются изобретателями, у знающих о ней — что они присвоили честь изобретения, не было. Тот же колофон они 29.VIII.1459 г. повторили в Псалтыри бенедиктинской. В следующем году после второй Псалтыри появилось издание, представляющее одну из загадок раннего книгопечатания — Майнцский «Католикон». Этот включающий грамматику толковый латинский словарь доминиканца XIII в. Иоанна Бальба — первое из ранних изданий, которое предназначено для собственно образованных. Оно и напечатано мелким шрифтом по образцу обычного письма. В нем тоже есть колофон, гласящий следующее: «Всевышнего помощию, которого волею язык бессловесных становится красноречивым, и который часто малым открывает, что от умудренных (образованных, з н а ю щ и х. — *Н. В.*) скрывает, эта превосходная книга Католикон в год воплощения господня 1460 в благодатном городе Майнце знаменитой германской нации, которая божьей милостью даром столь высокого озарения гения * перед остальными нациями земли предпочтения и прославления удостоена, не посредством калама, стиля или пера, а через чудесное пунсонов и матриц соответствие, пропорцию и соразмерность ** напечатана и закончена» (далее следуют вирши, посвящающие издание прославлению троицы, католической церкви и богоматери).

---

* Ingenium значит также «ум», «находчивость».

** Употребленному в тексте слову «modulus» придается разное значение; буквально оно значит «мера».

По времени и месту выхода «Католикона» человек, написавший эту заключительную формулу (колофон, как правило, исходил от владельца печатни или издания), должен был предысторию, хотя бы майнцскую, знать. Для соотнесения «Католикона» с Гутенбергом послужил рассказ, помещенный Иоанном Тритемием в его «Хирзауских анналах» под 1450 г. со ссылкой на разговор с Петером Шеффером «приблизительно тридцать лет назад» («Анналы» написаны около 1513—15 гг., значит, разговор был в 1483—85 гг.). Здесь сообщается, что в 1450 г. в Майнце Майнцский бюргер Йоханн Гутенберг изобрел неизвестное дотоле искусство печатания и в изобретение этого искусства вложил почти все свое состояние. Когда же от трудности этого дела он оказался в тупике, и то одно, то другое ему не удавалось, так что, отчаявшись, он готов был отказаться от этого предприятия, его поддержал Йоханн Фуст, тоже Майнцский бюргер, своим советом и своими деньгами, и так он «довел начатое дело до конца» (перекличка с формулой жалобы Фуста). Сперва они напечатали словарь, называемый «Католикон», таким образом, что вырезывали начертания букв на деревянных досках и затем эти формы составляли вместе. Но так как буквы на досках были неподвижны, они не могли с этих досок печатать ничего другого. За этим последовали еще лучшие изобретения. Они изобрели, как отливать для всех букв латинского алфавита металлические формы, которые назвали матрицами, и в них отливали медные или оловянные литеры, а перед тем вычеканивали буквы от руки. И, как слышал Тритемий от Петера Шеффера, зятя первого изобретателя, на первых порах это искусство представляло большие трудности, а когда они хотели напечатать Библию, то истратили еще до того, как был закончен третий кватернион (тетрадь), 4 тысячи гульденов. Петер же Шеффер, в ту пору — ученик, а впоследствии ставший зятем

первого изобретателя Йоханна Фуста, придумал более легкий способ отливать литеры и завершил это искусство «как оно есть сейчас». Эти трое держали такой способ печатать в тайне, пока через помощников он не стал известен людям и не перешел сперва в Страсбург, а затем ко всем народам земли.

Несогласованность этого повествования (Тритемий, видимо, записал разговор с Шеффером, но, составляя «Анналы», соединил разные источники) позволяет отслоить реалии от концепции Шеффера и от внесенной им и историком путаницы. «Католикон», в первом своем издании 1460 г. — фолиант в 372 листа убористого шрифта, никогда с досок не печатался: к этому названию прикреплено объяснение преимуществ типографии перед печатью с досок (Шеффер, вероятно, повторял разъяснение, некогда данное Гутенбергом ему самому). Совместного издания Гутенберга и Фуста в 1460 г. быть не могло. Стали выбирать одного из бывших партнеров. Часть исследователей (начиная с Г. Цедлера) приняла Гутенберга — по признаку, что характеристика типографии в «Католиконе» «техничнее», чем в Псалтырях, а отнесение заслуги изобретения на счет божьей милости противостоит колофону Фуста и Шеффера. Приписав «Католикон» Гутенбергу, шрифт отождествили со шрифтом расписки Хумери, хотя под понятие немногих литер он мало подходит: и масштабы издания требовали много шрифта, и в нем наблюдается даже излишество знаков (нестандартных сокращений, лигатур и пр.). Непоследовательность их применения (исчезнувшие было знаки вновь появляются в дальнейших тетрадях), «преодоленная» лишь в последней трети обоих разделов издания («Католикон» в работе, так же, как B^{42} и B^{36}, делился на две части, которые набирались параллельно), и, конечно, «некрасивость» шрифта давали повод перебросить B^{42} Шефферу. Возобладала лишь первая часть этой схемы:

«Католикон» считается совместным предприятием Гутенберга и Хумери и т. д. (см. гл. VII). Была также попытка усмотреть в «Католиконе» связь Гутенберга с Николаем Кузанским и считать кардинала автором колофона, но мотивировка — наличие экземпляра в его библиотеке — вряд ли достаточна. Исследователи, соединявшие расписку Хумери со шрифтом B[42], приписывали «Католикон» Фусту и Шефферу. Обоснования: макулатурные листы «Католикона» в подклейке шефферовского переплета на издании 1465 г.; около 1470 г. «Католикон» фигурирует в торговой афише Шеффера; в нем, как в его изданиях, 4, а не 6, как в B[42], пунктур (следы гвоздиков, которыми при печатании закреплялись листы) и так же нет выключки строк; Фуст, точнее — Шеффер с 1465 г. стал включать элементы колофона «Католикона» в свои издания. И по содержанию он вписывается в дальнейший репертуар фирмы и не отвечает гутенберговскому (последнее верно). Неясно, зачем было им параллельно первому своему шрифту Дуранда в том же 1459 г. заводить этот — близкого кегля — шрифт. И многовариантность знаков «Католикона» с их практикой не совпадает, и поставленная в нем типографская задача, которая (наблюдено А. Капром) состояла в соблюдении равномерных интервалов между словами за счет пробельного материала и соответственной отливки знаков препинания; это по аналогии со шрифтами индульгенций 1454—55 гг. — тоже довод, что шрифт создавался Гутенбергом или под его смотрением. Пытаются еще согласовать обе тенденции (Т. Герарди): оспорив дату «Католикона», начать его в качестве предприятия Гутенберга и Хумери после 1465 г. и закончить при помощи Шеффера после 1468 г., приписав ему по «упорядоченности» набора последние трети обоих разделов «Католикона», отсутствие выключки строк — идиосинкразии (посмертной?) Фуста к этому процессу, запись 1465 г. о покупке — фальшивке и

т. д. Цель всей спекуляции не ясна. Вряд ли Николай Кузанский (ум. в 1464 г.) приобрел свой экземпляр посмертно. И вряд ли Шеффер в разговоре с Тритемием упустил бы честь прослыть печатником «Католикона», будь тому возможность.

Так типография «Католикона» остается более загадочной, чем это оправдывает материал.

Некоторый свет на нее проливает история употребления шрифта. В качестве пробного — в большем кегле (высота 20 строк 93 мм, в «Католиконе» — 83 мм) вышло небольшое издание — «Диалог разума и совести о частом причастии» вормсского епископа начала века Матвея Краковского. Производство шрифта и печатание «Католикона» заняло не менее полутора лет, значит «Диалог» вышел не позднее середины 1459 г. (есть экземпляр с датой покупки 1459). В кегле «Католикона» шрифт фигурирует в двух изданиях небольшого трактата Фомы Аквинского о символе веры и таинствах (De articulis fidei). Новая отливка шрифта встречается в двух индульгенциях 1461 и 1462 гг. в пользу сгоревшего в ходе архиепископской войны монастыря Неухаузен (параллельно печатались шрифтом Дуранда). Уменьшенная до 81 мм отливка оказалась в Эльтвилле, где с колофоном братьев Хейнриха и Николая Бехтермюнце в 1467 г. и одного Николая в 1469 г. был напечатан ею «Vocabularius exquo» — латино-немецкий словарь. В индульгенциях и в обоих словарях — то же излишество знаков, как в первых двух третях «Католикона», т. е. «логики развития» нет. В эльтвилльской типографии оказался также шрифт LI 31; отдельные литеры его вкраплены в обоих вокабуляриях, а в 1472 г. Николай Бехтермюнце выпустил тот же словарь в новой (уменьшенной и дополненной) отливке шрифта LI 31. Еще раз шрифт «Католикона» отмечается в Майнце в индульгенции 1480 г. Общность шрифта и характера продукции подсказала (В. Фелькe) в на-

чале нашего века вывод, что в Эльтвилле была не другая, а та самая типография, из которой в 1460 г. вышел «Католикон». Для Гутенберга в ней предполагалась роль как бы технического руководителя, а в качестве владельцев — группа богатых людей, в их числе Бехтермюнце. С выводом о единстве типографии и о некоей причастности к ней Гутенберга не согласиться трудно. Но непоследовательность шрифтовой практики в «Католиконе» говорит против гутенберговского руководства изданием. И в целом, если принять его и Бехтермюнце как объединяющее звено, ряд эльтвилльских фактов необъясним. Это касается шрифта LI 31, который мог быть отчужден только до тяжбы с Фустом. Еще страннее, что эльтвилльские колофоны частично включают формулы Псалтырей 1457—59 гг. (без упоминания об изобретении), в 1467 и 1469 гг. — с виршами из «Католикона» (в издании 1472 г. заменены). Первый вышел при жизни Гутенберга, и непредставимо, чтобы он принял такое смешение.

Трудно не увидеть, что колофон 1460 г. — не просто формула типографа, а своего рода декларация, смысл которой может быть понят лишь в той ситуации, какая сложилась после приговора суда и раскола типографии Гутенберга в ноябре 1455 г. Оставим в стороне измены человеческие — роль Шеффера в процессе, судя по награде (в первых колофонах он назван наравне с Фустом) немалая, самого Фуста, Бунне, вероятно и неизвестных других. Отходила Фусту типография. Пришлось доказывать, что шрифт DK 2 был готов до ссуды, оспаривать права кредитора на DK 3. Тираж B^{42} и отпечатанную часть Псалтыри тоже получал Фуст. На эти расчеты, на устройство своей печатни (о скромных ее размерах говорят поздние издания в шрифте DK 2) должны были уйти конец 1455 и начало 1456 г. До этого изобретение содержалось в тайне не только «этими тремя», как сообщил Тритемию Шеффер, зад-

ним числом возводя себя из помощников в компаньоны, а всеми работниками печатни: огласку оно получило после тяжбы. Но и ранее в Майнце, кроме помощников, были люди, о нем и о соотношении партнеров осведомленные, в том числе из высшего майнцского клира. Без этого не могло быть «Воззвания против турок» («Турецкий календарь»), заказов на индульгенции. Булла папы Калликста III в обеих версиях — латинской и немецкой — тоже предполагает заказ, но только после 21.IX.1455 г. (тогда проповедь в Германии крестового похода против турок была возложена на епископа Дронтхейма Хейнриха Кальтэйзена, который переводил буллу на немецкий язык). Вряд ли заказ мог быть в разгаре тяжбы и ареста типографии, вернее, что в первые месяцы 1456 г. (печатание безусловно, но до 1.V, на которое было назначено начало похода), быть может, как акт поддержки Гутенбергу. То же относится к Provinciale Romanum. На этом фоне колофон Псалтырей в 1457 и 1459 гг. был вызывающим, несмотря на грамматическую лазейку, позволявшую при надобности убеждать, что новоявленные партнеры объявили о себе лишь как о делателях данной книги.

В том контексте колофон «Католикона» читается как опровержение псалтырных колофонов, т. е. заявки Фуста и Шеффера на изобретение. Об авторе его много гипотез. Гутенберг к себе слов об озарении гения (или хотя бы ума) применить не мог, чем он как участник издания исключается. Предполагались еще неизбежный Конрад Хумери и Хейнрих Гунтер — свидетель Гутенберга при присяге Фуста. Последнее — ложная привязка точного наблюдения: колофон написан языком священника. В колофоне останавливает внимание перифраза апостольских слов, что бог «малым открывает, что от умудренных скрывает». И относятся они к тому, кто озарением гения прославил германскую нацию: для автора колофона Гутенберг относился к «ма-

лым» и неученым, т. е. писавший принадлежал к образованным и был не просто священником, а высоким духовным лицом. Последующее, кроме формулировки сути изобретения (автор мог видеть, как делается шрифт, и использовать первый колофон Гутенберга), заключает краткую политическую декларацию, соединяющую прославление германской нации и католической церкви, что тогда было программой немецкой реформаторской партии. С 18.VI.1459 г. майнцским архиепископом стал ставленник немецких реформаторов Дитер фон Изенбург. Колофон «Католикона» подчеркивает достоинство Германии, как два года спустя манифест Дитера. Объявляя изобретение проявлением божьей милости к германской нации, он прямо полемизирует с Пием II, отклонившим немецкую реформационную программу под предлогом, что германцы всей культурой обязаны римским завоеваниям (в ответе на посланные ему в 1457 г. — еще кардиналу Пикколомини, советнику Фридриха, — майнцским городским канцлером Мартином Маиром Gravamina Germanicae nationis — «Жалобы германской нации»). В Майнце Изенбург был с 1447 г. С 1454 г. безусловно, а, может быть, ранее Гутенберг ему как настоятелю Майнцского собора был известен. Подробности тяжбы он знал: Хельмаспергер был из его единомышленников. Все в сумме позволяет полагать, что заключительная формула «Католикона» исходила от нового архиепископа Майнцского, даже если не им написана, хотя как бакалавр искусств Дитер мог это сделать и сам (Маир в 1459 г. из Майнца отбыл).

При таком прочтении колофона объясняются все факты майнцско-эльтвилльской преемственности. Печатня «Католикона» оказывается не частным владением, а майнцской епископии. Поэтому шрифт ее и перешел в резиденцию майнцских архиепископов Эльтвилль. Разъясняется и роль Бехтермюнце: сочетание частной инициативы (или арен-

ды) с более или менее официальной издательской программой и ведомственной принадлежностью типографии в XV—XVI вв. не редкость. Характер продукции и большие перерывы в ней говорят, что был, но не состоялся, широкий замысел. Появление в Эльтвилле шрифта LI 31 указывает, что собственностью епархии он стал еще в 1454 г. в связи с выпуском индульгенции. Из того, что в вокабуляриях 1467 и 1469 гг. он только вкраплен в шрифт «Католикона», можно заключить о малом его количестве: по-видимому, та отливка, которой печаталась индульгенция, по выполнении заказа была епархией куплена и вместе с прочим типографским ее имуществом перешла в Эльтвилль. Происхождение новой отливки этого шрифта в вокабулярии 1472 г. наиболее вероятно объясняет гипотеза (С. де Риччи), отождествляющая шрифт LI 31 со шрифтом расписки Хумери. Под определение указанных в расписке немногих литер подходят шрифты обеих индульгенций, но следов шрифта LI 30 нет (он, видимо, по выполнении заказа был переплавлен; появление инициалов LI 30 в шефферовском издании 1489 г. указывает, что они после суда отошли к Фусту). Новая отливка шрифта LI 31 появляется в Эльтвилле вскоре после смерти Хумери (ум. между 1470 и 1472 г.). Значит, его часть включала пунсоны или матрицы (и в расписке упомянуты «формы»). Приобрести этот шрифт он мог только ранее фустовского иска. В то время он был городским синдиком. Возможно, что идея майнцской официальной типографии — сперва на базе этого шрифта — у разных деятелей была уже тогда. Судя по срокам, необходимым на создание типографской базы «Католикона» — шрифт, обучение людей и п р . — план этой печатни в майнцском окружении Изенбурга созрел до его избрания, первые шаги к ее организации должны были быть еще в 1458 г. И вероятно, что Хумери имел к ней отношение: раз Адольф возместил ему 800 гульденов дол-

га, взятого при Дитере, эти деньги брались не на личное предприятие, а в пользу епархии. Не исключено, что Хумери как сподвижник Изенбурга ими содействовал печатне и изданию «Католикона». Почему для нее не был принят шрифт LI 31, если он у Хумери уже был? Возможно, что с этой целью Хумери тогда вручил его Гутенбергу (хотя вероятней, что после поражения Дитера). Но малочисленные знаки индульгенции при масштабах и особенностях написаний оригинала «Католикона» требовали значительных дополнений. Могло быть, что Дитер захотел для него более ясного и плавного шрифта. Печатня мыслилась как рупор реформационных позиций (и первое ее издание — «Диалог» Матвея Краковского в известной мере было программным). Соответственно и шрифт долженствовал быть новым. Гутенберг мыслим как организатор типографии, учитель персонала, включая создание шрифта. Печатание «Католикона» шло без него: преизобилие знаков (оно восходит не столько к нему, сколько к тем резчикам шрифта, которые здесь проходили обучение) и непоследовательность их применения в первых двух третях, «преодоление» этого излишества в последней трети издания указывает, что только на конечном этапе им руководил знающий человек, менее других зависимый от написаний оригинала (быть может, Нумейстер?). Гутенберг в это время был в Бамберге. Приглашение его туда, само устройство бамбергской печатни проще всего объяснимо подсказкой Дитера тоже только что избранному Георгу фон Шаумбургу, а идея завершить B^{36} — ее первыми листами и образцом B^{42}. Репертуар майнцской печатни определялся Изенбургом. Выбор «Католикона» говорит о его намерении ознаменовать свое вступление в сан универсальным культурным начинанием. Возможно, что ему как бывшему ректору Эрфуртского университета уже тогда рисовался план университета в Майнце, осуществленный им в 1477 г., через два года после

вторичного своего избрания; тогда он и отдал Гутенберг-хоф под юридический факультет.

Что означало в 1460 г. его вмешательство? Прежде всего, что об изобретении шел спор и на большом накале (и потому Дитеру в 1459 г. было удобно удалить Гутенберга из Майнца). Одним из этапов спора был колофон второй Псалтыри, вышедшей уже после избрания Изенбурга, с утверждением прежних притязаний, в ответ, видимо, на какие-то выступления — Гутенберга или тех кругов Майнца, в которых и иск Фуста и присвоение им в компании с Шеффером изобретения вызывали возмущение. Что спор касался также псалтырных инициалов, видно по колофону того доната в шрифте B^{42}, который сообщает, что он «изображен при помощи нового изобретения» и т. д. (см. гл. V) Петром из Гернсхейма с употреблением «своих инициалов» (cum suis capitalibus); это не нуждалось в подчеркивании, если бы не оспаривалось. Колофон «Католикона» (а в Майнце было ясно, от кого он исходит) предписывал прекращение спора. Безымянно вознеся изобретателя, он этим раскрывал Майнцу и миру самозванство Фуста и Шеффера, впервые подчеркивал универсальное значение изобретения, «по милости божьей» прославившего германскую нацию. Почему при этом Дитер умолчал имя? Единственным способом утвердить первоизобретательство Гутенберга в тот момент было официальное засвидетельствование. Возможно, что ордонанс Карла VII от 4.X.1458 г., такое засвидетельствование, как бы контр-акцию колофону Псалтыри 1457 г. заключавший, отчасти для этого и был направлен в Майнц (где и у кого обучался Жансон, неизвестно). Но в декларации столь высокого плана, как колофон «Католикона», называть имя тут же живущего человека было неуместно. Иного свидетельства от Дитера не последовало. И в этом сказалась та политическая обстановка, в которую вплетены первые майнцские типографии.

С заказом индульгенций печатня Гутенберга приобретала полуофициальные функции при майнцской епархии. Кому именно он был обязан ими, предполагать трудно. Но это означало его эмансипацию от Фуста и не могло не подвигнуть последнего вкупе с Шеффером искать влиятельной опоры. Без этого перехват майнцской Псалтыри — издания для епархии официального, если не заказного, был бы для них неосуществим (хотя исключить официальные заказы Гутенбергу они не смогли). Был ли заказан им «Канон мессы» 1458 г., неясно, о Псалтыри бенедиктинской известно. Тем самым и их колофон получал почти официальное значение. Пояснения к богослужению Дуранда вышли в октябре 1459 г. (как бы в противовес «Диалогу» Матвея Краковского). Для этого создание шрифта Дуранда должно было начаться ранее июня (и тогда стал работать для Фуста и Шеффера обученный производству шрифта либо на одной из индульгенцией в 1454 г., либо переманенный из будущей типографии «Католикона» ученик Гутенберга). Другими словами, Фуст и Шеффер в конечные дни старого архиепископа и перед выборами нового достраивались до нужд официальной типографии (вряд ли не противополагаясь затее майнцских реформаторов) и уступать эту роль после избрания Изенбурга не собирались. Дитер получил большинство майнцского капитула всего в один голос, остальные стояли за Нассау. Посланцы Изенбурга к Пию II, отвергшие требование папы отказаться от реформаторских требований, вернулись без утверждения выборов. Оно было дано лишь при условии военной помощи графам Бранденбурга и Винтерберга против Фридриха, графа Пфальцского (сторонника реформации и переизбрания императора в пользу чешского короля Иржи Подебрада). От этого обязательства Дитер избавился только летом 1460 г., дав себя побить своему единомышленнику и заключив с ним союз. Надвигался конфликт с папой, спер-

ва из-за отказа платить аннаты. Якоб Фуст был бюргермейстером Майнца. Все разоблачению Фуста и Шеффера не благоприятствовало. Устройство архиепископской печатни со временем должно было пресечь их роль официальных типографов епархии, но времени у Дитера не оказалось. Тем не менее основанная им печатня продолжала работать на первых порах и после его смещения (индульгенция 1462 г. шрифтом «Католикона»). Вероятно, и ранее, а после «Католикона» безусловно Фуст и Шеффер держались партии Нассау: это спасало их от прямого разоблачения, утверждало (это видно по заказу листовок в пользу Адольфа) в функции официальных типографов, крушение Дитера избавляло от угрозы возвращения Гутенберга в Майнц. Каким же образом шрифт Дуранда оказался в ставке «паршивого пса» (так величало Изенбурга папское отлучение)? Не исключено, что на этот вопрос в ту пору пришлось отвечать Фусту (владельцем типографии был он); отличить типографию по шрифту было просто, это был всего четвертый в Майнце «почерковый» шрифт. Возникновение той небольшой и неполной отливки шрифта Дуранда, которой печатались листовки Дитера, можно отнести к предвыборному моменту — как контр-предложение (против шрифта «Католикона») для официальной типографии. Без принадлежности епархии вряд ли она могла попасть в руки сторонников Изенбурга. Но находилась вне архиепископской печатни, иначе был бы шрифт «Католикона»: возможно, что после смещения Дитера печатня особо охранялась. Бездействие ее в последующие годы объяснимо — и тем, что она была основана Изенбургом, и самоутверждением Фуста и Шеффера в качестве официальных типографов епископии. Как реплика на колофон «Католикона» и появился с 1462 г. их фирменный знак — два щита, в одном — две скрещенные линейки, в другом — угольник, т. е. орудия наборщика, плюс во втором щите три шести-

конечные звезды — символ троичного божественного света (переложение религиозной сути колофона «Католикона» на знаковый язык, тогда большинству понятный); задним числом он был оттиснут на еще не проданных экземплярах Псалтыри 1457 г.

Но оказалось, что с Гутенбергом не покончено. До изобретателя волна «милостей» Нассау к приверженцам недавнего своего противника (дело шло о вассальной присяге, для граждан вольного города унизительной) докатилась через полтора примерно года после примирения с Дитером. В грамоте Адольфа Гутенбергу не обязательно видеть просто княжескую подачку в обмен на присягу: звание и обеспечение придворного предлагаются ему — при условии присяги — за прежние услуги «нашей епархии» и в надежде на услуги будущие. И то и другое тогда понималось конкретно. Прямой услугой Гутенберга майнцской епархии была организация печатни «Католикона». Слова о будущих услугах тоже не пустая формула: деятельности типографии в Эльтвилле должен был предшествовать перенос ее из Майнца и устройство заново. Хотя грамота Адольфа предусматривала, что Гутенберг будет жить в Майнце (вероятно, возобновление печатни сперва мыслилось там), наезжать в Эльтвилль было близко. И здесь он, видимо, тоже обучал людей; по косвенным признакам первые во Франции печатники — Фрибургер, Кранц и Геринг, начинавшие при Парижском университете, учились своему делу в Эльтвилле. И вряд ли не от них получил сведения один из устроителей этой — первой университетской — типографии гуманист Гильом Фише, предисловие коего к первому выпущенному ею около 1470 г. изданию (G. Barzizius. Epistolae) — первое печатное прославление Гутенберга как изобретателя книгопечатания связывает его с местом близ Майнца. И запись дня его смерти сделана на экземпляре, принадлежавшем эльтвилльскому капитулу. По сообщению

Вимпфелинга (в «Хронике страсбургских епископов», 1508) Гутенберг в старости ослеп, что, судя по грамоте Нассау и по причастности изобретателя к эльтвилльской печатне, если было, то под самый конец его дней.

Зачем в таком случае типографии архиепископа понадобились формулы из колофона Фуста и Шеффера? «Милость» Адольфа к Гутенбергу и его возвращение в Майнц, т. е. официальная реабилитация, осложнили положение сообщников. Из дальнейшего видно, что голоса против их узурпации не умолкали никогда, и этот момент должен был вызвать новую вспышку. И был колофон «Католикона»: ни автор его, ни противостояние их заявке на изобретение в ту пору в Майнце забыты не были. Способ снять это противостояние Шеффер (Фуст в том году умер) нашел быстро: 17.XII.1465 г., через 8 месяцев после грамоты Адольфа, в колофоне «Декреталий» папы Бонифация VIII элементы заключительной формулы «Католикона» соединены с формулами, со времени Псалтыри 1457 г. принятыми в фуст-шефферовских изданиях; этим и восхваление прикреплялось к поименованным в колофоне Фусту и Шефферу (Шеффер после смерти тестя некоторое время сохранял в колофонах его имя). Это было возможно потому, что они несли функции официальных типографов епархии, и только с разрешения Нассау; по-видимому, возобновление епископской печатни без их протеста не обошлось. Соответственно — и тоже с санкцией Адольфа — «утрясались» с Шеффером колофоны эльтвилльские: сочетание в них формул из псалтырных колофонов со стихами из «Католикона» должно было означать, что Бехтермюнце тоже представляют официальную типографию. Как на первый из них в 1467 г. реагировал Гутенберг, остается тайной. В той же связи понятно и появление «Католикона» около 1470 г. в торговой афише Шеффера. Судя по использованию макулатурных листов, Шеффер в данном случае был не торговым

агентом, а просто купил у епархии все, что оставалось от «Католикона». По времени афиши это состоялось вскоре после смерти Гутенберга (на переплет издания 1465 г. макулатура могла пойти и тогда, тираж переплетался по мере распродажи). Рекламируя «Католикон» вместе со своей продукцией, Шеффер и для современников создавал видимость своей причастности к нему. Чем диктовалась смена шрифта в третьем вокабулярии Бехтермюнце, понять трудно, поскольку шрифт «Католикона» ожил в 1480 г. (но по вторичном избрании Изенбурга).

Собственная Шеффера честолюбивая конструкция — без Фуста — проявилась рано, в тех донатах шрифта B^{42}, колофоны которых, повторяя псалтырные формулы об изобретении, называют его одного со «своими инициалами». Последнее, кроме «авторской заявки», означает, видимо, что Шеффер их у Фуста купил, т. е. после второй Псалтыри начал собирать собственную печатню. Это наряду с его обозначением как слуги (т. е. наемного работника) Фуста в некоторых колофонах говорит, что до его женитьбы на дочери патрона в отношениях между обоими были разные фазы. И после смерти Фуста тоже. В издании Юстиниана от 28.V.1468 г. (сразу после смерти Гутенберга) приложена версификация корректора типографии (повторена в 1472 и 1473 г.), сообщающая, что первыми печатниками были два Йоханна, а затем к ним присоединился Петр, который их превзошел, причем как sculpendi lege sagitus — искусный резчик (гравер): теперь он понимал, что для притязаний на изобретение такая репутация необходима. Принять некоего второго Йоханна «в компанию» изобретателей было «прилично» и ни к чему не обязывало. Так началась та версия, которую спустя еще 15—17 лет он изложил Тритемию. Судя по отдельным штрихам, ученый аббат не просто встречался с Шеффером, а для выяснения спора об изобретении. По-видимому, ему был показан хельмаспер-

геровский акт (отсюда слова из жалобы Фуста в «Хирзауских анналах»). Вставал, видимо, вопрос и о колофоне «Католикона». И Шеффер, пользуясь анонимностью издания, представил этот все еще острый для себя документ как декларацию двух первоизобретателей (кстати, в 1482 г. умер и Изенбург). Исключен страсбургский период Гутенберга: Шефферу нужно перенести изобретение на время, совпадающее со ссудой Фуста (отсюда 1450 г.). Не столько, чтобы придать значение советам своего тестя: по Шефферу, Гутенберг и Фуст изобретают все способы предтипографской печати (литые матрицы вряд ли вообще были, они, видимо, спутаны с литыми «формами» — пластинами; см. гл. II), что позволяло приписать себе изобретение отливать литеры, «как это делают сейчас». Насчет усовершенствований, внесенных Шеффером, догадок много. Одно несомненно было — отказ от гутенберговской системы знаков. И столь же несомненно, что ничего по линии металлотехнических умений, он — и никакой писец — к изобретению Гутенберга добавить не мог. Сбивчивость технических сведений в его рассказе говорит скорее о том, что Шеффер с производством шрифта, включая гравировку, знаком был «вприглядку». Ему оно было не нужно — сперва по его функции наборщика (при его квалификации как книгописца, наверное, дорого оплачиваемой), затем потому, что объединение с Фустом позволяло поручать эту «черную» работу наемным людям, давая им образцы; у Шеффера было достаточно дела по производству и сбыту изданий. Были и другие отголоски его притязаний на изобретательскую славу. В 1499 г. в Венеции книга Полидора Вергилия Урбинского изобретателем книгопечатания называет Шеффера, вопреки более ранним итальянским известиям и как бы опровергая их ссылкой на его conterranei — земляков. Это повторено в изданиях 1503, 1509 и 1512 гг. (автор заменил Шеффера Гутенбергом в издании 1517 г., ссылаясь на

concives — сограждан — изобретателя). Их отголоски — в кантате 1505 г. синдика немецкого студенчества в Болонье Шеурля, восхваляющей немецкую нацию за изобретение книгопечатания — в 1460 г., кто бы его ни изобрел, Гутенберг или Петр (претворение колофона «Католикона»); в 1553 г. в «Нюрнбергской хронике» Пауля Ланге оба соединятся в одно лицо — Петера Гутенберга.

Однако именно Шефферу прослыть изобретателем книгопечатания не удалось. Более того, ему пришлось пережить воскресение славы Гутенберга. В течение посмертного 25-летия в Германии известно всего одно упоминание о нем — около 1475 г. в «Поэтической истории» * Ханса Фольца из Вормса, нюрнбергского стихотворца, цирульника и печатника своих стихов. Иначе за ее пределами. К предисловию Фише можно добавить: в 1474 г. в Венеции «Хронику» Рикобальда Феррарского под годом 1458 (год ордонанса Жансону) — Иаков (!) Гутенберг, Страсбург; в 1483 г. Supplemental chronicarum Джакомо Филиппо из Бергамо (в страсбургской версии, с оговоркой спорности в пользу «Фауста») и дополнения к «Хронике» Евсевия (с версией 1440, майнцской), вышедшие в Венеции у разных типографов. Но 1494 г. ознаменовался стихотворными прославлениями Гутенберга уже в хейдельбергских университетских кругах. А через пять лет, в 1499 г., в самом Майнце у Петера Фридберга (без колофона) выйдет сборник памяти первого ректора того же университета, в котором снова стихи, теперь Вимпфелинга — он в 1495 г. (в трактате Contra invasores sacerdotes) говорил о Майнце как колыбели книгопечатания, изобретателя не н а з ы в а я, — во славу Иоанна Ансикара (латинская калька фамилии Генсфлейш). И здесь же дальний родственник Гутенберга Адам Гельт-

* Poetische ystory von wannen das heylig roemische reich seinen ursprung erstlich habe und wie es darnach ins deutsche lant kumen sey.

хус поместит мемориальную надпись, включающую, кроме прославления изобретателя, извещение, что кости его счастливо покоятся в майнцской церкви св. Франциска *; похоже, что это было новостью, иначе — особенно в Майнце — зачем было об этом извещать? В том же году появится «Кельнская хроника» с ее рассказом об изобретении книгопечатания — в 1440 г., в Майнце Йоханном Гутенбергом, Майнцский гражданином, родившимся в Страсбурге, и о том, что печатать начали с Библии в 1450 г. — без упоминания Фуста и Шеффера (что тогда означало неприятие их — как кельнским прототипографом Ульрихом Целлем, который считается их выучеником, так и автором Хроники, и печатавшим ее Йоханном Кельхофом младшим). Еще через 5 лет, в 1504 г. (год-два после смерти Шеффера) Майнцский профессор канонического права Иво Виттиг поставит во дворе юридического факультета (Гутенбергхофа) памятный камень с надписью в честь Гутенберга **.

По известиям следующих двух-трех лет можно думать, что для утверждения изобретения за Гутенбергом в Германии тогда был благоприятный момент. Показательно, что в 1505 г. сын Петера — Йоханн Шеффер (в 1503 г. в издании Гермеса Трисмегиста уже объявивший своего деда автором искусства книгопечатания) поместил в немецком Ливии обращенное к императору Максимилиану предисловие того же Иво Виттига, сообщающее, что. изобрел книгопечатание в 1450 г. Гутенберг, улучшили и сделали постоянным Фуст и Шеффер, чем Майнц и прославился не только у немецкой нации, а у всех народов мира (еще претворение колофона «Католикона»). В том же 1505 г. Вимпфе-

---

* In felicem artis impressoriae inventorem D[eo] O[ptimo] M[aximo] S[acrum]. Johanni Gensfleisch artis impressoriae repertori de omni natione et lingua optime merito in nominis sue memyriam immortalem Adam Gelthus posuit. Ossa eius in ecclesie divi Francisci Moguntini feliciter cumbant.

** Камень в XVII в. пропал, текст надписи известен.

линг, 4 годами ранее (в своей Germania, изданной в Страсбурге) провозгласивший, что изобретение сделано в Страсбурге и завершено в Майнце, без всякого имени, теперь — в Epitome rerum Germanicarum — излагает, что «новый способ писать» был найден в 1440 г. страсбуржцем Йоханном Гутенбергом, который искусство печатания изобрел в Страсбурге, а затем в Майнце завершил (implevit). В 1506 г. Тритемий, в «Хронике монастыря Шпонхейм», аббатом коего он был, отводит Фусту лишь роль одного из «добрых людей», помогших изобретателю, а Шефферу — первого распространителя книгопечатания. И сразу начинается отбой. Уже в 1508 г. (в Catalogus episcoporum Argentinensium) Вимпфелинг, провозглашая, что книгопечатание изобретено к вечной славе германцев (еще колофон «Католикона»), и указывая 1440 г., в качестве изобретателя говорит лишь о «некоем страсбуржце», Гутенберга называя только в связи с майнцским завершением, причем «вместе с другими, которые ранее этим интересовались» (уступка фуст-шефферовской версии), * и не упоминает о нем более до своей смерти (1531 г.). По рассказу его племянника Якоба Шпигеля, тоже страсбургского гуманиста, на вопрос об истинном изобретателе книгопечатания дядя отослал его к прежним своим сочинениям; значит, Вимпфелинг при Гутенберге остался, но почему-то спрятался. В очередное пятилетие — 1509 г. — упоминаний Гутенберга в Германии не отмечено: к этой дате приурочены два издания майнцского Бревиария у Йоханна Шеффера, в колофоне коих изобретателем снова объявлен его avus maternus — дед по материнской линии — Йоханн Фуст (в этом году Йоханн Гутенберг из Страсбурга в качестве изобретателя упоминается в Италии, в книге Джанбаттиста Фульгозо De dictis factisque memorabilibus, написанной в 1494 г.). В 1515 г. в колофоне Йоханна Шеффера к Compendium annalium regum Francorum Тритемия уже повествуется

подробно, как Фуст в 1450 г. «из собственного ума» начал изыскивать книгопечатание, в 1452 г. завершил его при помощи многих дополнительных изобретений своего помощника и приемного сына Петера Шеффера, за которого в награду отдал свою дочь (даты совпадают — первая с годом ссуды Фуста, вторая — с договором о «деле книг»). В те же годы рождается контаминация шпонхеймской версии с этой в «Хирзауских анналах» Тритемия. В 50-летие смерти Гутенберга — в 1518 г. — Йоханн Шеффер получит официальное засвидетельствование первоизобретательства своего деда — в привилегии императора Максимилиана, которую обнародует на обороте титульного листа своего латинского Ливия. И это поддержит своим авторитетом в предисловии к изданию Эразм Роттердамский. И сразу — в Хагенау — последует реплика Франциска Иреника, ученого, как раз в том году примкнувшего к Лютеру: в его Exegesis Germaniae вимпфелинговская формула — Гутенберг в Страсбурге изобрел, в Майнце завершил — сопровождается замечанием, что истинный автор изобретения обокраден на свою славу. Ему в 1519 г. Йоханн Турмаир противопоставит повесть Йоханна Шеффера из Тритемия 1515 г., добавив к ней Гутенберга в роли Фустова слуги. Отныне на контроверзе будет сказываться идеологическая буря, расколовшая интеллигенцию Германии на множество страстных лагерей: выбор героя нередко будет определяться принципом противоположности герою другого лагеря.

Несколько ранее — в 1514 г. — возникло одно особое поминание Гутенберга, дошедшее лишь в Кельнском архиве — стихи гуманиста Йоханна Бутцбаха, повествующие, что изобретатель книгопечатания был худо вознагражден за это благодеяние: однажды некие злодеи выволокли его из дома, посадили в телегу, вывезли из города, а затем он был найден задушенным в бочке. Имя изобретателя не названо, но Бутцбах (прозвание по местечку в майнцском дио-

цезе) в 1494 г. был в Майнце, был связан с Вимпфелингом и не мог разуметь никого, кроме Гутенберга. Сама дата его стихов указывает на это. Неясно, в какой связи установилось с конца XV в. это ежепятилетнее поминовение. Не исключено, что в 1494 г. оно связано с перенесением праха Гутенберга в церковь св. Франциска (если так, то этого добился Адам Гельтхус). Проверить истинность сообщения Бутцбаха вне наших возможностей. В нем отразилась несомненно майнцская версия. Даже если она — только слух, бытование такого слуха о мирном окружении изобретателя в его родном городе не говорит. И записана она в период нагнетания фуст-шефферовской фальсификации.

То же можно сказать о ментелиновской легенде. Неважно, коренилась ли она в семейной традиции Шоттов, диктовалась ли их конкуренцией с Шефферами или отчасти — стремлением спасти честь Страсбурга как родины изобретения. Ментелин никогда на изобретательскую славу не претендовал. Человек дельный и богатый, служивший нотарием того епископа Руперта, при котором появился первый колофон изобретателя, он, устроив типографию около 1458 г., начал печатную деятельность, словно принимая эстафету от Гутенберга, с анонимной латинской Библии (но в деловом шрифте, что было образцом для фуст-шефферовской Библии 1462 г.). Его обильная и разнообразная продукция либо анонимна, либо снабжена скромнейшим колофоном. Испрошенного у Фридриха III герба в своих изданиях он не употреблял. Т. е. словно нарочито взял противоположную Фусту и Шефферу линию поведения. Из того, что Шеффер в разговоре с Тритемием подчеркивает Страсбург как первое место, куда книгопечатание перешло «через помощников», можно заключить, что Ментелин типографскую сноровку получил в майнцской печатне Гутенберга. Как раз между 1450 и 1455 г. его присутствие в

Страсбурге, в целом подробно отраженное, не отмечается. Поскольку нотарием Руперта он остается до 1468 г., возможно, что он отбыл в Майнц с епископского соизволения. Были предположения, что он встречался с Гутенбергом в Страсбурге ранее 1444 г. Но Ментелин числится там (в цехе ювелиров в качестве золотописца) только с 1447 г.; их встреча могла состояться в этом же году, при остановке Гутенберга в Страсбурге на пути в Майнц. Мог ли Ментелин получить типографское умение раньше, от членов страсбургского сообщества? Вряд ли, даже если оно продолжало существовать и печатать, что сомнительно, хотя не исключено: есть запись тюбингенского профессора XVI в. Мартина Крузия об издании воскресных проповедей на Евангелия и Апостол с датой 1444 г.; есть сведения, что издание с тем же годом было в библиотеке петербургского библиофила XIX в. П. Я. Актова *. Издания эти ненаходимы (и могли быть напечатаны до марта). Известны и реальные экземпляры книги De contemptu mundi — «О презрении к миру» Лотария Конти (папы Иннокентия III) с датой 1448. Но, конечно, принято считать, что дата этого издания, видимо, страсбургского (сперва приписанного Ментелину, затем Эггештейну) ошибочна, и подтягивать его к 1470 годам. Как бы то ни было, условия первых договоров исключали обучение других лиц искусству Гутенберга. Однако и встреча с Гутенбергом в 1447 г., если она была, и обучение в Майнце с 1450 г. предполагают, что об изобретении Ментелин знал раньше. Считалось, что узнать это он мог от служившего до 1457 г. епископским секретарем Хейнриха Эггештейна, который в 1442—44 гг. одновременно с Гутенбергом числился в списках страсбургских Nachkonstoffler (см. гл. III). В 1457—59 гг., после возвращения Ментелина в Страсбург, Эгге-

---

* Этими данными автор обязана П. Н. Беркову.

штейн оттуда отбыл — явно в Майнц, ибо, вернувшись, завел печатню, тоже начав с анонимной латинской Библии, также в деловом шрифте. Вероятно, что и он и Ментелин узнали об изобретении из гутенберговских колофонов 1440 и 1442 гг. С той, видимо, разницей, что Ментелин искал встречи с изобретателем (и в этом могла быть роль остатков страсбургского сообщества), а Эггештейн лишь последовал его примеру. Есть мнение, что Ментелин создавал образцы для псалтырных инициалов. Умер Ментелин в 1478 г.

Первая гласная заявка в его пользу появилась в вышедшем у Йоханна Шотта в 1520 г. Птоломее — с гербом Ментелина и надписью, величающей его изобретателем книгопечатания, — явный противовес императорской привилегии в Ливии 1518 г. Йоханна Шеффера. В 1521 г. гуманист Иероним Гебвилер (в Panegyris Carolina), поддерживая эту версию против фустовской, датирует «изобретение» Ментелина 1447 г. (что могло бы быть реминисценцией печатни, выпустившей Лотария 1448 г.), но далее возвраща-

Altissimi presidio cuius nutu infantium lingue fi
unt diserte. Qui q3 nimiosepe puulis reuelat quod
sapientibus celat. Hic liber egregius. catholicon.
dñice incarnacionis annis M cccc lx Alma in ur
be maguntina nacionis inclite germanice. Quam
dei clemencia tam alto ingenij lumine. dono q3 gra
tuito. ceteris terrarum nacionibus preferre. illustrare
q3 dignatus est Non calami. stili. aut penne suffra
gio. s3 mira patronarum formarum q3 concordia ppor
cione et modulo. impressus atq3 confectus est.
Hinc tibi sancte pater nato cū flamine sacro. Laus
et honor dño trino tribuatur et uno Ecclesie lau
de libro hoc catholice plaude Qui laudare piam
semper non linque mariam DEO. GRACIAS

Колофон «Католикона» 1460 г.

ется к дате 1440. Якоб Шпигель, примкнувший к шоттовской пропаганде сразу после смерти Вимпфелинга, в 1531 г. указывает 1444, в 1541 г. — в Lexikon juris civilis — 1442. Йоханн Шотт в 1436 г. в первом издании своей рифмованной хроники (Kurtz viler Historien Handbuchlein) относит ментелиновское изобретение к 1440 г., отмечая, что в Майнц оно попало durch untrew (через неверность). Эта подстановка под Ментелина гутенберговских дат у Шотта и Шпигеля, об истине знавших и, вероятно, еще видевших те издания с колофонами Гутенберга, на которых эти даты зиждятся (и какое-то издание 1444 г.), была сознательной фальсификацией. Из нее выросла уже не антифустовская, а антигутенберговская схема, которая с фиоритурами (Генсфлейш — укравший изобретение ученик или слуга Ментелина, печатавший в Майнце на средства богатого Гутенберга и за неверность наказанный слепотой; Ментелин, умерший с горя, и пр.) печатно и рукописно распространялась окружением Йоханна Шотта. Здесь уже знание роли не играло, а расцвечивалась — за счет слухов о роли Петера Шеффера по отношению к Гутенбергу — уклончивая версия «Каталога страсбургских епископов» Вимпфелинга. Так была подготовлена калька и для костеровской легенды (см. гл. II). Так кража изобретения Фустом и Шеффером, оформленная колофоном Псалтыри 1457 г. и, судя по развитию мотива кражи, в качестве таковой оцененная современниками, дала повод присваивать славу изобретателя книгопечатания любому желаемому кандидату, проецируя обвинение в краже на остальных, в том числе на Гутенберга.

К первому столетию книгопечатания и в Майнце и в Страсбурге проявляется противодействие и фустовской и ментелиновской фальшивкам. Страсбургский лютеранец Каспар Хедио (в Paraleipomen rerum memorabilium 1537 г.) сразу после рифмованной хроники Шотта пере-

сказывает вимпфелинговскую версию 1505 г. — называет изобретателем Гутенберга, отмечая спорность в пользу Фуста, но год принимает 1446, которого в других известиях нет. В его же немецкой переработке «Хроники» Куспиниана (Страсбург, 1542) пересказана шпонхеймская версия Тритемия, с подробностями лишений Гутенберга (обозначенного как страсбуржец) до встречи с помогшими ему «добрыми людьми» — Фустом и Генсфлейшем (!); изобретение, — возможно, в противовес ментелиновскому «юбилею» 1540 г. — относится к 1450 г., с отметкой спорности в пользу Петера Шеффера; Ментелин упомянут лишь как страсбургский печатник. В Майнце — предупреждая, види-

Символика немецкой «Сивиллиной книги».
Brant S. Varia carmina.
Страсбург, 1498 г.

мо, фустовское столетие 1450—1550, гутенберговская традиция утверждается в 1541 г. латинской поэмой (Encomium calcographicum) Йоханна Арнольда из Марктбергеля (Bergellanus), вышедшей apud s. Victorem extra mums Mogunliae ex officina Francisci Beham, т. е. в типографии при монастыре св. Виктора под Майнцем, где автор был корректором. Расписывая в предисловии свое стремление следовать Тритемию и выспренне восхваляя стихами «святую триаду» — Гутенберга, Фуста и Шеффера, он тем не менее вставляет в стих, что в тяжбе Фуста против Гутенберга «устрашенный суд» вынес неправильный приговор, который «сегодня тяготеет над судьями» (Causa fori tandem pavidi defertur ad ora Hodie pendet iudicis inque sinu), то ли как возбужденный кем-то и незавершенный пересмотр дела, то ли как висящая над судьями вина неправого решения. Эти строки вводят никем не затронутый факт, в котором трудно усомниться: преемственность шла от монастыря св. Виктора (в братстве при коем из участников тяжбы были Гутенберг в последние свои годы и Хельмаспергер). Само его противоречие дифирамбической триаде говорит о реальной основе. Знал ли Бергеллан больше, чем сказал? Не для того ли возносил Тритемия и «божественный принцип» троичности, чтобы ввести Гутенберга (для майнцского официоза его тогда не было, были только Фуст и Шеффер)? По тому, что через 85 лет после тяжбы память о ней была еще жива, можно видеть, какое впечатление оставило в Майнце крушение Гутенберга.

Исследователь вправе выбирать своих героев, может почитать Гутенберга, может Фуста и Шеффера, дело склонности. Но ученый должен почитать каждого за то, чем он был. Присвоить изобретение Гутенберга почтенный его компаньон вместе с достойным учеником могли только бесчестным путем. А далее Шеффер (жаждавший вырвать славу изобретения и у Фуста) изворачивался смотря по обстоя-

тельствам, дабы максимум первичной заявки закрепить за собой. Даже квалификационный подход к шрифтам и изданиям Гутенберга вряд ли не восходит к тому же: мог ли Шеффер, доказывая свое право на изобретение, не сопоставлять гутенберговскую «низкопробную» мелочь, «некрасивые» шрифты (DK, «Католикона») и т. д. с красотой «своей» Псалтыри, шрифта Дуранда и пр., с солидностью своих изданий? Ситуация и методы стандартные, распознать их мешает только предрассудок, будто в этом плане XV в. отличался от последующих. Это исходное положение определяет и разноречивость ранних известий: ключ к ним дается только сознанием, что они отражают различные позиции в борьбе гутенберговской традиции и фустшефферовской фальсификации (ментелиновская и костеровская легенды — прикрепление первичной ситуации к другим именам) или попытки создать некую «среднюю правду», какой ни в данном случае, ни вообще нет и быть не может. Самый источник ее первого возглашения — изобретшие книгопечатание два Йоханна, превзойденные Петром, в шефферовских изданиях 1468, 1472 и 1473 гг. показательны: смерть Гутенберга не могла не оживить в Майнце обвинений в краже изобретения, которые Шеффер парировал с наименьшим для себя ущербом (а если смерть Гутенберга была такой, как описал Бутцбах, то Шеффер этим защищался от неизбежных в таком случае обвинительных слухов); по разговору с Тритемием видно, что львиную долю в изобретении он хотел оставить за собой. Не его вина, что скинуть обоих Йоханнов у него не вышло. Что эту «среднюю правду» в разных вариантах — с перевесом Гутенберга или без такового, с «добрым» Фустом, с усовершенствованиями Шеффера и пр. — в ближайшем будущем повторяли ученые, истину знавшие, объяснимо нежеланием разоблачать ведущую майнцскую фирму, опасением конфликта. (Даже нюрнбергский гуманист Хартманн Шедель

в своей «Всемирной хронике» 1493 г., поместив изобретение под 1440 г., отнес его к Майнцу и имени изобретателя не назвал не по неведению: его издатель Антон Кобергер и книгопечатанию учился, видимо, в Майнце, еще застав Гутенберга в живых, и в Нюрнберге начинал в компании с Зензеншмидтом, который прежде работал с Кеффером, а выучку проходил либо в Майнце, либо в Бамберге у Гутенберга). Было и склеивание трех благостных фигур для немецкого пантеона. А сейчас, когда глазурованной триаде железно противостоят документы? Объективизм — отнюдь не объективность. В том его порок, что он ищет и клеит «средние правды», так что, к примеру, Пушкин «сам виноват», что его затравили и убили, у него был «плохой характер». Плохой характер примышливают и Гутенбергу, но хуже тенденция «разумно комбинировать» — мошенничество между ним и Фустом, изобретение между ним и Шеффером и т. д. Кто хочет, может умиляться жажде Фуста прослыть изобретателем книгопечатания, ловкостью, с какой он обошел Гутенберга, умом в выборе сообщника. Можно отдавать должное издательскому труду Шеффера, его шрифтам (из них шрифт Дуранда худший, манерен и трудночитаем), его саморекламе (в издательском проспекте 1472 г. он именует себя «магистром печатного искусства»), даже его претенциозности (греческий шрифт в его Цицероне 1465 г. для гречески грамотных был смешон, но все же он был первым), даже упорству, с каким Шеффер, вынужденно отступая, взлезал на изобретательский пьедестал. Но Гутенберг жил и измеряется в других категориях, ибо книгопечатание изобрел он.

* *
*

Глава
IX

Infoelicem artis impſſorie inuentorē.
D O M S
Joanni genſzfleiſch artis impſſorie repertori de omni
natiōe ⁊ lingua optime merito in noīs sui nicmoriā immor
talē Adā Gelthus poſuit oſſa eius in ecclia diui Frāciſci
Maguntina foeliciter cubant.

lebēn [illegible] muize do bien do got [illegible]
gebē Sie gene mit ſchreckē dobien Die
got nye erkante noch forchte en Niema
mag ſich ūbergē nicht Vor dē gotlichē
angeſiecht Ariſtus wil do urtel ſprechen·
Vn̄ wil alle boſzheit rechen Die nie ge-
dadē den willē im Den wil er gebē ewige
pin Vn̄ wil den gudē gebē Sy vm freude
vn̄ ewig lebē Sūt die werlt vn̄ alle ding
Die in d̄ werlt geſchaffē ſint Zu gene
vn̄ werdē auch zu nicht Als man wol

«Следы медведя»

Идейный смысл подвига Гутенберга

Вряд ли можно утверждать, что об изобретателе книгопечатания известно меньше фактов, чем о тех его современниках, которые, как и он, занимались ремесленными искусствами. Но факты без той шахматной доски, на которой они разыгрывались, и без как бы правил игры, т. е. доминирующих противоречий эпохи и моделируемого ими поведения людей, остаются бессвязными. Стоит ли через пять веков восстанавливать их связь? Страсбургский реформатор Хедио, отмечая спорность изобретения Гутенберга — в 1537 г. в пользу Фуста, в 1549 г. в пользу Шеффера, оба раза отделывается поговоркой: когда медведь уже здесь, зачем искать его следы. Насчет медведя оно справедливо, в приложении к подвигам духовным уподобило бы человечество тому вавилонскому царю, который по проклятью библейского пророка должен был есть траву перед собой. Историческая память и поиски исторической истины — одно из отличий человека от других обитателей Земли, только ему дано стремиться к той общности, которая проходит сквозь века, к подлинным судьбам и мысли ее героев.

Возможно ли сейчас подойти к разгадке той идеи, которой определялся жизненный путь Гутенберга? Словесно она нигде не выражена. Достаточно ли этого, чтобы мерить изобретателя вульгарным среднеарифметическим, усматривать жажду наживы в его изобретении? При всей трезвости имущественных расчетов той идеалистической поры целью наживы она определялась не всегда, ибо и тогда никакое дело без денег сделано быть не могло, разве что босоногая проповедь. Ради наживы великие изобретения и

открытия вообще редко делаются, она, как правило, строится на чужих. И ни Гутенберг, каким он предстает при непредвзятом прочтении актов и известий, не вмещается в эту схему, ни эпоха, в какую он жил. Эпоха, тем труднее поддающаяся социологизации, что классовые свои интересы четко сознавала в основном феодальная верхушка, борясь за свою гегемонию не только с классовым своим антагонистом — крестьянством, но и с прочими сословиями, включая духовное. Отчасти поэтому в остальных социальных слоях и сословиях и сознание и интересы были спутаны, как в высшем плане — возрождении первохристианского утопизма, так и в низменном. Бюргер или крестьянин, обвинивший соседку в ведовстве, дабы, отправив ее на костер, получить часть ее имущества; клирики, писавшие донос на своего зааристотелившегося епископа; забытые ныне парижские, кёльнские, оксфордские профессора, изыскивавшие еретизмы в сочинениях одаренных своих коллег (даже столь католичных, как Аквинат), и многие подобные — весь этот «средний мир» корысти, зависти, косности, облипавший ступени средневековой иерархии, столь же ведущий, как и ведомый, в основном спекулировал на любой идейной или социальной ситуации. Попытки увидеть в Гутенберге служителя «искусства для искусства» при всей красоте 42-строчной Библии и псалтырных инициалов с его эпохой несовместимы. Такая красота, с той же немыслимой в наш поспешный век тщательностью в деталях присущая всем «искусствам» Средневековья, включая вполне утилитарные, в типографской книге нужна была лишь для скачка от книгописного производства к механическому. Все же эстетская трактовка, поскольку она предполагает чему-то служение, оказалась плодотворней голо чистоганной. В последней из значительных работ этого направления автор (Ф.-А. Шмидт-Кюнземюллер), исходя из того, что техническое творчество, хотя является поиском абстрактного

конструктивного совершенства, всегда связано с идеей пользы, допускает таким образом в жизни Гутенберга некую внутреннюю миссию. Если же исходить из расстановки сил и правил игры первой половины XV в., то ни погоня за наживой, ни поиски абстрактного совершенства стимулом для его изобретения и печатной деятельности стать не могли, ни «идея пользы» быть столь смутной.

Прежде всего: изобретение книгопечатания от других технических достижений отличалось тем, что не могло быть сделано в процессе производственной рационализации: оно требовало ремесленных (металлотехнических) умений и знаний, которыми переписчики книг (равно как книжные ученые) не владели. Для ремесленного мира, включая его аристократию — ювелиров, даже художников, книга (если не считать сопутствующих производств: пергаменного, бумажного, переплетного) была предметом потребления. Тогдашняя книжная торговля никакой выгоды вкладывать деньги в изобретение способа многократно и единовременно повторять одну и ту же книгу подсказать не могла. Книжное дело, благодаря необходимым для него навыкам и знаниям и по его заземленности в идеологии, оставалось производством духовным и с миром ремесла — производства материального — не соотносилось. И этот разрыв предержащим властям светским и церковным был желателен. Поскольку по условиям задачи это изобретение могло быть сделано лишь «профаном», оно в ту пору из прямого служения церкви исходить не могло, сама эта мысль для такого человека была еретичной, тем более в отношении Библии. Последнее, кроме всего, нарушало мистическую прерогативу духовного сословия, что понятно лишь с учетом значения, какое в христианстве придавалось слову (хотя бы первый стих Евангелия от Иоанна: «Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог»). В отличие от более ранних — X—XII вв., когда монахам и клиру отказ от

litterae humanae — писаний человеческих для чтения и толкования «Священного писания» вменялся в заслугу, на данном этапе церковь (как институт, ибо люди в ней были разные) поощряла скорее обратное. Книгопечатание лишь впоследствии оказалось в русле ее интересов, в том числе цензурных (при рукописании требовалась проверка каждого списка, при тираже — одного экземпляра). В период, когда изобретение произошло, для того, чтобы состоялся стык необходимого для него технического умения с задачей тиража, нужна была заинтересованность владеющего этим умением ремесленника не в выгоде, а в распространении наиболее насущных с его точки зрения книг, т. е. причастность к идеологической борьбе эпохи, причем неизбежно — к позиции просветительской (иначе множественность экземпляров была не нужна), а потому — в удешевлении именно этих книг. Гутенберг был ювелиром, человеком вовсе не книжного мира. Чтобы такому человеку в то время прийти к мысли приложить свое умение к книжному делу, нужна была еще и подсказка среды, ставившей цели книжной пропаганды и обладавшей неким направлением книжного кругозора, связь изобретателя с теми мистическими сообществами мирян, которые ставили религиозно-просветительные цели, т. е. со строительством «церкви духовной». Оно предполагало неограниченное число экземпляров относительно небольшого подбора текстов (библейских и готовивших к чтению Библии — буквально или истолковательно), что само взывало к механизации. Так объяснимо, почему этот человек, в делах весьма трезвый, все состояние вложил именно в это, далекое от его житейской сферы и ставшее для него разорительным дело: для него оно было служением богу через служение людям, а, быть может, и скрытой формой обнищания (отказ от имущества тогда был — для несемейных — условием мистического «пути к спасению», отказы от него мирян преследо-

вались; см. гл. I). Идея просвещения — проповеди через книгу — подсказывает сближать Гутенберга с подобными Братству общей жизни сообществами мирян, для которых переписывание отвечавших этой задаче книг было «добрым делом» — служением «человеческому спасению».

Вывод, что Гутенберг был монашествующим в миру, напрашивается сам: в отличие от нормального для всех, кроме монашества и клира, положения, он не имел ни жены, ни детей. И переломным можно считать «белое пятно» в страсбургском его пребывании — промежуток между 1434 и 1437 г. Так объясняется и неудача иска Эннелин zu der Iserin Tür о нарушении брачного обещания (см. гл. III). Переломность этого момента подтверждена и косвенно: мастеру, державшему учеников, — а они по правилам жили у него в доме, — полагалось иметь жену, которая должна была о них заботиться как хозяйка, с чем, видимо, и были связаны брачные намерения Гутенберга. Вместо этого наряду с отказом от Анны возник проект мужского общежительства («бурсы») при монастыре св. Арбогаста, на некий краткий период, видимо, осуществленный. Тот же момент — 1436 г. — указан (см. гл. III) как начало печатной деятельности Гутенберга или заготовки материала для нее. И встает вопрос — точно ли предпринимательское товарищество, а не скрытое под маской деловых соглашений вместе живущее и кормящееся общим трудом — трудом книжным — религиозное, типа бегино-бегхардовских и подобных, сообщество устраивал тогда Гутенберг? Уточнить, к какому именно течению монашествующих мирян он примыкал, вряд ли возможно: все это были оттенки одного движения, всеевропейски разветвленного, принимавшего местный отпечаток, частью сокрытого. Как схема для Братства общей жизни типичен общий труд и совместный быт, бегинская традиция допускала одиночность. Гутенберг после Страсбурга попыток организовать общину, по-видимому, не де-

лал, по деятельности же он и нес «проповедь письмом», хотя «искусственным», и грамоте — но типографской — учил до конца. И в Голландии в какой-то момент — вероятно, между 1434 и 1436 г. — он, видимо, был, и в контакт с братскими общинами вступал: сведения «Кёльнской хроники» 1499 г. (тогда голландских приоритетных притязаний не было) о голландских донатах, давших прообраз его изобретению, вероятно, восходят к нему самому. Способ же печати этих донатов (с литых металлических пластин) скорее всего был найден именно в братских общинах — как приспосабливание ремесла своих членов (в данном случае ювелиров) к нуждам «проповеди письмом»: донат как ключ к «священной» латинской грамоте, был первой ступенью к источнику «вечного спасения» — Библии (эта идея есть в «Букваре» 1574 г. Ивана Федорова — «Начальное учение детям хотящим разумети Писание»).

В пользу того, что страсбургское сообщество было не просто производственным, а духовным объединением, говорят некоторые детали актов 1439 г. Предвиденная Андреасом Дритценом невозможность соглашения между его братьями и Гутенбергом для производственного товарищества необъяснима. Для такового странен договор на случай смерти кого-либо из участников: по сути он для них всех означал отказ от личного имущества, хотя обусловленный — сроком договора и размерами того, что у каждого оставалось сверх вклада в общее дело. Показателен и ответ Андреаса — на совет двоих свидетелей выйти из сообщества, — что он «должен» свое имущество отдать (на что оба сказали ему почти одно — если должен, то отдай и не говори об этом). Судя по этой и другим частностям — займу у Антония Хейльмана на стороннее дело, оставшимся после Андреаса драгоценностям (они упоминаются в тяжбе между его братьями из-за его наследства) и др., он метался между принятым, хотя временно, безымущественным

«путем к блаженству» и приверженностью к своей собственности, начинал еще личные (ювелирные) предприятия, отчего и запутался в долгах. Неясно, оставалась ли какая-нибудь собственность у Гутенберга: средства его по всей видимости шли на изобретение, т. е. на общее дело; и в дальнейшем имущества за ним не видно. Если то была братская община, то почему, несмотря на участие в ней священника (принадлежность к сообществу Антония Хейльмана явствует из его слов, что Андреас «с нами бурсы не имел»; они же подводят к мысли, что именно Андреас Дритцен из общежительства почему-то выбыл) и при открытом существовании многих братств нужна была эта тайность? Особенно в годы Базельского собора, в 1433 г. признавшего даже богемских чашников, что само смещало границы и признаки еретизма? Разрыв Собора с папой, создав идеологическое двоецентрие, и объявленный немецким духовенством нейтралитет, избавлявший от повиновения обеим высшим церковным инстанциям, оставляли каждому из князей духовных и светских свободу выбирать позицию и преследовать иные в пределах своей юрисдикции. Тайность могла диктоваться местными условиями, тем более, что для организации общины требовалось разрешение, но и безусловной еретичностью направления самой общины. Возможно, что Гутенберг представлял свойственную многим открытым мистическим объединениям того времени тайную линию (это, если понимал, то, видимо, один Антоний Хейльман; Риффе как персонаж почти без речей неясен). В тайне соблюдалась не только техническая сторона дела, но и назначение тех «относящихся к печатанию» приспособлений, над которыми с 1436 г. шла работа. И это возвращает к вопросу, зеркала или «зерцала» готовили к аахенской ярмарке Гутенберг и его товарищи.

О малой совместимости «зеркальной» гипотезы с теми условиями, какие предстают на процессе 1439 г., было вы-

ше (см. гл. III). Аахенское паломничество для душеспасительной «проповеди через книгу» путем множественной и удешевленной ее продажи давало типичный повод. Что из всех «зерцал» того времени речь могла идти именно о «Зерцале человеческого спасения», сторонниками такого (а не «зеркального») толкования было угадано с завидной точностью, несмотря на неверную посылку (см. гл. II). Построенная на сопоставительно-символическом толковании Ветхого и Нового завета, эта анонимная латинская версификация (в XV в. ходившая также в немецком, голландском, французском переложениях) являет образец собственно мистического просветительства. Возникла она в XIV в., был список, в котором в качестве автора назван Конрад (ум. после 1370) из Альтцхейма, относящегося к майнцскому диоцезу (что сблизило бы первичный круг ее распространения с жизненным ареалом Гутенберга). Была ли нужда скрывать этот замысел? Для первого известного издания «Зерцала» путем сравнения его вариантов (двух латинских и двух голландских, частью сочетающих текст ксилографический и типографский) с рукописной версией и позднейшей печатной (равно как и на связанной с «Зерцалом» и по направлению и по времени лубочной «Библии бедных») несоответствие церковному канону — «идеологическая незавершенность» — и попытки церковной редакции прослежены (Л. Донати). Сюжеты поэмы частью апокрифичны: так сошествие Христа в ад с изведением оттуда праотцев, начиная с Адама (это означало как бы снятие первородного греха и было основой ереси адамитов), или один из эпизодов хвалы «деве Марии» с заглавием «златая трапеза во храме солнца» и др. Сопоставительное толкование в ту пору легко переходило в действие. Это видно на роли библейской топонимики (гора Сион, гора Фавор, давшая название самопризванному «божьему войску» — таборитам, и др.) в чешской антифеодальной революции, на фоне кото-

рой множественное распространение «Зерцала» как пути к самостийному познанию «божественной истины» было не столь «безвредным», как кажется ныне. В традиции сопоставительного толкования была изобразительность (в расчете на постижение истины через чувства, по третьему периоду Иоахима де Фьоре, сама традиция, быть может, шла от его «древа жизни»; см. гл. I). Во всех изданиях Гутенберга изображений нет. Можно ли допустить, что «Зерцало» мыслилось иначе? Вспомнив расплавленные на Рождестве 1438 г. по распоряжению Гутенберга и в его присутствии «формы», можно: срочно, единовременно, под своим смотрением расплавлять литеры вряд ли была нужда, изображения, если не канонические, перед лицом какой-то угрозы — бесспорно. В «Зерцале» (в первом известном издании) в числе прочих есть гравюра — пашущий мотыгой Адам и прядущая Ева. Сюжет апокрифический, а главное — прямая аллюзия на формулу Джона Болла «Когда Адам пахал, а Ева пряла, где был господин?», которая жила и в немецком крестьянском движении XV в. Было ли «Зерцало» осуществлено и в какой технике? Допустимо, что хотя бы частично было, ибо Андреас Дритцен перед смертью возлагал надежды на распродажу какой-то — значит, хотя бы полуготовой — продукции сообщества. Что касается техники, то для изображений можно думать о высоких литых формах. В отношении текста наблюдение (Л. Донати), что в латинской версии первого известного издания «Зерцала» (в нем смешаны листы полностью ксилографические и листы с типографским текстом) часть ксилографических листов скопирована с типографских (до нас не дошедших), допускает существование более раннего издания. Можно предположить, что на «Зерцале» Гутенберга произошел скачок от печати текста с литых пластин к набору. В какой мере оно было реализовано, могло ли стать образцом для голландского резчика 30 лет спустя, даже предположений строить

нельзя. В данной попытке — подойти к идейному смыслу подвига Гутенберга — это и несущественно.

Ни принадлежность к некоему духовно-просветительному сообществу, ни печатание «Зерцала» разгадки жизненной и посмертной судьбы Гутенберга не дают. Из братств выходили и деятели весьма консервативные: Николай Кузанский, начав в 1431 г. как сторонник соборного движения, с 1437 г., вопреки «простому» (и немецкому) своему происхождению, переметнулся к Евгению IV и далее, став кардиналом, служил как антиреформатор — проповедовал в Германии сбор средств на постройку собора св. Петра в Риме, поддерживал Нассау против Изенбурга, до конца жизни вел борьбу за свой бенефиций — назначенное ему вопреки местному капитулу и герцогу Бриксенское епископство. В его биографии загадки тоже есть: неясно, когда он вступил в духовное звание, кардинальскую шляпу от Евгения IV он получил тайно. И безусловно, что учение Иоахима он знал, но карьеризм перевесил. От тайн биографии Гутенберга веет катастрофами. И начало их заложено в страсбургском периоде. Документов и известий об этом нет, полное молчание. Только в нотариальном акте 1455 г. по наличию двух связанных со Страсбургом свидетелей с обеих сторон видится, что в тот момент его страсбургская деятельность играла какую-то роль. Какую? Для ответа нужно уяснить другое: какая пружина могла сработать, чтобы наглая по сути стряпня первой статьи фустовского иска была взята за основу судебного решения? Другими словами, чем ростовщик Фуст мог устрашить суд? В ту пору для этого были три способа — власть, сила оружия и обвинение противника в ереси. Первыми двумя Фуст не обладал, остается третье. Иного средства избавиться от Гутенберга и остаться владельцем его изобретения, типографии и изобретательской славы у Фуста не было. По такому обвинению могли быть разные кары — костер, пожизнен-

ное заточение, важно, что с конфискацией имущества. Первый — денежный — пункт иска и был продуман, чтобы получить не треть его, а все полностью. Отсюда небрежность расчетов: по изъятии Гутенберга кто мог их оспорить? Донос о ереси мог быть сделан особо, мог и составлять следующие статьи иска, что Фусту было выгодней. Судя по тому, что, кроме хельмаспергеровского акта, все дело исчезло (а при таком содержании сохранять его ни приверженцы Фуста и Шеффера, ни адепты Гутенберга, ни сторонники совместных версий изобретения последующих времен заинтересованы не были), так он и сделал. Гражданский характер иска сему не мешал, лишь бы подобрать удачные детали, в чем и клирик Шеффер мог быть полезен и Йоханн Бунне. Какой суд разбирал дело, неизвестно, имена судей не сохранились, Хельмаспергер был нотариусом майнцской епархии, по доступным обозрению его актам (они касаются сделок монастырей с частными лицами) чисто гражданских дел не видно. Место присяги Фуста — францисканский монастырь — для гражданского суда (имевшего постоянное помещение с алтарчиком для присяги) нехарактерно. Иск с обвинением в ереси подлежал рассмотрению суда духовного (гражданские дела его не касались). Однако это — самое страшное в те времена — обвинение Гутенбергу удалось от себя отвести. И понятно, что судьи, оправдав его в главном, во избежание доноса Фуста и его компании в высшие инстанции (который затронул бы уже и самих судей) почли за благо оставить истцу всю за малым исключением требуемую им добычу.

К мысли, что именно в страсбургской типографской деятельности следует искать начала жизненной и посмертной катастрофы Гутенберга, подводят как раз те из ранних известий, которые утверждают его первоизобретательство. «Кёльнская хроника» 1499 г., сообщив, что книгопечатание изобрел он в 1440 г., говорит, что печатать начали в

1450 г. в Майнце с латинской Библии, а в промежутке «изыскивали искусство и что к нему принадлежит», добавляя, что всякий, кто утверждает, будто что-либо печатали ранее этого, vurwitzig — неуместно любопытен, т. е. хронист как бы предлагает в это не вникать. Что Шеффер в разговоре с Тритемием перенес изобретение на 1450 г., диктовалось своекорыстными мотивами. Но и Иво Виттиг, старавшийся о приоритете Гутенберга, в Ливии 1505 г. принимает эту дату (хотя, как видно по Бергеллану, истинный год изобретения в Майнце знали). В 1493 г. «Всемирная хроника» Шеделя, несомненно имевшего точную информацию (см. гл. VII), сохраняет 1440 г., но без имени Гутенберга. Эволюция Вимпфелинга, начавшего с полной формулы — Страсбург, Гутенберг, 1440, — а затем Гутенберга из нее изъявшего, тоже показывает, что сочетание этих трех компонентов (точнее — года и имени, города лишь вторично) «пахло жареным».

Для раскрытия идейного направления Гутенберга в ранний период главная роль принадлежит немецкой «Сивиллиной книге», фрагмент которой — «Фрагмент о Страшном суде» всплыл в Майнце в конце прошлого века. Немецкая «Сивиллина книга» — менестрельского типа поэма, происхождением своим обязанная ереси «царства мира» и прикрепленная к имени некоего императора Фридриха, который уничтожит растленную и жадную церковную иерархию, плохих попов и монахов («добрым бедным» проповедникам обещается полное послушание), безобразия светских князей и их слуг, освободит «гроб господень», после чего в знак отказа от войны и власти повесит свой щит на сухом дереве у врат Иерусалима, и тогда оно зазеленеет (см. гл. I). А далее установится равенство, язычники, иудеи, татары уверуют в Христа, и будет у всех людей одна вера — вплоть до Антихриста, второго пришествия Христа, Страшного суда и конечного воздаяния. Напечатанный текст

поэмы отнесен к окружению вождя тюрингенских флагеллянтов — лже-Фридриха Конрада Шмидта, сожженного в 1369 г. Преследования этого движения, в основном крестьянского (с обычным для крестовопоходных ересей отказом от имущества), зафиксированы до 1414 г. Однако поэма (вряд ли возникшая не при Фридрихе Деревянный башмак) и по плачу об упадке «Римской империи» * и по универсальности идей — отнюдь не локального значения. Использованный в ней материал штауфенской пропаганды социально переосмыслен ** и несет следы разных сфер ее обращения. Так, замена принятого в ранних императорских пророчествах положения короны на Голгофе щитом на «древе Адама» — рыцарская (тамплиерская?) символика; «добрые бедные» — обычное обозначение вальденсов; мотив перехода язычников, иудеев, татар в христианство прямо идет от Иоахима, но освобождение Иерусалима уже стало символом социально освободительных целей; за основу единой веры берется греческая ("...werden allen chrichen <Griechen. — *Н. В.*> gemein / Und dan wyrt ein geloue allein"), что, хотя идет от Штауфена, указывает на бытование текста в гуситской среде: чешские еретики, включая сподвижника Гуса — Иеронима Пражского питали иллюзии насчет своей близости к греческому православию (по признакам причащения мирян «под обоими видами», отсутствия папства). В рукописной традиции немецкая «Сивиллина книга» известна в двух редакциях — краткой (первоначальной) и расширенной, наиболее ранний список которой датируется началом 1440-х гг. Добавленный во второй версии текст более поздний, другого автора, присоединен механи-

---

* So wyrt das Roemisch rich van iar ind iar/ Geschwacher versetzet ind verteilet./ Also wyrt idt verwaist ind verspeidet.

** Die herrschaft wird dan ungerecht/ und darumb doint idt ouch ritter und knecht. / Die der lande beschirmer seulen wesen / und die lassen die boesen mit yn genesen. Или: So worts ie richer und ie kariger / Armut keiner trost mer hait.

чески (после Страшного суда ряд эпизодов, в том числе и суд, повторяются), обещает спасение через исповедь и церковное покаяние, т. е. снижает еретичность поэмы. Во второй версии «Сивиллина книга» начиная с 1492 г. и далее в XVI в. (тоже в период подъема крестьянского движения) неоднократно печаталась. Вопрос, какую из двух напечатал Гутенберг, был убедительно решен в 1934 г. Г. Цедлером (из расчета текста в соотношении с размером шрифта и с обычными для ранней гутенберговской практики числом строк на странице и объемом изданий) в пользу версии краткой. Актуальность поэмы Цедлер связал с недавним избранием в императоры — действительно Фридриха III, не делая иных выводов, хотя они напрашиваются. Прежде всего: избрание Фридриха III произошло в 1440 г. Тот же год наиболее непредвзятые из ранних известий указывают как год изобретения книгопечатания. Если в свете этих двух дат взглянуть на «Сивиллину книгу», то есть все основания увидеть в ней — не непременно самое первое произведение типографской печати, но то самое, на котором зиждется дата изобретения: только в первые месяцы по избрании Фридриха III — пока не сказалась его сперва «вихлявая» в отношении Базельского собора, а затем пропапская позиция, а главное — пока не проявилась (что случилось еще быстрей) его феодалистская, активно противонародная установка, можно было приветствовать его печатанием (если не подношением) связываемой с его именем такой программы. Сколько-то позже это было уже немыслимо. И именно с этим изданием — в силу косвенной его адресованности императору и по программному смыслу — правдоподобней всего связывать тот первый колофон с именем Гутенберга, с объявлением об изобретении и датой, без коего соединения этих трех элементов в ранних известиях не могло быть. И в данном контексте значение и назначение изобретения с полной очевидностью должны были

рисоваться изобретателю. Значит ли это, что Гутенберг разделял воззрения и программу «Сивиллиной книги»? Сам факт напечатания говорит об этом. Иначе идти на риск не имело смысла. А риск был, ибо издание вышло на фоне нараставшего в прирейнских областях Германии народного движения, войны швейцарских кантонов за независимость (а феодальные битвы с ними шли тогда близ Базеля), гражданской войны в Чехии. И «Сивиллина книга» ничем не отличалась от чаяний левого крыла богемских еретиков (хилиасты были левыми даже среди три года назад — в 1437 г. — разгромленных в Чехии таборитов). Однако привязка к избранию реального, «законного» Фридриха III могла временно защитить от обвинения в ереси человека, при помощи нового изобретения изобразившего «Сивиллину книгу». По мере удаления от этого момента alibi теряло действенность. Возможно, что расширенная версия, возникшая в самом начале 1440-х гг. была как бы репликой (в рамках того же произведения, так часто бывало в Средние века) на гутенберговское издание.

Острота представленного им круга идей особенно наглядна при сопоставлении с другим, тоже анонимным, но вполне современным сочинением, которое появилось в связи с провозглашением «Священной Римской империи германской нации» (см. гл. I) и с запрошенными по этому поводу императором Сигизмундом на рейхстаге 1437 г. предложениями по реформации имперской структуры. Как бы в ответ и возник в 1438 или 1439 г. и стал распространяться в списках (печатно в XV в. издавался четырежды) политический памфлет, известный как «Реформация императора Сигизмунда». «Реформация» от имени Сигизмунда (он в 1438 г. умер) предлагала проект «христианизации» Империи путем установления в ней «божьего», по сути — абсолютистского порядка императорской властью, опирающейся на города и на силу «малых» и «простых» (die cleynen,

die gemeinen, die ainfeltigen), ибо последние в отличие от могущественных и ученых заинтересованы в «божьем порядке». Термин этот подсказан проектом социального устройства — «Божьим законом» Яна Гуса, но «Реформация» много радикальней: автор резко выступает вообще против крепостного права (обосновывая его противозаконность тем, что искупительная жертва Христа относилась ко всем сословиям и этим установила их равенство), предусматривает насильственное приведение к «божьему порядку» сопротивляющихся реформации князей светских и духовных (и, конечно, папы римского), сурово регламентирует доходы и образ жизни духовенства и монашества, обязанности светских властей. Есть и мотив перехода мусульман (здесь уже турок) в христианство, но при условии, что христиане на деле будут соблюдать божественное право и свободу, и никто не сможет объявить другого своей собственностью, тогда и крестовый поход не нужен. По сути «Реформация», обращаясь к государственной власти и праву, лишь конкретизировала идеи «Сивиллиной книги», частью полемически. Угрожая от имени wir, die gemeinen — мы, простые — «приложить свой разум к добрым делам» (т. е. к революционным действиям), если «божий порядок» не будет установлен, она в основу его полагала монархический принцип. В «Сивиллиной книге» роль Фридриха кончается с завоеванием «царства мира» — освобождением Иерусалима символического (о реальном тогда не помышляли, гальванизировать эту идею пытались ближе к концу века в противовес народной): свободным народам император не нужен. Ожидание Страшного суда, выдвигая на первый план заботу о «вечном спасении», по неправедности духовенства и светских господ исключало повиновение им и было оправданием той потайной крестовопоходной общности для «добрых дел» — народной церкви или ордена, которая снова сказалась в немецких народных движениях

1430—40-х гг. и в знамени Башмака. Можно уточнить, когда «Сивиллина книга» (являвшаяся одним из текстов этой общности) могла обрести для Гутенберга свое значение. В 1439 г. более сорока лет занимавший страсбургский епископский стол Вильхельм фон Дист на очередном этапе своей борьбы за восстановление феодального подчинения города, заключив договор с бургундским герцогом, призвал на Страсбург арманьяков. Вторжение их произошло в ночь на 26.II, начались грабежи, убийства, насилия над жителями окрестностей, налеты на городские предместья. Пока город не слишком согласно организовывал оборону, в нем собрались беженцы из округи. И именно здесь впервые отмечено знамя с изображением креста, богоматери и башмака (ранее оно угадывается в вормсском крестьянском восстании 1431 г.). Под этим знаменем 400 (или 600) невооруженных — больше крестьяне, но с ними и бюргеры — бросились к месту засады нескольких тысяч арманьяков и были рассеяны ими (но с большими для себя потерями, так что какое-то — камни, дубье, косы — оружие у нападавших было). Перед тем городские власти, дать оружие беженцам опасавшиеся, запретили безоружным выход из города, вылазка была самовольной (и перекликается с крестьянским крестовым походом 1095 г. и подобными акциями, основанными на вере в победу «народа божьего» независимо от оружия). За этим последовала жестокая партизанская война, в 3 недели изгнавшая арманьяков из Эльзаса. Гутенберг в это время был в Страсбурге. Нет данных, чтобы видеть в нем участника событий. В Страсбурге же — есть такая гипотеза — почти в это самое время неизвестный автор обнародовал «Реформацию Сигизмунда». Нет зацепки, чтобы предположить связь между ними. Но есть «Сивиллина книга», которая говорит о позиции изобретателя (и страсбургского сообщества) в социальной борьбе тех дней. Мог ли он помышлять поднести Фридриху такой

текст? Это было в духе эпохи: всего 12 годами ранее прорвалась к Карлу VII Жанна д'Арк с утопией сделать из него народного короля (а подвиг Жанны в германских землях был широко известен, недаром ее имя в 1431 г. разыграли в послании против таборитов).

Объективно избрание Фридриха означало крах реформационных надежд и «Священной Римской империи германской нации» (что потом и вызвало в немецкой реформаторской партии намерения его переизбрать). Вышедший на политическую арену, когда в Европе колебались основы феодального строя, он встал прежде всего на их защиту, последовательно предавая патриотические интересы, поэтому с 1446 г. поддерживал папский диктат, с интронизации Пия II перешел в наступление на немецкие реформаторские гнезда. Неясно, могли ли знать современники написанное в 1443 г. Энеем Сильвием Пикколомини, тогда еще советником императора, обращение Фридриха за помощью к Карлу VII, где весьма точно сформулировано, что восстания сервов против господ — угроза для всех королей. Но известно было, что вторичное вторжение арманьяков и оккупация ими части Эльзаса под водительством дофина Франции в 1444 г. произошли с его согласия и в вынудившей их уйти партизанской войне — местами под знаменем башмака — отождествления его с народным Фридрихом быть не могло (в немецком крестьянстве подстановка реального короля вместо народного не получилась). В это время Гутенберга в Страсбурге уже не было. И вероятно, что его исчезновение в марте 1444 г. было вынужденным, даже бегством, но совсем не от недовольства компаньонов. По обращению Фридриха III к французскому королю видна решимость этого якобы нерешительного императора расправиться с антифеодальным движением, а значит — с идейными его обоснованиями. Для печатника «Сивиллиной книги», объявившего в ней свое имя в надежде на иное разви-

тие событий, такой их крен был угрожающим. Можно полагать, что братья Дритцены, чтобы получить секрет производства, части которого были у них в доме, деятельность сообщества из виду не упускали, пути для доноса или для шантажа таковым ни им, ни кому другому заказаны не были. Предполагать снисходительность к еретизму — тогда жупелом было гуситство — у занявшего в 1440 г. страсбургский епископский стол молодого пфальцграфа Руперта (который и «кормление» это получил как отпрыск королевского рода, и первые годы своего епископата ознаменовал похождениями отнюдь не духовного свойства, и в деле защиты от арманьяков в 1444—45 гг. держался уклончиво), оснований нет. Сам ли увидел Гутенберг нависшую опасность, был ли предупрежден «по цепочке» того братства, к коему принадлежал, его уход из Страсбурга правдоподобней всего связывать с такой угрозой. Нельзя судить, фигурировала ли «Сивиллина книга» в судебном разбирательстве 1455 г. в Майнце. По ряду признаков — по тому, что Фуст и Шеффер в 1457 и 1459 гг. отважились на свой колофон, что Дитер в 1459 г. удалил Гутенберга в Бамберг и др. — можно думать, что подозрение в ереси, хотя судом снятое, для каких-то значимых здесь кругов продолжало на нем висеть. Прямой связью «Сивиллиной книги» с народным еретизмом диктовалась для ранних известий необходимость так или иначе отженить Гутенберга от указанной в ее колофоне даты изобретения. Тем более, что крестовоходно-хилиастическая форма антифеодальных движений — вплоть до крестьянской войны 1525 г. и в ней самой — была в Германии постоянной. Можно ли думать, что эта брошюра, от которой ныне известно пол-листка, имела столь длительную жизнь? Если предполагать крестьянский (и смыкавшихся с ним городских низов) ареал бытования (крупный шрифт делал брошюру доступной и для полуграмотных) — безусловно. О долгожительстве книги в этой

среде можно судить хотя бы по русским раскольникам. А для книжных кругов она, благодаря объявлению об изобретении, если не сразу (сперва, быть может, как курьез), то после Псалтыри 1457 г. обрела значение первого памятника печати. Так, по-видимому, сначала воспринял ее Вимпфелинг, старавшийся восстановить попранную в Майнце по отношению к Гутенбергу справедливость, затем испугался и после попытки сохранить имя изобретателя, разделив его на «некоего страсбуржца» и майнцского Генсфлейша, вообще о нем замолчал. Быть может, гласно утверждать его первоизобретательство в 1490—1500-х гг. позволила наступившая после смерти Фридриха как бы повторность ситуации — новый император, активизация турецкой опасности. В эти годы в страсбургской и базельской титульной гравюре возникает символика «Сивиллиной книги» (в изданиях крестовопоходного призыва гуманиста Себастьяна Бранта к Максимилиану I она была верноподданической, не раз издается текст (вторая версия). Это продлилось недолго: с 1509 г. Йоханн Шеффер снова смог заменить Гутенберга своим дедом. Фуст-шефферовская конструкция изначально исходила из неприемлемости начавшего с «Сивиллиной книги» изобретателя книгопечатания. Другое дело, что Петеру Шефферу пришлось слегка попятиться (см. гл. VIII), считаясь с известностью Гутенберга у современников, с его положением при Адольфе Нассау, со слухами о страшной его смерти (или с ее реальностью: она напоминает расправы тайных судов с неугодными им людьми).

Белые пятна биографии изобретателя исследователи охотно связывают с Базелем, от О. Хуппа для 1444—48 гг. до А. Капра, полагающего, что по масштабу своей личности Гутенберг с 1431 г. — с открытия Собора — должен был жить в Базеле в расчете на выгодные заказы. Исключить в жизненном его повороте 1434—36 гг. влияние собы-

тий и окружения Базельского собора нельзя: благодаря столкновению всех идеологических направлений здесь были наилучшие условия, чтобы заразиться книжно-просветительской задачей, также для вступления в проповедническое братство, а далее — для продажи изданий. Раннюю известность Гутенберга во Франции как изобретателя книгопечатания, без которой не могло быть королевского ордонанса 1458 г., допустимо возводить к осведомленности о нем кого-то из французских участников Собора (филиацией ее, быть может, объясняется, что Петер Шеффер из писцов парижского университета оказался у него в наборщиках). Сам ордонанс указывает на непрерывность французских связей Гутенберга. Однако без предварительной завязки — на основе издания с колофоном (в данном случае скорее латинского, вероятно, доната) — он их обрести не мог. Принадлежность к межнациональному братству вела его к задачам, источникам информации и связям, лежащим вне его житейской сферы. Но как раз выдвигаемое некоторыми исследователями (А. Троннье, А. Капром) «сотрудничество» с Николаем Кузанским — на основании возможного знакомства при приезде кардинала в Майнц в 1448 г. или предположительного девентерского однокашничества — можно исключить по противоположности их траекторий: когда Гутенберг выступил с «Сивиллиной книгой», Кузанец уже служил папе. Непопулярность его у немецких реформаторов видна по памфлету Грегора фон Хеймбурга, тоже деятеля Базельского собора — из многих на нем докторов канонического права, нюрнбергского патриция, верного реформационной программе (отлученный Пием II, он бежал в Чехию к Иржи Подебраду, после смерти коего умер в 1472 г. в нищете). Главный повод искать связи изобретателя с кардиналом видится в гутенберговском замысле миссала. Поскольку Николай Кузанский многократно (впервые в 1431 г. на Базельском соборе, далее в 1453, 1455, 1457 гг.)

поднимал вопрос об унификации литургических книг, почти за аксиому принято, что именно для такого унифицированного (но майнцского) миссала и даже по прямому заданию Кузанца назначал если не изобретение, то свои шрифты и инициалы Гутенберг. На самом деле явления эти параллельны, и только. Судя по повторности настояний кардинала, его идея вряд ли проводилась в жизнь, разве что цензурно (изъятие неканонических святых, молитв и пр.). Тенденции к созданию универсального служебника в то время следовало бы искать во внецерковных организациях — в обиходе братств, строивших «церковь духовную». Вероятно, что и Кузанцу она была подсказана его девентерским началом; в качестве церковной задачи она успеха иметь не могла. Какой миссал мыслил Гутенберг, навсегда остается скрытым: служебники были разные, от церковных до еретических (что красоты оформления не исключало), были и «нейтральные», т. е. включавшие наиболее общий состав молитв и песнопений, действенных для различных направлений религиозной жизни. Здесь хотелось бы высказать несколько соображений о Missale speciale и Missale abbreviatum (см. гл. V). Насколько можно судить без специальных разысканий, лежащих вне возможностей автора данной работы, оба они довольно типичны: оба по составу службы ни с одним диоцезом не связаны, и оба вышли из типографии крайне маломощной, MS, по-видимому, допечатывался по мере надобности. В этих свойствах обоих миссалов можно было бы увидеть признаки, что типография обслуживала нужды каких-то, — видимо, незнаменитых — братских объединений в округе Базеля, для которых Гутенберг либо печатал, либо оставил отливку шрифта в промежутке между 1444 и 1448.

Можно ли предполагать, что Гутенберг был в Чехии? Оснований исключать его пребывание там в предстрасбургские полностью безвестные годы (а они совпадают с пиком

чешской революции) нет. Судя по Вальдфогелю (см. гл. III), в связанных с изобретателем чешских легендах некое зерно истины было, нравственное рождение Гутенберга с антифеодальными битвами в Чехии, быть может, и связано. Хотя известие — XVIII в. — о будто напечатанном им сочинении Гуса, вероятно, ошибочно (Gesta Christi — «Деяния Христа» вышли анонимно — считается, что в начале 1470-х гг.), Гутенберг был гусит. (И вряд ли не истинно оспариваемое первенство чешского издания «Троянской истории»; указанный в ней 1468 г., хотя есть с ним и рукопись, совпадает с годом смерти Гутенберга и обозначал бы перенятую эстафету: гибель Трои в ту пору была одним из общезначимых символов крушения, но и рассеяния любой освободительной идеи). Правда, для этого не обязательно было быть в Чехии. Богемская ересь и связанные с нею события стояли в центре внимания Европы в течение всей молодости Гутенберга. С конца 1420-х гг. табориты вторгались в немецкие земли. В 1433 г. в Базель приезжали с делегацией главари богемских еретиков — Ян Рокичана и Прокоп Великий для того соглашения, которое противопоставило их друг другу (год спустя в битве с чашниками при Липанах начался разгром таборитов и пал Прокоп). А главное — «богемская чума» охватывала европейские страны. Международное значение гуситства, точнее — того наиболее социально активного мистического комплекса, который тогда суммарно обозначался этим названием (Ян Гус был скорее его знаменем и мучеником), в том и состояло, что в нем нашли как бы идейную модель всеевропейские в тот момент патриотически и социально освободительные устремления, причем в качестве «всехристианской» задачи. Для Германии особая действенность «богемской чумы» — кроме того, что Чехия была в составе имперских земель, — определялась тем, что здесь и патриотические проблемы (обособление от Рима, государственное

сплочение) и социальные (главная — противодействие наступлению феодалов на крестьянские права, освобождение от крепостной зависимости) стояли особо остро. И братства часто были ее проводниками. На фоне «Сивиллиной книги» связь изобретателя с Вальдфогелем (независимо от того, одно ли они лицо или Прокоп был просто чешским беженцем) — лишь штрих к гуситской направленности страсбургского сообщества (вопрос, не назначались ли винные затраты Гутенберга для братских причащений).

Гуситство в Германии было действенно не только в своем социально левом, но и в умеренном направлении. Ориентация части немецкой реформаторской партии, включая Изенбурга, на переизбрание императора в пользу Иржи Подебрада — ставленника чашников, который в 1457 г. стал чешским королем (отлучение его в 1458 г. Пием II лишь укрепило его популярность), была патриотичной. Хотя это сохраняло федеративность «Священной Римской империи германской нации», но ограждало ее от служения римским интересам, предполагало смещение ее социальной базы (Иржи вел борьбу с магнатами, опираясь на города и дворянство), мыслилось как путь к ее консолидации. Немецкие реформаторы потому и старались об утверждении Дитера на майнцском епископстве, что при нем для переизбрания Фридриха оставалось «добрать» голос только одного курфюрста. Интересы Дитера перед Пием II в 1459 г. защищал Грегор фон Хеймбург, еще в зените своего влияния. Дитер до 1434 г. был ректором Эрфуртского университета, являвшегося в Германии рассадником чешского Возрождения (и гуситских идей). Не исключено, что в 1448 г. реформистская позиция Изенбурга, тогда — настоятеля Майнцского собора, и части его окружения, благодаря информации братств, сыграла роль при возвращении Гутенберга в Майнц: для типографской проповеди изобретателю нужна была уже не тайная, а открытая арена.

Как согласовать «Сивиллину книгу» с тем, что по прибытии в Майнц и далее он словно бы поставил свое изобретение на службу церковным задачам? Противоречие, если учесть его миссию и эволюцию его эпохи и его страны, только кажущееся. В истории Европы понятием Реформация обозначается тот воинственный разрыв с олицетворяемым Римской церковью единством «всехристианской империи» и образование национальных церквей, которые со следующего столетия были одеянием буржуазной революции. Для Германии в итоге сорвавшейся, главные проблемы страны усугубив. Социальные, ибо «второе издание крепостного права» после поражения крестьянской войны было много жесточе прежнего. Государственно-объединительные, ибо принцип Тридентского собора cujus regio, eius religio *, превратил каждого князька в абсолютного монарха (оставив прочим людям свободу выбирать между княжеским исповеданием и костром или пр.). Достигнутая в протестантских княжествах секуляризация церковных земель и ликвидация монашества (что лишало угнетенных даже бегства в монастырь), бюргеризация духовенства обязательством женитьбы и подчинение князьям, «удешевление церкви» — все было к выгоде крупных феодалов; немецкое крестьянство могло утешаться чтением Лютеровой Библии и сознанием, что оно дало церковного реформатора европейского масштаба (который призывал «колоть, бить, душить» немецких восставших крестьян). Определившие этот срыв причины отчасти сложились 100 годами ранее, когда дело еще шло о реформации в собственном смысле, т. е. о той или иной мере конституционного переустройства Римской церкви и «Священной Римской империи». Исход революционной ситуации тогда еще был неясен: в прирейнской Германии, в частности, в Эльзасе, росло народное

* Чья власть, того и вера.

движение. Базельский собор с его реформационным шумом еще представлялся серьезной силой, даже императору. Но соборные реформаторы искали «законной» поддержки у власть имущих персон, о стыке с народным движением не помышляли, оно осталось разобщенным на местные цели, силы международной и собственно немецкой реакции быстро консолидировались. Собор оказался событием умственным, без социальной опоры, и утрачивал значение. Формально его постановления узаконивали позиции умеренных немецких реформаторов, а оставшийся по его закрытии в 1449 г. нейтралитет немецкого духовенства (см. гл. I) как бы законсервировал их, парализовав Фридрихом III с Энеем Сильвием в роли советчика (по базельским связям он еще играл и роль троянского коня в реформационном лагере). Тем временем и Собор порастал быльем, и в немецком народном движении наступил спад, отчасти вызванный организацией крестовых походов для отпора турецкому нашествию на Европу, снова вовлекавших часть крестьянства во «всехристианские» задачи. Дитер фон Изенбург опоздал на полтора десятилетия, в соборный период столь решительного деятеля не нашлось. Но и противник его — Пий II (Нассау был лишь удачным его орудием) решил покончить с базельским наследием. Каждый его шаг по сути был наглой провокацией, начиная со ставленника (Адольф представлял крайнюю феодальную реакцию) и далее: первое условие утверждения Дитера — отказ от права канцлера Империи на созыв рейхстага и коллегии князей (о намерении переизбрать Фридриха Пий, видимо, знал); второе — война против пфальцграфа Фридриха (т. е. реформационного же курфюрста); удвоенные аннаты; турецкая десятина; само смещение; назначение Кузанца на Бриксенское епископство; попутно — отлучение Хеймбурга и т. д.; в целом — нагнетание самовластья, чтобы вызвать взрыв. Дитер выступал как канцлер «Священной Римской

империи германской нации»: созвал рейхстаг не где-либо, а в Нюрнберге; требовал, чтобы смещение было рассмотрено синодом немецкого духовенства (в листовке под видом прошения к папе); рискнул отменить налоговый иммунитет духовенства; в манифесте упирал не на духовный свой сан, а на звание курфюрста Германии. Можно ли полагать, что он рассчитывал на демократический отклик? Революционером Дитер не был, но немецким патриотом был. Манифест обращен не только к князьям, графам, городам, но и к «людям всякого сословия». Формула колофона «Католикона» о преимуществе перед богом «малых» в свете «Реформации Сигизмунда» (а Дитер как реформатор ее не знать не мог) читается не просто как евангельская аллюзия, а как политический термин. Вывод, что обращение к «людям всякого звания» имело в виду и «малых», подтверждается одним из уцелевших экземпляров манифеста, направленного Изенбургом франкфуртскому рыбачьему цеху (ареал рассылки в целом установить нельзя). Тем не менее акция Дитера, затеянная как патриотическое восстание, осталась в ряду феодальных мятежей: народные силы, которые одни могли создать в Германии общенациональный (но антифеодальный) лагерь, по его воззванию не поднялись. Сказалась заданная Базельским собором и закрепленная бездейственным десятилетием оторванность реформаторов от народного движения: манифест, полный частностями партийной борьбы, не вовлеченным в нее людям был мало понятен, собственная Дитера позиция, суть конфликта в нем неясны. Народ от участия в политической борьбе (кроме крестовопоходной) был отучен, который из двух графов занимает майнцский стол, без сути дела ему было равно. Дитер, вероятно, опасался выразиться ясней, дабы не развязать неуправляемую стихию, а для организации восстания времени было мало. Князья же, выторговав себе преимущества на случай победы, после его отлучения частью

от него отошли и тем более старались на почетных условиях примирить его с Нассау (и с папой), что боялись народного движения. Изенбургу иного не оставалось: политическая роль его закончилась, «христианизация Империи» даже в его умеренном варианте сорвалась; надо было и сберечь людей, с ним попавших в беду. Вернувшись через 12 лет на майнцское епископство, он направил свою деятельность на немецкое образование, допуская и просвещение: в 1480 г. в Майнце печаталась, например, анонимная немецкая брошюра в защиту Базельского собора. Были и иные издания реформационного толка: после смерти Дитера преемник его — Бертольд фон Хенneберг начал в 1485 г. с устройства цензурной комиссии для пропуска майнцских изданий на франкфуртскую ярмарку.

Гутенберг политиком не был. Его деятельность шла от других основ, которые в 1956 г. сформулировал В. Шмидт, говоря о «профане» (Laie), осознающем себя как «самоответственное существо» и стремящемся «найти свой путь к богу в пределах своего мирского бытия», а тем самым — к первому источнику познания этого пути — к «Священному писанию», к Книге. Но роль изобретателя книгопечатания не была пассивной: он был сеятелем «божьего слова», просветителем, и вряд ли иначе сознавал свою миссию. И по существу процесса и по его противоречивости предшествующий Реформации XVI в. период сходен с подготовившим идеологическую базу французской буржуазной революции «веком Просвещения». Та же вера в действенность книжного слова у просветителей, та же тяга к нему у просвещаемых. И та же посылка, исходная для всякого просветительства, — свобода каждого человека следовать доброй своей природе, а не происходящим от непросвещенности и ложного знания низменным страстям. Разница в том, что в средневековой идеологической структуре просвещение и эмансипация человеческой мысли и личности не

отрицали христианскую идеологию, а росли изнутри нее, роль знания светского была разве что вспомогательной. Борьба шла за ликвидацию монополии церкви не вообще на чтение и письмо — она вряд ли когда существовала, — борьба шла за ликвидацию ее монополии на духовное знание, на арбитраж в вопросах веры, совести, «божьей воли», а значит — за право всех мирян на чтение, на познание «Священного писания». Эту эмансипацию от власти церковного авторитета для XII—XIV вв. как религиозное просвещение обозначил в 1870 г. Х. Ройтер. Однако взятый им абстрактно гуманитарный угол зрения позволил увидеть лишь интеллектуальную сторону мистического просвещения и просветительства. Их роль как социального фактора предреформационной эпохи, их преломление в антифеодальных народных движениях и путь к ним остались для него скрытыми. Лишь после исторических работ Маркса и особенно Энгельса и накопленного затем (в частности, советской наукой) более детального знания средневековой культуры стало возможным увидеть общие корни, общность основного мировоззренческого принципа и реальную связь этих на первый взгляд разнопланных явлений: поскольку революции в Средние века происходили в религиозном облачении, то и их идеологическое обоснование, составляющее суть всякого предреволюционного Просвещения, могло иметь лишь религиозное содержание.

Гутенберг вступил в строительство «церкви духовной» еще на гребне революционной волны. Как это бывает с людьми большого масштаба, он перешагнул через свое патрицианство в лагерь «простых» и, судя по «Сивиллиной книге», воинствующих за освобождение своего «Иерусалима» (в Германии символического, без привязки к конкретному месту). Это, однако, не означало абсолютной, а лишь обусловленную антицерковность. Обусловленную и тем, что религиозное Просвещение (как и Просвещение XVIII в.)

предполагало возможность духовного переворота в каждом человеке. Обусловленную и ситуационно (тоже как просветители XVIII в.): без опоры на тех или иных церковных функционеров и на узаконенные формы существования (не было ли устройство при монастыре св. Арбогаста попыткой узаконить страсбургское братство?) массовая просветительская деятельность (а массовость ее — в отличие от XVIII в. — была заложена в идее всеобщего «человеческого спасения») требовала не только от просветителей, но и от просвещаемых ежемоментной готовности к безвестному и оклеветанному мученичеству. Даже Ян Гус до последнего доказывал, что его учение церковному не противоречит. Гутенберг был из «бессловесных». Его миссия «добрых дел» была молчаливой: служить просвещению «христианского человечества», начиная со своего народа, путем множественного и удешевленного распространения источников религиозного познания, сперва на базе голландского способа печати, ограниченные возможности коего толкнули его изобретать иной, универсальный, единственно пригодный для воплощения главного источника «человеческого спасения» — Библии, а после изобретения — учить новому «способу писать» других людей для тех же целей. Ему опора на церковные инстанции была тем нужней, что преждевременный перерыв труда означал бы крушение главного замысла. Благодаря общим для всех направлений религиозной жизни первоисточникам веры, это было возможно и не кривя душой. И Гутенберг лишь в той степени служил своим изобретением интересам церкви, в какой они совпадали с интересами «всего христианского человечества» и «человеческого спасения», с его просветительной миссией. Ни одно из его изданий этой миссии не противоречит. Ни противотурецкие листовки, буллы, индульгенции, ибо объединение «христианского человечества» против мусульманского нашествия было не только «церковной полити-

кой», а для попавших под турецкое иго или под близкую его угрозу народов — насущной освободительной задачей: оно отвечало и крестовопоходному хилиазму народного мистицизма. Ни латинские библейские тексты, для мистического просветительства программные, ибо, кроме популяризации духовного знания, оно имело целью дать доступ к первоисточникам религиозной истины (отсюда интерес гуситов к еврейскому тексту Библии, коим, быть может, объяснимы сделанные Вальдфогелем Кадеруссу еврейские алфавиты, не обязательно со знанием языка). Само достойное воплощение «Книги книг» было актом высокого благочестия. Каждая из Библий Гутенберга строилась как готический собор, в том самозабвенно благочестивом порыве, которым создавался Сен-Дени и многие из начинаний готической эпохи. Но для мистицизма, в принципе отрицательного к пышности богослужения, Библия была несравнимо больше, чем храм: это было Слово, которым бог — прямо ли, притчами ли или символами — возвещал о себе и о своей воле каждому человеку и в сумме отдельных людей, в их соборности — человечеству. Каждому надлежало ее знать, размышлять над нею, созерцать чрез нее величие божье и пр. Поиски наиболее совершенного воплощения составляющих слово знаков получат новый смысл, если помнить, что для Гутенберга Библия была божьим словом: в то время пропорциональность и равномерность представлялись божественным явлением (можно вспомнить колофон «Католикона», а также названия трактатов, позднее и шрифтовых, — De divina proportione *. И то же относится к служебной Псалтыри. Вряд ли случайно, что он начал именно Псалтырь и придал ей всю мыслимую красоту. Ибо Псалтырь была самой общепонятной, равно признанной — от еретического до церковного обихода — частью литургии,

* О божественной пропорции.

личным обращением к богу каждого и общем хоре всех. Не случайно пение псалмов — уже на своем языке — стало как бы Марсельезой революций в следующие столетия: начиная от первого псалма, в них было противопоставление личной совести и права личной взысканности авторитету утративших духовный смысл церковных институтов. Для народных движений Псалтырь была тем важней, что Давид был царем из пастухов.

Таким образом, большие латинские издания Гутенберга (если не считать MS и MA, это — обе Библии, Псалтырь в шрифте B[42] и начало Псалтыри 1457 г.) представляют наиболее общие религиозные объекты. И они — в отличие от храма — и по языку и по цене (даже если он мыслил ее лишь как возмещение расходов) достоянием каждого стать не могли, элемент абстрактного акта благочестия и в таком выборе и в таком его воплощении был. Но иного пути именно у Гутенберга не было: он был первый (и притом с «Сивиллиной книгой» в прошлом), кто взялся изготовить не один, не два, а сразу около 200 — по тому времени множество — экземпляров Библии — самой «взрывчатой» тогда книги, что было уже массовой ее «проповедью письмом» и само попахивало еретизмом (возможно, что после доноса Фуста текст B[42] подвергался проверке, чем еще задержалось ее поступление в рубрикацию и продажу). Уже поэтому он никакого, кроме парижского, текста взять не мог. даже если хотел (но предисловие Иеронима у него — с версией sancta rusticitas; см. гл. I), дабы еще раз не закрыть пути к массовой библейской проповеди, для коей назначал свое изобретение. И только так он смог пробить брешь: в ближайшем будущем Библия станет постоянным объектом типографского производства, а в Германии на первых порах — как бы «хорошим тоном» солидных фирм. Предназначались ли обе Библии Гутенберга для нужд духовенства? Для духовенства Библия в принципе должна была

быть постоянным чтением и, следовательно, портативной, в его обиходе парижский текст был принят в малом формате и мельчайшем письме. Монументальные ее списки вроде майнцской гигантской Библии 1453 г. больше служили для украшения библиотеки, чем для чтения, и это был каждый раз всего один список. Обе Библии Гутенберга (т. е. в сумме около 260 экземпляров) напечатаны шрифтами, которые, кроме литургических нужд, употреблялись для малообученных (шрифтом B^{36} Гутенберг печатал популярные брошюры, листовки, донаты, Шеффер доставшимся ему шрифтом B^{42} — почти только донаты). В чьих бы руках ни оказались реальные экземпляры обеих Библий (судить об этом по известным экземплярам нельзя, они потому и сохранились — B^{42} в 20, B^{36} — в 13 экземплярах, частью *неполных*, — что выпали из постоянного чтения), такое назначение было бы обоснованием выбора для них крупных шрифтов, с любой иной точки зрения невыгодных (и по Йоахиму в его «третью эпоху» дети обучались латыни и «Священному писанию»). Размер шрифтов позволяет еще полагать, что обе Библии мыслились также для чтения общинного, каких-то собраний верующих. Брошюра Provinciale Romanum по справочному своему характеру идейно нейтральна. Весь астролого-астрономический комплекс принадлежит его инициативе и с мистическим просветительством (с пантеистической линией, хотя вульгаризованной) связан.

Первый шаг к рассмотрению изданий Гутенберга как свидетельства его близости к «радикальным кругам патриотически настроенного бюргерства» был сделан в Советском Союзе в 1969 г., в диссертации Э. В. Зилинг. Но, следуя принятой рядом немецких ученых (Ф. Гельднером, А. Каппром и др.) гипотезе о двух раздельных — «личной» Гутенберга и «общей» его с Фустом — типографиях, она свела «издательский репертуар» изобретателя к мелким изданиям

шрифта DK, противопоставив их как его личную «издательскую программу» «проримскому» репертуару гутенберговско-фустовского предприятия (Библии и Псалтырям), а стимул к изобретению связала «с острой необходимостью в актуальной политической информации в самых широких кругах бюргерства и крестьянства». О необоснованности гипотезы двух предприятий говорилось выше (см. гл. V), и нет оснований считать Гутенберга двоедушным. Политическая информация предполагала немецкий язык, а первый шрифт изобретателя (DK), хотя для немецких изданий годился, по отсутствию ряда нужных в немецком языке знаков и по примыкающим буквам явно предусматривал задачи печати латиноязычной и более универсальные, чем актуальная информация. Зачислить его латинские Библии в «проримский» репертуар можно было лишь без достаточного учета роли Библии в реформационном движении: первое, что он еще безо всяких средств начал по прибытии в Майнц, то дело, ради которого пошел в долговую кабалу к Фусту, была Библия.

Среди прогутенберговских ранних повествований о начале книгопечатания только одно предпосылает изложению фактов концепцию тех причин и целей, ради которых «бог в своей неизреченной мудрости побудил создать то похвальное искусство, которым ныне книги печатаются и размножаются». Принимая положение колофона «Католикона» о боговдохновенности изобретения «искусства печатания», «Кельнская хроника» 1499 г. прямо соотносит появление этого искусства с идеологической борьбой. Обращаясь к необразованным, неизвестный автор пишет, что по вине духовенства, которое больше занималось мирскими делами и стяжательством (каковое ему менее всего подобает), чем заботой о вечном спасении душ, простой народ (gemein volck) впал в большие заблуждения, в погоне за временными благами забывая о вечных. И чтобы упущения пред-

шественников и плохой пример искажения (bevleckung) божьего слова проповедниками не препятствовали и не вредили христианскому человечеству на пути к спасению (точнее, к блаженству — selichkeit) и чтобы никто не мог оправдаться незнанием, появилось это искусство, которое все письмо (или Писание — Schrift) построило, дабы каждый человек мог сам прочесть или слушать, как читают den wech der selichkeit — «путь к блаженству»: так у мистиков обозначалась Библия. При этом сперва речь идет о leyen (профанах), которые читают по-немецки, затем и об ученых людях, которые пользуются латинским языком, о монахах и монахинях, «словом — обо всех». Эти строки заключают программу мистического просветительства — она же и программа религиозного Просвещения, — подспудно антиклерикальную (духовенство в числе читающих «путь к блаженству» не упомянуто) и, судя по упору на немецкую Библию, — в какой-то мере еретически окрашенную (какие именно проповедники обвиняются в искажении «божьего слова», неясно). Программа эта неоригинальна, возводить ее к донесенным до автора хроники Ульрихом Целлем собственным словам Гутенберга надобности нет, и тому и другому его жизненная миссия и без того была ясна. Однако «гвоздя программы» — немецкой Библии — он не выполнил.

Потому ли, что держался позиции латинского всеобуча? Или просто не успел? Цели сделать широко доступным латинский текст Библии Гутенберг своими изданиями служил; быть может, в его время заполнить этот разрыв между «учеными людьми» и «профанами» по ограниченности опыта казалось достижимее, чем в конце века. Судя по «Сивиллиной книге», он и ускоренного — в обход латыни — познания «пути к спасению» не исключал. Из-за нее и из-за фустовского доноса печатание немецкой Библии для него было закрыто.

Быть может, осуществление этой линии его программы допустимо увидеть в той пунктирной преемственности, которая идет от него к печатникам с более гладкой судьбой. Еще при его жизни немецкую Библию впервые напечатает возможный очевидец процесса Фуста — нотарий страсбургского епископа Руперта Ментелин и в год смерти Гутенберга службу у епископа покинет для разносторонней печатной деятельности. А вслед за ним тоже обучавшийся в Майнце, но после крушения Гутенберга (и для этого также оставивший службу у Руперта) Хейнрих Эггештейн. Затем Зензеншмидт в Нюрнберге (он ли в 1490-х гг. в Бамберге выпустил Lob der Bauern — «Хвалу крестьянам», спорно). Нижненемецкая Библия (иллюстрированная) в 1478 г. выйдет в Кельне, по заказу, видимо, сестринской общины (и это издание в 1479 г. спровоцирует папский указ Кельнскому университету о цензуровании печатных книг, а в 1485 г. в Майнце — запрещение Хеннеберга). Особый случай преемственности — Альбрехт Пфистер. Преемственности не формальной: получив шрифт B^{36}, он гутенберговской системы не соблюдал, и издания свои, сплошь немецкоязычные, он первый иллюстрировал при помощи лубочной гравюры. Но Пфистер, книгопечатанию — без производства шрифта — выучившийся, видимо, в качестве наборщика B^{36}, последние 4 года своей жизни — 1460—64, словно приняв эстафету страсбургских лет Гутенберга, посвятил популярно-просветительной программе, издавая «Библию бедных» (трижды), басни — «Драгоценный камень» Бонера (дважды), «Четыре истории» (из библейских легенд) и «Белиаля» (процесс сатаны против рода человеческого) — по одному разу. И начал он с «Богемского пахаря». Автор — Йоханн из Зааца, сперва служивший городским секретарем в этом чешском местечке, в 1411—14 гг., до своей смерти, жил в Праге и, как полагают, был близок к окружению Гуса. Этот автобиографический диалог — спор овдо-

вевшего человека со смертью, за разрешением коего спорящие в конце обращаются к богу — Пфистер издал дважды, впервые около 1460 г., т. е. в период, а скорее — к концу печатания B^{36}, еще когда в Бамберге был и работой печатни руководил Гутенберг. По единственному дефектному экземпляру этого издания нельзя судить, были ли в нем те гравюры, которыми знаменито издание 1463 г. — Гутенберг лубочной техникой не мыслил. Но стык идейный увидеть можно: «Богемский пахарь» (в переносном значении — человек, бороздящий пером бумагу, в символическом — «простой» труженик «нивы божьей») — новый поворот «плясок смерти», окрашенный не только личным чувством, но мистическим сознанием прямой связи человека с богом. Гутенберг ли внес этот — тоже мистически-просветительный — элемент в бамбергское свое окружение, застал ли здесь (в Бамберге гуситская среда была), первое издание Пфистера — факт и его биографии. Это направление продолжит прототипограф Аугсбурга Гюнтер Цайнер, начавший здесь в год смерти Гутенберга (учился, видимо, в Страсбурге) с латинских «Размышлений о жизни Христа»; в 1469 г. на средства местного епископа (тем подражавшего Дитеру) выпустил «Католикон», затем серию немецких иллюстрированных душеспасительных изданий, в том числе в 1475 г. немецкую Библию (в Аугсбурге эта линия возобладает, как в репертуаре группы — или братства? — печатавших отливками цайнеровского шрифта мелких типографов, так и крупнейшего — Антона Зорга, среди прочего в 1483 г. выпустившего описание Констанцского собора с гибелью Гуса и Иеронима Пражского). Еще случай особой преемственности — Майнцский клирик Йоханн Нумейстер, причастный к восстанию Изенбурга; в Бамберге ли он выучился или позднее, неясно, печатать начал в 1470 г. в Италии, в Фолиньо; при вторичном епископстве Дитера появился в Майнце, где в 1479 г. выпустил 2 издания

(«Размышления о жизни Христа» Туррекрематы и майнцский служебник) в шрифте по образцу B^{42}, украшенные высокой гравюрой на металле, затем отправился по пути Лион — Альби — Лион, отмечая свои этапы немногими изданиями. Как Гутенберг, он, волей или неволей, был печатником и распространителем типографии странствующим; так же и Зензеншмидт (его этапы — Нюрнберг, Бамберг, Регенсбург, Фрейзингем, Дилинген). В Бамберге при Гутенберге выучился, видимо, и безымянный прототипограф Вены, там известный по календарю на 1462 г., оставивший на своем пути несколько изданий Leiden Christi — «Страстей Христовых», шрифтом и набором подражавших B^{36}, иллюстрированных в высокой металлической технике; он в итоге добрался до Италии: издания итальянского перевода этого текста иллюстрированы с его досок. И такая проповедническая цепочка тянется через весь XV в., вплоть до той группы нижненемецких печатников, к которой принадлежал и погибший в 1493 г. в Новгороде Бартоломей Готан, и далее. Этой линии в «наследнике» печатни Гутенберга Шеффере не ощущается. Здесь столкнулись противоположные позиции. Шеффер, сам, видимо, полуучка, честолюбием был привязан к образовательной, не к просветительной традиции. (Ему B^{42} с ее шрифтом для полуграмотных вряд ли не казалась профанацией; Библию — латинскую — он выпустил всего раз, в деловом шрифте, дабы перекрыть первое издание Ментелина.) Дело не только в расчете, что книжный ассортимент образованных, образования, клира — более надежная база для сбыта изданий, чем непрограммированное просвещение (у Гутенберга опыта продажи больших изданий не было, все, что он печатал до B^{42}, было для лоточной торговли). Во всей траектории Шеффера, в его упорстве присвоить славу изобретения (см. гл. VII) действовал не расчет: это изобретение, нужное образованным, «по справедливости» должно было принад-

лежать ему, Шефферу, а не «неучу» Гутенбергу для «неучей».

Неизвестно, где находился изобретатель между окончанием В^{36} и восстанием Изенбурга и потом более двух лет. Конечно, от «Сивиллиной книги» — крестовопоходного призыва к «царству мира» до умеренного реформизма Дитера дистанция большая. Значит ли это, что Гутенберг «поправел»? Правело время. Нассау был не просто орудием феодальной реакции, а ярым. Зная за собою Пия II и Фридриха III, в пылу борьбы он «зарвался»: погромив и заняв Майнц, выгнал бюргеров с запретом возвращаться, изгнал (с отлучением) всех францисканцев, часть коих поддерживала Дитера, поспешил раздать имения его сторонников своим и т. д., даже отдал церковь св. Франциска солдатам под лошадиное стойло. Откуда вдруг его «милость» к Гутенбергу? После победы над Изенбургом политическая роль Адольфа тоже была сыграна: и Фридрих, и Пий, и немецкие князья всех лагерей были заинтересованы замять память о майнцском инциденте с наименьшим числом недовольных. Образ действия Нассау никому, кроме оголтелых, не импонировал. Господином Майнца он стал, но порушенного, полуопустелого, частью враждебного. Ему пришлось отступать — пойти на почетное примирение с Дитером (переговоры длились почти год) и дорогой ценой покупать присягу участников мятежа, возмещать им убытки и пр. Черед Гутенберга настал через два с половиной года после примирения. То ли известность его как изобретателя книгопечатания (главное, что среди влиятельных лиц, включая французских) сыграла роль, то ли Дитер или кто из его сторонников настаивал. Но похоже, что у Адольфа были свои причины склонять изобретателя к себе на службу. Если вчитаться в гласящий о его «милости» документ, видно, что это не дар, а договор, т. е. результат переговоров между ним и его «возлюбленным Йоханном Гутенбергом»,

инициатива к о и х , — разумеется, через третьих лиц — могла исходить только от Нассау. За присягу Гутенберга «unss getrewe und holt zu sind, unsseren schaden zu warnen» * Адольф предлагает снабжение придворным дворянским платьем, зерном, вином, освобождение от военных и свитских повинностей, от всех налогов, настоящих и будущих; условиями Гутенберга, видимо, были доставка всего обеспечения в Майнц (т. е. жительство вне резиденции Нассау Эльтвилля), а главное — те услуги, которые он «в будущие времена будет, хочет и должен оказывать» ** епархии (т. е. обеспечение типографской работой). Пока шли переговоры, он явно находился вне досягаемости Адольфа и, по характеру обеспечения судя, вполне обнищал, если не нищенствовал (что тогда было не зазорно, а почетно). Скорее добровольно: в грамоте есть условие — не продавать и не дарить никому предлагаемые одежду, вино, зерно; по нему можно заключить, что Гутенберг раздачей имущества уже был известен. Обнищавшего изобретателя книгопечатания Адольфу нужно было прилично поставить под свой надзор не ради приличия: и «Сивиллину книгу» и манифест Дитера он помнил и «возбудительных» листовок опасался. Текста присяги с распиской Гутенберга, какие известны для ряда других участников восстания Дитера, не сохранилось, но по косвенным данным (см. гл. V) можно полагать, что он ее принес. Вряд ли ради пожизненного обеспечения и несвободы, скорее по долгу: устраивать печатню, учить своему искусству все новых людей. На опыте социальных и собственных катастроф убедившись, что просвещение зависит не только от того, из чьих рук оно исходит, но и от той почвы, на какую падут его семена, он от своей линии сеятеля не отошел. «Репертуар» эльтвилльской типографии —

---

* быть нам верным и благоволить, остерегать от вреда.

** in kufftigen zijten will thun soll und mag.

латино-немецкий словарь, первое издание коего вышло при жизни и вряд ли без труда Гутенберга, — идейно нейтрален, даже патриотичен, так что и здесь он мог не кривить душой. Братство св. Виктора, к которому он до конца дней принадлежал, по составу членов отнюдь не аристократическое, в уставе своем включало совместную молитву и поминовение усопших; все, что могло быть сверх этого, не изучено. Каковы бы ни были обстоятельства его смерти, прямая его цель была достигнута: в 1498 г., в 30-летие этой смерти (но без его имени) прославляя книгопечатание, Себастьян Брандт констатирует, что

прежде доступную лишь богачу и королевскому званию,
ныне встретишь везде, даже в хижине — книгу.

А еще через год то же скажет о Библии, которую можно найти даже на постоялом дворе, другой немецкий гуманист — Конрад Цельтис. И печатники к этому времени появятся в глухих и периферийных уголках Европы, и просветители среди них тоже будут. Как ни далека от наших дней та утопическая конструкция, которой служил Гутенберг, для его эпохи, а затем в течение еще двух столетий она была отрицанием социального и духовного угнетения, а потому история постаралась сперва его замолчать, потом на разные лады «пригладить».

* *
*

Заключение

Изобретение книгопечатания — по точной, хотя идеалистической формуле одного из инкунабуловедов старшего поколения (К. Вемера), явило собою «вторжение техники в область духа». Эта область в техническом плане опередила все почти сферы собственно материальной культуры, в которых еще столетия царил ручной труд. Техника сама по себе и предпринимательство как таковое безразличны к назначению и качеству того продукта, которым они во множественном единообразии забрасывают людей. Условием приложения технического принципа является лишь тенденция к предельной унификации и повторной множественности одного и того же объекта, следствием — максимальное упрощение задачи. Поэтому технический прогресс на начальном своем этапе, пока под его воздействием не внедрятся в общественное сознание унификационные принципы, может исходить только из объектов, уже тяготеющих к унифицированной множественности. Технический прогресс и буржуазное развитие зарождались в недрах средневекового строя. И вполне закономерно, что одно из первых своих приложений технический принцип нашел именно в книге. Можно даже утверждать, что книгопечатание, коему немалая роль принадлежала в разрушении этого строя, как изобретение является глубинно средневековым и, если не много позднее, то лишь в XV в., на сломе Средневековья могло иметь место. Предпосылок для унификации собственно материального производства в пестроте средневеко-

вого мира не было. Если случались усовершенствования средств производства, общим достоянием они становились крайне медленно: каждый ремесленник, цех, город был заинтересован в сохранении трудовых секретов. Специфической для европейского Средневековья общностью была общность идеологической структуры, общность основополагающих ее источников, общность связанного с нею «священного» языка и «священного» письма, для Запада латинского. И, как следствие, с одной стороны — тенденция ко всемерной унификации принципов и первоисточников идеологии, с другой — непрекращающаяся и разнозначная борьба за социальные ее основы. В такой идеологической структуре безразличия техники к объекту своего приложения быть не могло, ибо объект избирался не извне, а изнутри этой структуры, людьми, ею духовно и физически обусловленными. Вполне справедливо, что Гутенберг, как Колумб, всецело принадлежит Средневековью. Поскольку европейское Средневековье, несмотря на единую шапку своей религиозно-идеологической системы, не менее, если не более, чем любая иная эпоха, неоднородно, для понимания начала европейского книгопечатания существенно, какую позицию в той эпохе представлял его изобретатель, Иоханн Гутенберг, своим изобретением положивший в ней начало Нового времени. Просветительское назначение изобретения, просветительское направление печатной деятельности Гутенберга из средневековой структуры, из той роли, какая в ней принадлежала книге, из сложившейся в предшествующий изобретению и совпадающий с началом книгопечатания период идеологической и социальной ситуации выводится почти как алгебраическая формула. Сущность же всякого Просвещения — в признании за каждым права не вообще на знание как таковое (в школы и университеты и в Средние века принимали, как правило, без социальных ограничений), а на самостийное познание основ своего

бытия, как они рисуются данной эпохе, и в каждом человеке — способности к их постижению. Это явление отвечает массовому пробуждению самосознания в социальных слоях, авторитарно управляемых и так или иначе, хотя бы духовно, угнетаемых. Значение периодов Просвещения в том, что они отрабатывают идеологические обоснования будущей революции и социального переустройства, опровергают «святость» господствующих институтов. Это Просвещение в эпоху, когда жил Гутенберг, шло не от светского знания (и распространение гигиенических, технических, исторических и иных фактических знаний само по себе с равным успехом может служить антипросвещению, фашизм тому лучший пример) и не от восторгов — вовсе не демократических — перед языческой античностью, легко применявшихся к прославлению власти светской и церковной. Это Просвещение касалось того, что по тогдашним представлениям составляло основу человеческого бытия — отношение человека к богу, ближнему и «миру», его пути к «вечному спасению». Тем самым «любовь к людям» просветителей того времени заключалась в том, чтобы проповедовать всем немногочисленные и в основном неизменные источники познания этого пути. Только перед задачей этого Просвещения — дать каждому человеку книги, ведущие к «вечному спасению», — развитая и вполне жизнеспособная система книгописания была наглядно бессильной: длительный труд, результатом которого был каждый раз один список, мог удовлетворить лишь нужды небольшой и в основном имущей или ученой части «христианского человечества», оставляя другую, значительно большую его часть во власти духовенства, занятого «мирскими делами», стяжательством и своекорыстно искажающего «божье слово». Идее этого Просвещения в ее столкновении с умом и умением ремесленно-техническим Европа и обязана изобретением книгопечатания. И потому оно могло произойти

лишь в тот особый и недолгий период равновесия — равновесия между латинской и национальной традициями, между социальными силами тогдашней Германии, на фоне сложившейся в ней революционной ситуации и патриотического пробуждения. Неслучайно стимул к нему возник именно в Германии. Для Франции и Англии «всехристианские» задачи уже были оттеснены национально-государственными. В Италии при всем ее блистательном расцвете не было объединяющей все слои сквозной идеи. Национальное самоутверждение здесь было привязано к комплексу возрождения Римской империи, что всеобщим стимулом к Просвещению стать не могло, ибо народных масс не учитывало. По социально-идеологической своей безопасности (и даже выгодности) изучение языческой античности и смогло так процвесть, одеянием буржуазной революции античность стала лишь с XVIII в. Религиозное просвещение и стоявшая за ним идея общества-церкви касались каждого человека, всех классов, любого народа. Конечно, в нем тоже шло свое идейное и социальное расщепление: ad pauperum utilitate — «для пользы бедных» будет готовить тексты официальной римской печатни и Андреа Бусси — ученый библиотекарь папы Павла II. Что Гутенберг при своих технических поисках не помышлял о духовном перевороте, неверно: духовный переворот и был целью мистического просветительства, только мыслился он не как секуляризация, а как сакрализация всякого познания (включая и научное — в постижении божественной связи явлений), как очищение человечества через совершенствование каждого на «пути к спасению», почерпнутом в «священном писании» — и претворенном в действие. Таков был субъективный смысл подвига Гутенберга, отвечавший реальной во всех слоях (но, конечно, не во всех людях) потребности найти свою тропинку на этом пути. В смысле распространения религиозного знания среди мирян можно говорить об «обмир-

щении культуры» как стимуле к изобретению книгопечатания. И о гуманизме: мистическое признание за каждым человеком возможности познания бога и контакта с ним было одним из признаков и движителей европейского Возрождения.

Распространение книгопечатания шло от других основ. Сам Гутенберг изначально, современники — после достижения, с одной стороны, большого издания, с другой — мелких шрифтов — усмотрели в типографии универсальный способ делать любые и в любом количестве книги, т. е. технику, безразличную к своему употреблению и к побуждениям владеющих ею людей, ограниченную лишь экономическим фактором (и цензурой). Весь веками отобранный запас латинской — международно, множественно, постоянно обращавшейся книжной письменности на потребу ученых, образования, клира словно ждал типографского производства. Небогатых оно избавляло от собственноручного переписывания. Протеста писцов в XV в. не слышно: работавшие на богачей и знать остались при своем, кто не мог обзавестись собственным делом, шел в наборщики, в корректоры, что в целом вряд ли лучше оплачивалось, но имело плюс — множественную пользу труда. Шлюзы открыли почти одновременно — печатня «Католикона», Фуста с Шеффером, Ментелина. И этот поток стремительно нарастает — со своими национальными и местными особенностями, с некоторой специализацией отдельных фирм, с конкуренцией международной, межгородской, между печатниками. На первых порах почти повсеместно среди печатников преобладают немцы. «Выброс» типографов из Майнца в другие города и за Альпы часто связывают с майнцской катастрофой 1462 г., что в отдельных случаях, быть может, верно, но главная причина была в ином: быстро оправившиеся от катастрофы Фуст и Шеффер даже епископскую типографию во главе с Гутенбергом вытеснили в Эльтвилль,

и далее даже неконкурентные Шefferу типографы здесь появлялись сперва спорадически и до конца века их было всего 4, что (вместе с подвластностью архиепископу) не дало Майнцу выйти не то, что в международные (здесь подавляющее первенство захватила торговая Венеция), а в германские ведущие типографские центры: Страсбург, Базель, Нюрнберг, Аугсбург, Кельн играли не в пример большую роль. В целом же по числу немецких печатников в других странах (их не меньше, чем в самой Германии) видно, что в немецких землях было почти постоянное перепроизводство типографских умельцев, которое не одних бедняков побуждало искать удачи вовне, где им, даже после появления национальных печатников, благоприятствовала еще и слава книгопечатания как собственно немецкого искусства. И естественно, что, кроме немногих случаев (пример — Нумейстер, выпустивший в Фолиньо первое издание Данте), печатники независимо от своей национальности, если дело не шло об издании заказном, брались, как правило, за традиционные, постоянно спрашиваемые объекты. О собственной «издательской программе» можно говорить лишь в немногих случаях. Самые известные примеры: Ратдольт в Венеции и Аугсбурге (в основном математические и астролого-астрономические тексты); в Венеции же — Альд Мануций в своем эллинистическом и в целом — ученопросветительском направлении, как бы в противовес тому массово-гуманистическому книжному товару, которым забрасывали международный рынок венецианские коммерческие фирмы. Своеобразие флорентийского репертуара отражает лишь особенности — сперва медицейского мира, затем — его крушения в диктатуре Савонаролы, хотя его проповедь (общества-церкви) и гибель особый резонанс получили благодаря флорентинской печати. Пример избранного печатниками народно-просветительского направления (частью в сочетании с латинским репертуаром), виден в Аугсбурге (см.

гл. IX). Оно же определило начало глаголического (1483) и кириллического (Краков 1491, Цетинье 1494) славянского книгопечатания. Примеры эти не единственны, но в целом в печати XV в. доминирует традиционный латинский состав.

Безразличие техники и предпринимательства к объекту своего приложения, тенденция к максимальной унифицированной повторности постоянно корректировались рынком. Перенасыщение его повторными названиями в сходном оформлении снижало сбыт, грозило разорением. И это заставляло искать актуальностей, новых объектов, обновления старых путем приложения дополнительных статей, новых комментариев, нового оформления и т. п. Эволюции облика книги в XV в. и последующих столетиях под воздействием печатной техники и книжной торговли неоднократно уделялось внимание (в частности, В. С. Люблинским в работе «Ранняя книга как ступень развития информации»). Тема эта не исчерпана, но здесь достаточно отметить, что для вещного воплощения книги законы технического производства — максимальной экономии и упрощения задачи — лимитировались лишь развитием самой техники, читательскими навыками и вкусами каждой эпохи: тот сведенный к минимуму необходимых элементов и к предельному удешевлению и упрощению производства предмет, какой связывается с понятием Книга для н а с , — логический итог изобретения Гутенберга. В отношении книги как духовного фактора множественность тиражей, возникшая из общности западноевропейского культурного наследия, из унифицирующих тенденций средневековой идеологической структуры, благодаря корректировке рынком (т. е. духовными интересами людей) привела к тому, что печать XV в. охватила почти всю действенную для западного позднего Средневековья письменность и под конец открыла путь современным, уже писавшим для печати авторам, а в итоге — ко все воз-

растающему разнообразию в составе, адресате, жанрах, направлениях книжной письменности. Значение книгопечатания как «вторжения техники в область духа», с точки зрения нашей эпохи, учитывая происшедшие с его изобретения общественные, идеологические, научно-технические перевороты, и шире и больше, чем быть орудием идеологической борьбы или носителем информации. Благодаря многократной тождественности тиража, оно знаменовало переход от текучей рукописной и устной преемственности к стабильной, фиксированной; расширяя ареал единовременного воздействия всякой письменности, убыстряло реакцию на нее, следующий — большой или малый — шаг развития (устарение предшествующего этапа), т. е. стало ферментом и катализатором движения культуры. Оно стало и зеркалом этого движения, памятью человечества: обеспечив возврат к прошлому письменному наследию и возможность нового, незамутненного отошедшей злобой дня его прочтения — залогом постоянно обновляющейся, хотя бы через отталкивание, связи людей и человеческой культуры не только в пространстве, но и во времени.

* *
*

Краткий список литературы

Берков П. Н. и *Варбанец Н. В.* Современное состояние гутенберговского вопроса. — Труды ЛГБИ им. Н. К. Крупской. Вып. IV. Л., 1958, с. 219—228.

Бирюкович В. В. Становление феодализма. — Л., 1937.

Варбанец Н. В. Современное состояние гутенберговского вопроса (итоги изучения первоисточников). — В сб.: 500 лет после Гутенберга. М., 1968, с. 67—143.

Волк С. С. Карл Маркс и Фридрих Энгельс о печатном слове. — То же, с. 27—46.

Горак Ф. К. К истории книгопечатания в Чехии. — В сб.: Книга, 2, с. 275—285.

Грабарь В. Э. Вселенские соборы западно-христианской церкви и светские конгрессы XV века. — В сб.: Средние века, № 11. М.—Л., 1976, с. 253—277.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М.: 1972.

Зданевич Б. И. Provinciale Romanum. Невідоме видання Иоганна Гутенберга. — Київ, 1941.

Зилинг Э. В. Актовое свидетельство о процессе Фуста против Гутенберга. (Перевод с комментарием). — В сб.: 500 лет после Гутенберга. М., 1968, с. 370—387; ее же: Актовые свидетельства о жизни и деятельности Иоганна Гутенберга. — В сб.: Книга. 22, с. 185—198. (Обзор); Акты страсбургского процесса 1439 г. «Братья Дритцен против Гутенберга». (Перевод с комментарием). — В сб.: Книга и графика. М., 1972, с. 55—67; Жизнь и деятельность Иоган-

на Гутенберга. (Актовые свидетельства и ранние источники). Автореф. дис. — М., МПИ, 1969.

Капр А. Отношения между Иоганном Гутенбергом и Николаем Кузанским. — В сб.: Книга и графика. М., 1972, с. 48—54.

Киселев Н. П. Изобретение книгопечатания и первые типографии в Европе. — Ист. журнал, 1940, № 9, с. 77—89; его же: Неизвестные фрагменты древнейших памятников печати Германии и Голландии. — М., 1961.

Колесницкий Н. Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. — М., 1977.

Конрад Н. И. Об эпохе Возрождения. — В сб.: Литература эпохи Возрождения. М., 1967, с. 7—44.

Люблинский В. С. На заре книгопечатания. Л., 1959; его же: Научное значение инкунабулов. — БАН СССР. Каталог инкунабулов. Л., 1963, с. 3—40; Подвиг Гутенберга. — В кн.: Люблинский В. С. Книга в истории человеческого общества. М., 1972, с. 62—84; Производство книги в прошлом. — Л., 1940; Ранняя печать как ступень развития информации. — В сб.: 500 лет после Гутенберга. М., 1968, с. 144—238.

Меринг Ф. Об историческом материализме. — Пг., 1919.

Немировский Е. Л. Начало славянского книгопечатания. — М., 1971.

Нессельштраус Ц. Г. Первые иллюстрированные книги (издания Альбрехта Пфистера в Бамберге). — В сб.: Книга и графика. М., 1972, с. 78—88.

Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. — М.: 1964.

Смирин М. М. К истории раннего капитализма в Германских землях (XV—XVI вв.). — М., 1969; его же:

Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. — 2 изд. испр. и доп. — М.: 1971; Очерки истории политической борьбы в Германии накануне Реформации. — М., 1954.

Энгельс Ф. Заметки о Германии. — Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. М., 1961, т. 18, с. 571—578; его же: К истории первоначального христианства. — То же. Т. 22, с. 465—492; Крестьянская война в Германии. — То же. М., 1956, т. 7, с. 343—437; Предисловие ко второму изданию «Крестьянской войны в Германии». — То же. М., 1960, т. 18, с. 412—420.

Altmann U. Das Missale speciale (Constantiense) und der Gesamtkatalog der Wiegendrucke — Sddr. aus: Deutsche Staatsbibliothek. Vorträge, Berichte und Dokumente zur Dreihundertjahrfeier 23—28. Oktober 1961. Berlin, 1961.

Andreas W. Deutschland vor der Reformation. — Berlin, 1932.

Blum R. Der Prozess Fust gegen Gutenberg. — Wiesbaden, 1954.

Die Chroniken der deutschen Städte. Bd. 19. — Mainz. Hrsg. C. Hegel. Leipzig, 1882.

Donati L. Il non-finito nel libro illustrate antiquo. — La Bibliofilia. 1971, p. 1—133, 97—133, 210—227.

Dressler A. Die Folgen des Prozesses Fust gegen Gutenberg von 1455. — Das Antiquariat. 1958. NN 1/2 (S. 2—4), 4 (S. 50—60), 7/8 (S. 95—105).

Dziatzko K. Satz und Druck der 42-zeiligen Bibel. — Leipzig, 1902.

Febvre L. et Martin H. L'apparition du livre. — Paris, 1958.

Fuhrmann O. Gutenberg and the Strassbourg dokuments of 1439. — N—Y, 1940.

Geldner F. Die deutschen Inkunabeldrucker. Bd. 1—2. — Stuttgart, 1968—70.

Der gegenwärtige Stand der Gutenberg-Forschung. Hrsg. H. Widmann. Stuttgart, 1972. (с библиографией после 1940 г.).

Gerhardt C. — W. Was erfand Gutenberg in Strassbourg? — Gjb, 1970, S. 56—72.

Gutenberg-Jahrbuch. — Mainz, 1926—77. (сокращенно Gjb).

Huizinga J. Herbst des Mittelalters. 3. Aufl. — Leipzig, 1930.

Junius J. Batavia. Leyden, 1588.

Kapr A. Johannes Gutenberg. Tatsachen und Thesen. — Leipzig, 1977.

Kazmeier A. — W. Druck und Papier des Manifestes von Diether von Isenburg von 1462. — Gjb, 1954, S. 26—55.

Köhler J. — D. Hochverdiente und aus bewährten Urkunden beglaubte Ehrenrettung Johann Gutenberg. — Leipzig, 1741.

Kölnische Chronik. — Köln, J. Koelhoff d. J., 1499.

Lehmann P. Konstanz und Basel als Bъchermдrkte wдhrend der grossen Kirchenversammlungen. — Lehmann P. Erforschung des Mittelalters. — Leipzig, 1941, S. 255—80.

Lehmann-Haupt H. Gutenberg and the Master of playng cards. — New Haven — London, 1966.

v. der Linde A. Geschichte der Buchdruckerkunst. Bd. 1—3. — Berlin, 1886.

Lülfing H. Johann Gutenberg und das Buchgewerbe seiner Zeit. — Leipzig, 1968.

Mac Murtrie D. C. The invention of printing. A bibliography. — Chicago, 1942. (Библиография по 1940 г.).

Masson I. The Mainz Psalters and Canon missae 1457—1459. — London, 1954.

Olbrich W. Druck — und buchgeschichtliche Ergebnisse aus dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 1—7, — Börsenbl. f. d. deutschen Buchhandel. — Frankfurt a/M, 1961, N 27, S. 513—15.

Paulirinus P. Liber viginti artium. — Polnische Bibliothek. 2. Warschau — Leipzig, 1788, S. 60 ff.

Paulsen F. Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung. 5. Aufl. Bd. 1. — Berlin, 1924.

Presser H. Johann Gutenberg in Zeugnissen und Bilddokumenten. — Hamburg, 1967.

Requin, abbé. Origines de l'imprimerie en France. (Avignon, 1444). — Extrait du Journal de l'imprimerie et de la librairie. 28.II 1841.

Reuter H. Geschichte der religiösen Aufklärung. Bd. 1—2. — Berlin, 1870.

Ricci S. de. Catalogue raisonné des premières impressions de Mayence. — Mainz, 1911.

Rosenfeld H. Der Meister der Spielkarten und die Spielkartentradition und Gutenbergs typographische Pläne im Rahmen der graphischen Künste. — Archiv f. Geschichte des Buchwesens. — 1964, S. 1509—19.

Ruppel A. Johann Gutenberg. Sein Leben und sein Werk. 3. Aufl. — Mainz, 1968.

Schmidt-Künsemüller F. — A. Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phänomen. Mainz, 1951.

Schneider H. Der Text der 36 — zeiligen Bibel und des Probedrucks von ca 1457. — Gjb, 1955, S. 57—69.

Schulderer V. Johann Gutenberg, the inventor of printing. London, 1963.

Schorbach K. Neue strassburger Gutenbergfunde. — Gutenbergfestschr. Berlin, 1900, S. 130—143; его же: Die 36-zeilige und die 42-zeilige Bibel. Berlin, 1900; Die Urkundllichen Nachrichten über Johann Gutenberg. — Mainzer Gutenbergfestschrift. Mainz, 1900, S. 133—256.

Schwenke P. Die Donat- und Kalendertype. Mainz, 1903.
Speculum humanae salvationis... Reproduit en facsimile avec intr. hist. et bibliogr. par J.-Ph. Berjeau. Londres, 1861.

Sibylleboich. Köln, H. von Neuss, 1515. (Расшир. версия).

Töpfer B. Das kommende. Reich des Friedens. Berlin, 1964.

Trithemius J. Annales Hirsaugienses. T. 2. St. Gallen, 1690.

Die Türkenbulle Pasts Callixtus III. Ein deutscher Druck von 457 in der ersten Gutenbergttype in Nachbildung hrsg. von P. Schwenke. Mit einer gesch.-spachl. Abh. von H. Diringer. Berlin, 1911.

Velke H. Zur frühesten Verbreitung der Druckkunst. — Mainzer Gutenbergfestschrift. Mainz, 1900. S. 323—40.

Vergilius P. De inventoribus rerum. Издания 1503, 1509, 1512, 1517.

Wehmer K. Zum Gutenbergbild unserer Zeit. — Bösenbl. f. d. deutschen Buchhandel. Frankfurt a/M, 1950, N 47, S. 185—86.

Wimpfeling J. Catalogus Argentinensium episcoporum. Strassbourg, 1508; его же. Epitome rerum Germanicarum. Strassbourg, 1508.

Zedier G. Gutenbergs älteste Type und die mit ihr hergestellten Drucke. Mainz, 1934. (Veröff. d. Gutenberg-Ges. XXXIII, 2); его же: Der Mainzer Catholicon. Mainz, 1905; Von Coster zu Gutenberg. Leipzig, 1921.

32-zeilige Gutenbergbibel. Faks.-Ausg. Bd. 1—2, Erg.-Bd. Leipzig, 1913—14, 1923.

Указатель имен *

* В указатель не включены имена Гутенберга, Й. Фуста, П. Шеффера, встречающиеся постоянно, а также лиц, второстепенных для темы.

В оформлении шмуцтитулов использованы фрагменты изданий XV и XVI вв.:

Введение
Типография. «Пляски смерти». Лион, 1500 г.

Глава I
Казнь Яна Гуса
Richental U. Conzil za Konstanz.
Аугсбург, 1483 г.
Противостояние Марса и Сатурна — феодалов
и крестьянства.
Карикатура из нидерландского издания ок. 1500 г.

Глава II
Обучение чтению. Гравюра. 1490 г.
Орнамент из рукописной книги
Книгописец

Глава III
Вид Страсбурга. Фрагмент.
Х. Шедель. Хроника. Нюрнберг, 1493 г.
Факсимиле высказывания Ханса Дюнне. 1439 г.
Реконструкция пресса

Глава IV
Сцена присяги и персонажи (внизу слева и справа)
судебной процедуры
Jacobus de Theramo. Belial.
Магдебург, 1492 г.
Рукописный колофон П. Шеффера. 1449 г.

Глава V
Портрет Гутенберга из базельского издания 1578 г.
Фрагмент 36-строчной Библии (слева)
Фрагмент 42-строчной Библии (справа)
Фрагмент индульгенции LI 31 (внизу)

Глава VI
Колофон Псалтыри 1457 г.
Инициал из Псалтыри 1457 г.

Глава VII
Фрагмент воззвания Дитера фон Изенбурга
Средневековая битва. Гравюра из издания Э. Ратдольта
Щит с епископским посохом и митрой

Глава VIII
Колофон «Католикона» 1460 г. Фрагмент
Портрет Гутенберга в старости.
Из парижского издания 1584 г.
Сигнет П. Шеффера

Глава IX
Сообщение А. Гельтхуса о месте могилы Гутенберга
Майнц, 1499 г.
Страшный суд. Разделение праведников и грешников.
Jacobus de Theramo. Belial. Магдебург, 1492 г.
«Сивиллина книга». Фрагмент о «Страшном суде»
(сильно уменьшен).

Заключение
Апокалиптический всадник.
Блокбух

На четвертой сторонке — герб Гутенберга
в трактовке О. Хуппа

Варбанец Наталья Васильевна

ЙОХАНН ГУТЕНБЕРГ
И НАЧАЛО
КНИГОПЕЧАТАНИЯ
В ЕВРОПЕ

Опыт нового
прочтения материала

ИБ № 761

Заведующая редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Э. Б. Кузьмина*
Художник *А. А. Герман*
Художественный редактор *В. Ф. Горелов*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *Л. В. Соцкова*

Сдано в набор 26.10.79. Подписано в печать 15.05.80.
А01545. Формат 70Х100/32.
Бумага мелованная.
Гарнитура академическая.
Высокая печать. Усл. печ. л. 12,26.
Уч.-изд. л. 13,63. Тираж 10.000 экз.
Заказ № 5456. Изд. № 1483. Цена 2 руб.

Издательство «Книга».
Москва, К-9, ул. Неждановой, 8/10
Московская типография № 5
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
Москва, Мало-Московская, 21

2 p.